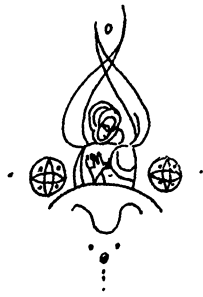


Е.Ю. КУЗЬМИНА-
КАРАВАЕВА

Избранное

Е.Ю.
КУЗЬМИНА-
КАРАВАЕВА

Избранное





Е.Ю.
КУЗЬМИНА-
КАРАВАЕВА



Избранное

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1991

Вступительная статья,
составление и примечания **Н. В. Осьмакова**

Художник **В. И. Юрлов**

Кузьмина-Караваева Е. Ю.
К89 Избранное/Вступ. ст., сост. и примеч. Н. В. Осьмакова; Худож. В. И. Юрлов.— М.: Сов. Россия, 1991.— 448 с., ил.

Настоящее собрание избранных сочинений Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии) (1891—1945) — первое и, будем надеяться, не последнее издание ее произведений, предпринятое на родине за все послереволюционное время. Оно — как запоздалая дань уважения ее жизненному подвигу и творчеству. Все произведения матери Марии тесно связаны с ее жизнью и с эпохой, в которой она протекала, а ее стихи особенно автобиографичны.

В сборник вошли также статьи — размышления о литературе, жизни; воспоминания, письма.

К 4702010102—052 158—90
М-105(03)91

84Р

ISBN 5—268—01088—3

© Издательство «Советская Россия», 1991 г.,
вступительная статья, составление и примечания.

ЖИЗНЬ — ПОДВИГ

Россия являла миру немало славных имен женщин-подвижниц, бескорыстно служивших Родине и народу. На разных поприщах, но всегда с беззаветностью, а часто и с героической жертвенностью посвящали они свою жизнь избранному пути. Имя матери Марии стоит в ряду таких русских женщин-подвижниц.

Монахиня Мария (ее мирское имя — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева) избрала для себя трудную, тернистую дорогу. Оказавшись в эмиграции и там приняв постриг, она круто изменила свой дальнейший жизненный путь, безраздельно отдалась благому делу помощи обездоленным и страдающим людям.

Казалось бы, мы, сами исстрадавшиеся за долгие годы, должны помнить ее, помнить ее великий подвиг. Но вынужденная эмиграция Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, на которую она решилась отнюдь не по отчетливо выраженным политическим причинам, послужила поводом для намеренного забвения всей ее послереволюционной жизни. Забыто ее имя, ее разносторонняя деятельность, многочисленные публицистические, религиозно-философские работы и, наконец, ее стихи, рассеянные в русских дореволюционных и русскоязычных зарубежных изданиях. И лишь немногие специалисты изредка вспоминают поэтессу Е. Ю. Кузьмину-Караваеву как автора двух дореволюционных поэтических сборников — «Скифские черепки» и «Руфь».

Уже после войны мать Мария, в числе других бесстрашных борцов французского Сопротивления, была посмертно награждена орденом Отечественной войны. Родина отметила подвиг своей героической дочери. Однако заслуги матери Марии перед людьми гораздо шире и значительнее. Ее крестный подвиг — вся ее беззаветная жизнь, отданная другим, и потому ее заслуги трудно измерить обычными человеческими мерками. Выделяя подобный психологический тип человека, И. С. Тургенев писал в статье «Гамлет и Дон-Кихот»: «...и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать»¹.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: Соч.— М., Л., 1964.— Т. VIII.— С. 181.

Такие люди, как мать Мария, принадлежат всему человечеству. А родина каждого из них может гордиться тем, что дала миру таких великих в своем милосердии героев. Гордиться и почитать, способствуя распространению их благородной деятельности, а по отношению к матери Марии — чтить память о ней, переиздавая ее литературные произведения. Но глубоко понять жизненное, религиозно-философское и эмоциональное наполнение ее публицистики, ее стихов, можно лишь зная ее биографию, ее судьбу.

I

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) родилась 8(21) декабря 1891 г. в Риге. Вскоре ее родители переехали в Анапу, тогда еще обычное российское захолустье, потом превратившееся в знаменитый детский курорт. В шести верстах от Анапы располагалось имение отца Ю. Д. Пиленко с обширными виноградниками. Неподалеку от имения велись археологические раскопки курганов, и дети с интересом наблюдали за работами. Лиза Пиленко сохранила эти детские впечатления, отразившиеся потом в стихах ее первой книжки «Скифские черепки» (1912).

С детства она увлекалась стихами Лермонтова, Бальмонта, а потом и поэзией Блока. Сама писала блестящие сочинения на гимназические темы, переводила Новалиса, «выдумывала из головы» различные рассказы для своих сверстников. Это были первые ее творческие пробы, по-детски непосредственные и наивные. Но они уже свидетельствовали о ее незаурядных способностях.

В 1905 г семья переехала в Ялту, где отец стал директором Никитского ботанического сада. Он лояльно относился к революционным событиям в стране и столь же терпимо воспринял увлечение своей дочери социалистическими идеями. Его неожиданная и преждевременная смерть в 1906 г явилась первым жесточайшим ударом в Лизиную жизнь, до того спокойной, голубой и солнечной, как сама природа того края, где протекало ее детство. Воспитанная «в пламенной вере и любви к Богу», она стала сомневаться в его справедливости. Значительно позднее, в 1936 г., она так передавала течение своих прежних мыслей: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит и вообще Бога нет»¹

Так закончилось ее детство.

После смерти мужа С. Б. Пиленко уезжает с дочерью в Петербург к своей сестре, фрейлине царского двора, приятельнице обер-прокурора Синода Победоносцева. Здесь, окончив частную гимназию, Лиза по-

¹ Встречи с Блоком // Ученые записки Тартуского ун-та. — Вып. 209. — С. 258.

ступает на философское отделение Бестужевских курсов. Будучи еще курсисткой, бестужевкой, она в 1910 г вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева (1885—1959), члена социал-демократической партии с 1905 г. За курьерскую работу по связи петербургских партийных ячеек с финляндскими он отбывал короткое тюремное заключение. Это было за три года до его свадьбы. Ко времени его знакомства с Лизой Пиленко он уже вышел из партии и вел божественную жизнь как «друг поэтов, декадент по самому существу», как «молодой эстетствующий юрист»¹. Он-то и ввел свою молодую жену в круг выдающихся представителей «серебряного века» русской поэзии.

Она активно включилась в художественную жизнь Петербурга, сама писала стихи, испытывая воздействие акмеистов, создавших свое объединение «Цех поэтов». В нем вышла первая книга ее стихов. Их приглашали на вечера, диспуты, дружеские встречи, продолжавшиеся иногда до утра. Наиболее интересными были встречи в «башне» Вячеслава Иванова (так окрестили его квартиру на верхнем этаже дома). Здесь встречались, спорили, читали свои произведения В. Розанов и Н. Бердяев, А. Ахматова и Н. Гумилев, А. Блок и А. Белый, А. Ремизов и Д. Мережковский и многие другие. Бывали там и такие эстетствующие интеллигенты, как ее муж. Особенно сильное впечатление произвел на нее А. Блок, его личность и его поэзия. При встречах они вели серьезные беседы на разные темы, среди которых преобладали разговоры о жизни, о поэзии, о своих чувствах и ощущениях времени. Продолжались эти встречи недолго. Однажды она получила от Блока письмо со стихотворением, обращенным к ней: «Когда вы стоите на моем пути, Такая живая, такая красивая...» Далее завязалась между ними переписка на многие годы. К сожалению, мы имеем лишь письма Кузьминой-Караваевой. Письма Блока либо не сохранились, либо еще не найдены. Но мы располагаем статьей, написанной и опубликованной Кузьминой-Караваевой к 15-й годовщине со дня смерти Блока, — «Встречи с Блоком» (1936). Эта статья, включенная в настоящее издание, имеет очень важное значение как личное свидетельство ее автора о пережитых событиях, о раздумьях по актуальным тогда вопросам, о социальной и художественно-эстетической атмосфере эпохи.

Среди вопросов, волновавших художественную интеллигенцию того времени, самым важным, животрепещущим был вопрос о русской революции. Не прошел он и мимо сознания Кузьминой-Караваевой. Поначалу он воспринимался ею чисто эмоционально. Революционер, в ее понимании, это бесстрашный борец со злом, герой, готовый ради революции пожертвовать всем, даже жизнью. Она искала таких людей, жаждала сближения с ними, но не находила их в своем окружении. И потому чувствовала неудовлетворенность жизнью, а разговоры о револю-

¹ Максимов Д. Е. Вступительная статья к «Встречам с Блоком» // Ученые записки Тартуского ун-та. — Вып. 209. — 1968. — С. 258.

ции в «башне» В. Иванова стали казаться ей пустыми, не подкрепленными соответствующими делами и поступками.

Вот как она передавала свои мысли того времени в позже написанной автобиографической статье «Друг моего детства»: «Долой царя? Я на это легко соглашалась. Республика? Власть народа? — тоже, все выходило гладко и ловко. Российская социал-демократическая партия? Партия социалистов-революционеров? В этом, конечно, я разбиралась с трудом... В общем, вся эта суетливо-восторженная революция была очень приемлема, так же, как и социализм, не вызывая никаких возражений, а борьба, риск, опасность, конспирация, подвиг, геройство — просто даже привлекали». Приблизительно так размышляла Лиза Пиленко еще в Ялте, возбужденная разговорами о революции и студенческими митингами. Несколько позже, уже в Петербурге, под впечатлением разговоров на «башне» В. Иванова она задумывается над тщетностью подобных разговоров. Об этом она писала много лет спустя в статье «Встречи с Блоком»: «Вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нас. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобряют или не одобряют. Поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умереть за революцию — это почувствовать настоящую веревку на шее, вот таким¹ же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить об их смерти. И еще мне жалко — не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у него был кровавый пот...»

Это поздние записи ранних размышлений Лизы Пиленко. Следует обратить внимание не только на ее скептическую оценку разговоров в «башне» о революции, но и на появившееся в ее сознании разграничение понятий «Бог» и «Христос». Оно, это разграничение, будет играть значительную роль в дальнейшей ее жизни.

Уже в то время она ощущала разрыв между интеллигенцией и народом. Особенно отчетливо его было видно из среды художественной элиты, в которой она вращалась и представителей которой она назвала потом «последними римлянами». В воспоминаниях, уже за рубежом, она отмечала, имея в виду себя и «последних римлян»: «Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле мы были граждане вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка... Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции¹». Отсюда проистекали неонароднические настро-

¹ Встречи с Блоком.— С. 168.

ния Кузьминой-Караваевой, неопределенные и смутные, слившиеся затем в ее мировоззрении с религиозным экстазом жертвенного служения людям.

В присланном ей стихотворении Блока есть строки, в которых выражено такое пожелание адресату:

И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и небе¹.

Но эта мысль — быть ближе к земле, к простым людям — сама собой зрела в сознании Кузьминой-Караваевой. Блок лишь прозорливо угадал и оформил ее, усилив решимость молодой женщины. Она разрывает с мужем², оставляет Петербург, привычный круг посетителей «башни» В. Иванова и отправляется на юг, в Анапу, в свое имение, «к земле».

И только Блок, ее наставник, надолго остается в ее памяти. Она пишет ему письма, изливая в них свои мысли, чувства... Пишет, но, видимо, не получает ответа вплоть до 1916 г., которым помечено ее последнее письмо. А в одном из первых писем Блоку (ноябрь 1913 г.) она сообщила: «К земле как-то приблизилась и снова человека полюбила и полюбила, полюбила по-настоящему»³. Свою родившуюся здесь дочь она назвала Гаяной, что означает — земная.

Здесь, в Анапе, жизнь Кузьминой-Караваевой потекла в спокойном русле земных забот, трудов по имению. Она продолжала писать стихи, вспоминала, подводила некоторые итоги пережитого в Петербурге. Петербургский период жизни окончился для нее навсегда. Открывался тяжелый путь странствий, лишений, эмиграции, потом — подвижническая жизнь в Париже и трагический конец в Равенсбрюке. Память о Петербурге постепенно стиралась, а прежний образ жизни намеренно вытравлялся из памяти ею самой, ставшей уже монахиней Марией. Однако в петербургский период совершилось становление ее личности, формирование ее эстетических принципов и поэтического мастерства. В этот период вышли два сборника ее стихов — «Скифские черепки» (1912) и «Руфь» (1916), стихов, навеянных детскими впечатлениями и событиями петербургской жизни, стихов, созревавших в столичной литературно-эстетической атмосфере.

«Скифские черепки» — первый сборник, содержащий ее ранние и во многом еще подражательные стихи. В них чувствуется сильное влияние акмеистов, с некоторыми из них (А. Ахматова, С. Городецкий и др.) она была очень дружна. Как и акмеисты, Кузьмина-Караваева

¹ Блок А. Собр. соч.: В 8 т.— М.; Л., 1960.— С. 288—289.

² Вскоре после развода ее муж перешел в католичество, а в эмиграции (1920 г.) вступил в орден иезуитов и принял священство.

³ ЦГАЛИ, фонд А. Блока, опись 1, ед. хр. 299.

стремится к ясности, «вещности» художественного образа, проецирует свои поэтические настроения и мысли на яркий, экзотический фон, но не дальних, неведомых стран, а далекого прошлого своей земли. Само название сборника указывает на эту основную установку автора, на лейтмотив его замысла. Воскрешение прошлого, прочитанного по археологическим отпечаткам («черепкам»), вдохновляло молодого автора, воссоздающего в стихах живые картины давно отшумевшей жизни, рисующего внешний облик и внутренний мир когда-то живших здесь, на бескрайних просторах Приазовья и Северного Крыма, диких кочевников. А от прошлого остались теперь лишь молчаливые, разбросанные в степи курганы, навевающие в душу поэта зыбкие чувства не то радости, не то сожаления и грусти.

Этими настроениями пронизан большой цикл стихотворений «Курганная царевна», открывающий собой сборник. Характерным признаком и для этого цикла, и для сборника в целом является соединение двух временных аспектов в развитии поэтической мысли — прошедшего и настоящего, которые тесно сплетены в единую нить лирического повествования.

Перстень,— будто связанные змеи,—
Я дала однажды скифскому рабу,
А теперь любовь сторожат музены,
И лежит, бессмертная, в каменном гробу.

Лирический герой стихотворений одновременно пребывает и в далеком прошлом, являясь его деятельным участником, и отстраненно наблюдает из настоящего за тем, что уже совершилось и завершилось, что было когда-то, очень давно.

Я пила из кубка кровь упавших в битве,
Я пьянела, предаваясь дикой мести,
Павших больше, чем колосьев в жнитве;
Друг, в кургане спящий, вспомни о невесте.

Иногда свои мысли и чувства автор накладывает на события и приметы давно минувших веков, и стихи становятся похожими то на гумилевские, то на блоковские, не достигая, однако, их отточенного мастерства.

Уже в этих первых произведениях Кузьминой-Караваевой встречается религиозная символика. Она выполняет здесь такую же художественную функцию, что и в стихах других современных ей поэтов, т. е. оттеняет и углубляет поэтическую мысль автора, не имея самодовлеющего религиозного содержания (цикл «Немеркнувшие крылья» и другие стихотворения).

Гораздо чаще религиозная символика, обработка и переработка библейских сюжетов встречаются во втором сборнике Кузьминой-Караваевой. Не случайно библейская легенда о Руфи, переработанная в начальном стихотворении сборника, дала наименование всему сбор-

нику. Религиозное мироощущение окрашивает не только произведения циклов «Исход», «Вестники», изначально, по своему обозначению и авторской установке направленные на эти мотивы, но и такие стихотворения, вполне современные по своему содержанию, как стихи цикла «Война». Непосредственный отклик на войну, в которую вступила Россия в 1914 г., облекается в ее стихах в апокалипсические картины мирового пожара, великого исхода.

Все горят в таинственном горниле;
Все приемлют тяжкий путь войны.
В эти дни неизреченной силе
Наши души Богом вручены.

Или в другом стихотворении:

Средь знаков тайных и тревог,
В путях людей, во всей природе
Узнала я, что близок срок,
Что время наше на исходе.

Но есть в стихах этого сборника и вполне земные картины, реальные, а не абстрактные мысли, чувства и дела. Таково, например, стихотворение из цикла «Последние дни»:

Встает зубчатую стеной
Над морем туч свинцовых стража.
Теперь я знаю, что я та же
И что нельзя мне стать иной.

А весь цикл стихов «Обреченность» вбирает в себя поэтические мотивы, столь характерные для поэтов, встречавшихся ей на вечерах в «башне» Вс. Иванова, чьи стихи отражали настроения тех лет, саму атмосферу эпохи. Она усвоила их легко и непринужденно, ибо душа ее была уже подготовлена к восприятию таких настроений. Вспомним, как Блок в стихотворном послании к ней зафиксировал смятенность ее духа, подавленность и печаль:

...Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту...

Далее Блок выразил уверенность, что с возрастом все это пройдет:

Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же я смею думать,
Что вам только 15 лет.

И хоть к моменту выхода сборника «Руфь» автору исполнилось 25 лет, ее настроения не изменились, а еще более окрепли и утвердились. Утвердились настолько, что она уже определенно заявляет о своем созревшем решении:

Теперь свершилось: сочетаю
В один и тот же Божий час
Дорогу, что приводит к раю,
И жизнь, что длится только раз.

До практического осуществления этого решения пройдет еще много лет, однако она уже тогда предвидела это, как, впрочем, и многое другое: странствия, обнищание, муки, свой трагический конец.

Д. Е. Максимов во вступительной статье к публикации «Встреч с Блоком» заявил, что в «Руфи» Кузьмина-Караваева «выступает как христианский, религиозный поэт и остается им до конца своей жизни»¹. Такое утверждение можно было бы считать верным, если бы оно не было столь категоричным. Оно не исчерпывает всего многообразия облика поэтессы, ее жизни и творчества. Да, она стала впоследствии монахиней, но ведь не в традиционном смысле, не оградились монастырскими стенами, а стала монахиней в миру. И в поэтическом творчестве она, конечно, выражала свои христианские воззрения, но выражала своеобразно, избирательно оттеняя в христианском учении такие, ставшие общечеловеческими, постулаты, как любовь к ближнему и жертвенное служение униженным и оскорбленным. Нельзя не учитывать также, что живая, реальная жизнь с противоборством социальных и даже политических вопросов резко и властно врывается в ее произведения. Об этом свидетельствует состав сборника «Руфь» и последующих ее сборников.

II

Идиллическая пора жизни Кузьминой-Караваевой в Анапе с матерью и с любимым человеком, в котором она нашла, как ей казалось, свой идеал, была прервана войной. Ее любимый, «простой человек, охотник, гамсунский «капитан Глан» — по определению ее подруги А. Афанасьевой, ушел на фронт в 1915 или 1916 г., да так и пропал, как в воду канул. А на Анапу надвигались революционные события, а затем и волны гражданской войны.

К концу февраля 1918 г., когда она уже вошла в партию социалистов-революционеров, а в городе укреплялась власть Советов, ее избрали товарищем городского головы. Городской голова Анапы вскоре подал в отставку, и она стала его преемницей. Об этом коротком, но ярком эпизоде своей жизни Кузьмина-Караваева поведала позже в воспоминаниях «Как я была городским головой» (1925). «Главными моими за-

¹ Встречи с Блоком.— С. 259.

дачами, — свидетельствовала она, — были — защищать от полного разрушения культурные ценности города, способствовать возможно более нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и пр.». На короткое время в конце апреля 1918 г. она уехала в Москву, где участвовала на стороне эсэров в акциях против Советской власти. Когда же в октябре вернулась в Анапу, здесь уже хозяйничали добровольцы из белой армии генерала Покровского. И то, что она делала в Москве, здесь «казалось почти большевизмом». Ее сразу же арестовали. По статье указа № 10 так называемого Кубанского правительства диапазон наказания за вмененные ей обвинения был очень широк: от штрафа в 3 рубля до смертной казни, опасность которой для арестованной была вполне реальной. Однако екатеринодарский военно-окружной суд вынес в марте 1919 г. весьма мягкий приговор: две недели ареста. Председателем суда был Д. Е. Скобцов, тогда малознакомый ей человек, а немного позднее ставший ее вторым мужем. Его фамилией она подписывала впоследствии свои литературные работы.

Вскоре перед Кузьминой-Каравасовой встал вопрос об эмиграции. Ситуация, в которой она теперь оказалась, в известной мере напоминала ту, в какую завели метания шолоховского Григория Мелехова. Но она выбрала эмиграцию. Кто знает, не склонил ли ее к этому шагу Д. Е. Скобцов, с которым она соединилась уже в Константинополе. Путь, в какой отправилась Кузьмина-Каравасова, а теперь Скобцова, с матерью и Гаяной, был обычной дорогой русских эмигрантов: из Новороссийска на переполненном пароходе в Грузию, затем в Константинополь, потом в Белград и, наконец, в Париж, где скопилась основная масса русской эмиграции. Во время этого тяжелого странствия-бегства в Тифлисе у нее родился сын Юрий.

Но и в Париже, куда большая семья Скобцовых (в Белграде родилась еще дочь Настя) прибыла в начале 1923 г., жизнь основной массы русских эмигрантов оказалась неустроенной, тяжелой. Немного успокаивало их то, что, как им казалось, все это временно, что скоро Советская власть в России кончится, и они вернутся на родину. Поначалу Елизавета Юрьевна подрабатывала шитьем и изготовлением кукол. Положение семьи несколько улучшилось, когда ее муж нашел работу шофера такси. Однако это продолжалось недолго. На семью обрушилось горе: умерла младшая дочь Настя. Она угасала в Пастеровском институте на руках матери. У постели умирающей дочери Скобцова записала для себя: «О чем и как не думай — большего не создать, чем три слова: «любите друг друга», только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть»¹.

Смерть Насти (7 марта 1926 г.) открывает перед ее матерью новый

¹ Архив матери Марии. Цит. по: Прот. Г а к к е л ь С е р г и й. Мать Мария (1891—1945). Умса-Press, Paris, 1979.

путь, она осознает, что до сих пор, по ее собственному признанию, «душа по переулочкам бродила». Вместе с тем приходит и другое решение: они с мужем разошлись, хотя и сохранили меж собой дружески-участливую связь.

За четыре года до этих тягостных событий, пододвигавших Е. Ю. Скобцову к ее главному жизненному решению, осенью 1923 г. в Чехии состоялся съезд делегатов студенческих христианских организаций русской эмигрантской молодежи. На нем присутствовали также интеллектуальные и религиозные деятели эмиграции: богословы, философы, публицисты, политики, многие из которых были накануне высланы из России по приказу советского правительства. На съезде организовалось Русское студенческое христианское движение (РСХД), центр которого вскоре переместился в Париж. Для ведения миссионерской, просветительной и филантропической работы среди русских эмигрантов в других городах Франции были назначены разъездные секретари РСХД, в числе которых работала, начиная с 1930 г., и Е. Ю. Скобцова.

Эта работа была ей по душе. Она ездила по городам Франции (Лион, Тулуза, Страсбург и др.), читала доклады, вела беседы, помогала облегчать участь эмигрантов, причем не столько студентов, сколько простых рабочих, живших в ужасающих условиях. Свои впечатления от увиденного она изложила в статье «Русская география Франции» (1932) Работа ей нравилась еще и потому, что она утоляла ее все крепнущее желание помочь ближнему, позволяла перейти от «пустых и опостылевших» слов к делу. Она подготавливала ее к жертвенному служению людям, к чему Елизавета Юрьевна все больше и больше стремилась.

Решительный шаг в ее жизненном пути, о котором было заявлено еще в сборнике «Руфь», был сделан в марте 1932 г. После церковного развода с Д. Е. Скобцовым Елизавета Юрьевна приняла монашеский постриг. Обряд пострига производил сам митрополит Евлогий (1866—1946) — глава православной церкви за рубежом, рассчитывавший на то, что ее примеру последуют другие женщины-эмигрантки. Но монашество ее было особого рода, не обычное, монастырское, а мирское, и это имело для нее принципиальное значение. Не себя спасти стремилась она, а людей, себя она посвящала служению людям. Эта мысль, это ее желание отразилось и в стихах. Накануне пострига она писала:

В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек!
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду — имя рек.

Ее нарекли — Мария. С тех пор и до газовой камеры (фашисты в концлагере присвоили ей вместо имени номер 19263) она жила, действо-

вала, выступала в печати под именем монахиня Мария, мать Мария.

Она всегда стремилась к общественному служению и, по словам митрополита Евлогия, «приняла постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно», «называла свою общественную деятельность «монашеством в миру», но монашества в строгом смысле слова... она не только не понимала, но даже отрицала, считая его устаревшим, ненужным»¹. В одном из стихотворений этого времени мать Мария излагала свое жизненное кредо:

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг — одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышавший весть.

По свидетельству К. В. Мочульского, хорошо ее знавшего, она говорила. «Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет... На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят»².

И мать Мария начала активно действовать в этом направлении, помогая прежде всего эмигрантам. Особенно бедствовали те русские эмигранты, которые не имели постоянного местожительства: по французским законам они не могли даже получать пособие по безработице. С помощью многих друзей и единомышленников, при финансовой поддержке митрополита Евлогия она арендует дом на улице Сакс и оборудует в нем женское общежитие, столовую и домашнюю церковь. Через два года она снимает более просторный дом на улице Лурмель в 15-м округе Парижа, где проживало много русских. Из них составилась контингент пользующихся дешевой столовой, женщины заполнили общежитие. Во дворе своими силами была оборудована церковь. Начинание матери Марии постепенно разрасталось: в том же 15-м округе на улице Феликс Фор был открыт дом для одиноких мужчин, а на улице Франсуа Жерар — большой дом для семейных, под Парижем приобрели усадьбу и приспособили ее под санаторий для туберкулезных больных.

Такую вот деятельность развернула мать Мария и вовлекла в эту работу своих детей Гаяну и Юрия и самих обитателей домов. Дела шли хорошо под управлением Ф. Т. Пьянова и при постоянной финансовой поддержке русской православной церкви и других благотворительных обществ. В доме на Лурмель постепенно наладилась и просветительно-образовательная работа: читались доклады, устраивались религиозно-

¹ Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной.— Париж, 1947.— С. 541, 566.

² Мочульский К. В. Монахиня Мария Скобцова//Третий час (Нью-Йорк).— 1946.— № 1.— С. 70—71.

философские семинары, вечера, различные занятия, в том числе и для детей. Многое делала сама мать Мария, а в некоторых мероприятиях такого рода участвовали ее ближайшие друзья: выдающиеся философы Н. А. Бердяев и о. Сергей Булгаков, литературовед К. В. Мочульский, священники, служившие в лурмельской церкви и, наконец, сами постояльцы, образовавшие кружок по изучению России.

Мать Марию, хотя она и радовалась успехам начатого дела, не совсем удовлетворяли масштабы помощи, оказываемой русским эмигрантам. Вскоре она включилась в хлопоты по улучшению их медицинского обслуживания во всей Франции, принявшей более миллиона русских беженцев. Наконец удалось добиться того, что эмигранты стали обслуживаться наравне с основным населением, больных помещали в санатории за государственный счет. Деятельная и неутомимая, она была полна все новых и новых замыслов, осуществлять которые бралась незамедлительно. Не стала удовлетворять ее и прежняя деятельность РСХД.

Несколько лет она добивалась организации при РСХД нового объединения, которое должно вести практическое дело помощи русской эмиграции в пределах всей Франции. Новое объединение, названное по предложению Н. А. Бердяева «Православное Дело», было основано в 1935 г. В числе основателей, кроме матери Марии, состояли: митрополит Евлогий, Н. А. Бердяев, о. С. Булгаков, К. В. Мочульский и др. Председателем объединения избрали мать Марию. Она добилась полной независимости «Православного Дела» и от РСХД, и от церкви. Для этого ей пришлось приложить немало усилий, объяснять устно и печатно цели и задачи объединения. «Если коротко формулировать то, чего мы хотим,— говорила она в 1939 г.,— то можно сказать, что мы хотим противопоставить соборно-личное начало коллективистически-индивидуалистическому. Это значит, что, утверждая нашу соборность жизни, мы в ней все время различаем каждое лицо во всей его полноте, потому что она есть соборность полноценных личностей, а не отвлеченный от личности коллектив, давящий своим количеством, некоторой своей арифметической громоздкостью. Из соборности, от лица мы исходим»¹

Это в теории. А на практике — горячее стремление накормить голодного, одеть голого, дать кров, приютить бесприютного, в общем, сочувственно вникнуть в нужды и надежды каждого, кто просит помощи и сочувствия. Для распространения идей нового объединения, для расширения практической деятельности используется журнал «Новый град», выпускаются сборники статей «Православное Дело», в которых печатаются Бердяев, Федотов, Мочульский и многие другие, в том числе и мать Мария.

Наряду с этим продолжается ее работа, повседневная и изнури-

¹ Ненапечатанный доклад матери Марии в объединении «Православное Дело», цит. по: Прот. Гаккель Сергей. Мать Мария (1891—1945).— С. 105.

тельная, в доме на Лурмель, причем она вынуждена порой ходить на базар за продуктами и готовить пищу для столовой. В туберкулезном санатории под Парижем после решения французского правительства о бесплатном лечении больных из среды эмигрантов оборудовали дом для престарелых, в одной из комнат которого впоследствии был собран архив матери Марин и где жила вплоть до своей смерти (1962 г.) С. Б. Пиленко. Она много сделала для приведения в порядок литературного архива своей дочери, участвовала в подготовке двух сборников ее стихов.

Во все годы эмиграции мать Мариня продолжала писать стихи. Став монахиней, она на первых порах намеревалась скрывать их даже от близких. Однако долго не выдержала своего намерения, а в 1937 г. даже выпустила в берлинском издательстве сборник новых стихов под именем монахини Марин. Это был третий по счету и последний подготовленный ею самою для печати сборник стихов. Сборники 1947 и 1949 гг. подготавливались и издавались «Обществом друзей матери Марин», основную работу по ним провела С. Б. Пиленко.

При некотором повторном включении ранее изданных стихотворений в сборники 1937, 1947 и 1949 годов вошли в основном произведения, еще не публиковавшиеся, а в последние два включались стихотворения, извлеченные С. Б. Пиленко из обширного архива ее дочери. В их состав попало далеко не все, что имелось в архиве, о чем свидетельствуют позднейшие разрозненные публикации, в том числе и в советской печати. Но даже то немногое, что вошло в эти сборники, дает достаточно полное и яркое представление и о личности поэтессы, и об основных направлениях, колорите ее творчества.

Нельзя не увидеть, что при всей разнообразности и разносторонности изображения реальной действительности, выражения авторских чувств и мыслей в произведениях различных жанров, написанных в разные годы, сохраняется один и тот же подход к явлениям жизни, единое видение мира, пропущенное через собственное эмоциональное состояние поэта. Могли меняться и менялись темы произведений, их поэтическая форма, их жанровая природа, но оставалась неизменной авторская позиция в оценке изображаемого, которая отчетливо проявлялась в каждом ее стихотворении. Эта твердая позиция проистекала от горячей убежденности в правоте мучительно выработанных в трудные годы нравственных критериев, с высоты которых она судила о тех или иных явлениях жизни, оценивала собственные чувства и помыслы. Эта твердая позиция прямо говорила и о цельности, целеустремленности ее незаурядной личности.

Поэтическое восприятие мира, как показывает анализ стихотворений матери Марин, не претерпело сколько-нибудь заметного, а тем более кардинального изменения по сравнению с тем, каким оно уже сформировалось в произведениях Кузьминой-Караваевой первых ее сборников. Однако оно, несомненно, расширилось и углубилось. Расширилось за счет вовлечения нового жизненного материала и углубилось на

основе религиозно-философского осмысления этого материала. Но осмысления особого, своеобразного, присущего только ей одной.

Мать Мария — не религиозный мыслитель, который пытается развить, усовершенствовать мысль, дать свои формулировки тем или иным догматам христианства и православной русской церкви. Ее отношение к церкви и традиционному монашеству довольно сдержанное, если не сказать равнодушное. Нет, она берет готовую, уже сформулированную идею, например вторую евангельскую заповедь, и стремится осуществить ее на деле, в своей практической деятельности — то в работе по заданиям РСХД, то в «Православном Деле», то в доме на улице Лурмель. И все это отражается в ее стихах. Она и теперь, уже в трех последних сборниках, выступает не как религиозный поэт, воодушевляемый только идеями религиозного миропонимания, а как поэт, всецело поглощенный земными, жизненными заботами людей. И на себя, на свои дела, мысли и чувства она смотрит через призму людских интересов. Для нее это важнее всего. Забота об интересах страждущих и обездоленных, основная на второй евангельской заповеди, художественно облечается у нее в религиозную символику.

Но некоторые ее стихи посвящены вполне земным делам и даже социальным вопросам. Вот одно из них, наиболее характерное:

Постыло мне ненужное витийство,
Постылы мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.

О, Боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает твой святой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?

В одних стихотворениях слышатся отзвуки реальной жизни самого автора и окружающих его людей: нищета русской эмиграции, обездоленность, тоска по родине... В других — раздается пронзительный вопль, вызванный всеобщим бездушием, полным одиночеством человека в этом огромном и равнодушном мире:

Господи, весь мир как мертвый камень,
Боже, мир, как кладбище, молчит.

Большинство же стихов из всех трех сборников так или иначе связано с библейскими мотивами и образами. Само перечисление циклов из последнего, например, сборника 1949 г. красноречиво говорит об этом: «Вестники», «Покаяние», «Постриг», «Покров» и др. Художественные образы, взятые поэтессой из «Библии», призваны ярче оттенить и углубить мысль автора, и тем самым ее поэтическая мысль соотносится с общечеловеческими, общепризнанными этическими ценностями, ими выверяется и кристаллизуется.

Стихи для матери Марии были средством вербализации своих мыслей, чувств и настроений. Они были ее своеобразным лирическим дневником, разговором с самой собой в данную минуту, в процессе их написания. Потому она почти никогда не переделывала свои стихи, не возвращалась к ним, а когда печатала, то ограничивалась лишь минимально необходимой правкой. Все они, как выразился Георгий Раевский, «вулканического происхождения»¹, т. е. выливались, как из вулкана раскаленная магма, и так же, как магма, застывали навсегда. Они возникали как быстрый непосредственный отклик на вопросы, волнующие автора в данный момент, как сиюминутное воплощение ее чувств и настроений и потому отличались предельной искренностью, обнаженностью поэтического нерва при всей шероховатости многих строк и целых стихотворений. Эти недостатки в технике стиха с лихвой окупаются свежестью, непосредственностью, эмоциональной насыщенностью каждого слова. Эти недостатки — продолжение ее достоинств.

Стихи матери Марии привлекают читателя постоянством разработки одной главной и очень важной для автора темы, которую можно выразить в извечных вопросах: как жить? в чем смысл человеческой жизни? В поисках ответа на эти вопросы она поднимается в заоблачные высоты христианской веры, обращается к отточенным формулировкам евангельских заповедей, но никогда не погружается в метафизические рассуждения, а исходит из реальной жизни, из конкретных реалий своей личной судьбы и судеб миллионов других людей.

Кроме стихов, мать Мария писала и художественную прозу. Под псевдонимом Юрий Данилов ею опубликованы большой, во многом автобиографический роман «Равнина русская (Хроника наших дней)» (Современные записки.—1921.— № 19—20) и повесть «Клим Семенович Барынькин» (Воля России.—1925.— VII—X). В тех же зарубежных изданиях публиковалось множество ее статей на литературные, общественно-политические и религиозные темы.

Мать Мария живо откликалась в своих стихах и публицистике на вопросы общего порядка, далеко выходящие из круга проблем внутреннего мира и личных практических интересов. Так, еще в 1938 г., когда страшная опасность нацизма ощущалась далеко не всеми, она в статье «Расизм и религия» предупреждала, что христианству сейчас нельзя закрывать глаза на эту новую и опасную социальную силу. Всякое новое явление в мире и обществе люди склонны вначале оценивать по чисто внешним признакам,— отмечала она в статье и продолжала: «Мне кажется, что это сейчас происходит с оценками национал-социализма: для большинства он есть только проявление сильной власти, умения хотеть и диктовать свою волю другим. Даже читая выдержки из «Моей борьбы» Гитлера, люди как-то не замечают, что все это — только внешние про-

¹ Предисловие к сборнику матери Марии «Стихи».— Париж, 1949.— С. 13.

явления и что не сильная власть является центральным в расизме, а его основные, я бы сказала, религиозные принципы, его целостное мировоззрение.. И это-то целостное мировоззрение поистине ново. Сейчас в Германии творится некий новый и своеобразно-потрясающий миф об истории человечества, в своем роде до конца продуманный, чрезвычайно последовательный и разработанный во всех деталях. Чтобы сочувствовать или не сочувствовать расизму, в первую очередь надо знать этот миф, лежащий в его основе.

Расизм — учение строго материалистическое, покоящееся в первую очередь на биологических основаниях. Для него не существует космос, который в историческом процессе выделяет из себя все более и более совершенные продукты. Так в космосе существует человечество — продукт, биологически более совершенный, чем вся остальная материальная природа. Человечество выделило из себя на протяжении веков наиболее совершенную расу — арийскую, которая в свою очередь имеет в лице северных германцев самых своих совершенных представителей. Но германская раса не до конца едина: в своих недрах она совершила последний отбор — национал-социалистов, правящую партию, мускулы и мозг народа. И наконец, эта совершенная группа, лучшее, что есть в человечестве, имеет вершину, некое ипостасное выражение всего смысла и всей воли, всего могущества и всей мистики германской крови, это — вождь Адольф Гитлер. Он не только глава государства, глава партии, главнокомандующий и т. д. Его значение именно в этом ипостасном воплощении германской избранности, он как бы вершина всего космически-биологического и космически-мистического творчества. Его устами говорит самое священное, что есть в мире,— германская кровь; он почти уже не человек, а полубог, нет, просто бог, воплощение всей божественности космоса»¹.

III

В наступившие тяжелые дни оккупации Парижа мать Мария продолжала свое дело, хотя продуктов для столовой становилось все меньше, а нуждающихся в ней становилось все больше. И все-таки заведенный в доме на Лурмель порядок строго соблюдался. Однако все вокруг резко изменилось.

И стал тюрьмою
Огромный город. Сталь, железо, медь
Бряцают сухо. Все подвластно строю...—

отмечала она в одном из стихотворений этого времени. На основе лич-

¹ М о н. М а р и я. Расизм и религия//Русские записки (Париж).— 1938.— XI.— С. 150—158.

ных наблюдений над тем, как бесчинствовали в Париже выкорымиши национал-социалистической идеологии, о которой она писала раньше, теперь она резко, не стесняясь в выражениях, говорила, что во главе «расы господ стоит безумец, параноик, место которому в палате сумасшедшего дома, который нуждается в смиренной рубашке, в пробковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной»¹

В городе начались аресты, в числе арестованных были и друзья матери Марии. Чтобы хоть как-то поддержать арестованных, стали собирать и отправлять им посылки, которые направляли в лагерь от имени лурмельской церкви. Чтобы спасти от арестов и отправки в лагерь евреев, мать Мария организовала выдачу им фиктивных удостоверений о крещении. В доме на Лурмель и других домах находили приют русские военнопленные и участники Сопротивления. Немецкие власти что-то подозревали и усилили наблюдения и проверки. Однако мать Мария не прекращала опасной работы. Устанавливались связи с группами Сопротивления, налаживалось их продовольственное снабжение. В доме на Лурмель и в загородном санатории в Нуази они находили кратковременное убежище: одни уходили, другие приходили, чтоб вскоре исчезнуть... Это были своеобразные звенья Сопротивления, которые в оккупированной Франции становились обычным явлением. Звенья на Лурмель и в Нуази просуществовали до первых чисел февраля 1943 г.

Утром 8 февраля в отсутствие матери Марии был арестован ее сын Юрий, находившийся в доме на Лурмель. Гестаповцы обещали его выпустить, когда в гестапо явится его мать. Узнав обо всем случившемся, она на следующий же день вернулась в дом на Лурмель. После допроса ее арестовали, но сына не выпустили: он так и погиб в лагере. Были арестованы и другие участники «Православного Дела». Серьезными уликами немцы не располагали. Арестованным предъявили обвинение лишь в укрывательстве и помощи евреям. На это они отвечали: «Помогали всем нуждающимся — евреям и не евреям». Офицер-гестаовец, арестовавший мать Марию, сказал С. Б. Пиленко: «Вы больше никогда не увидите вашу дочь». Слова гестаповца сбылись: он знал, что говорил. По приказу оккупационных властей детище матери Марии — объединение «Православное Дело» со всеми его разветвлениями было полностью ликвидировано.

Для матери Марии начались тяжкие дни страданий и унижений в немецких концлагерях, началось ее великое мученичество.

Сначала ее держали в лагере под Парижем (форт Ромэнвиль), затем перевели в Компьень, где она в последний раз встретилась с Юрием. «Вы уже наверно знаете, — писал он из лагеря, — что я виделся с мусенькой (т. е. с матерью. — Н. О.) в ночь ее отъезда в Германию, она была

¹ Неизданная статья «Размышления о судьбах Европы и Азии», цит. по: Г а к к е л ь С е р г и й. Мать Мария. — С. 158—159.

в замечательном состоянии духа и сказала мне, что мы должны верить в ее выносливость и вообще не волноваться за нее...»¹

Перед отправкой в Бухенвальд Юре и другим русским предлагали влиться в армию Власова, но он наотрез отказался, предпочтя лагерь. Из Бухенвальда его перевели в лагерь Дора, где строили подземные заводы по производству ракет ФАУ-2. Здесь были ужасающие условия: смерть косила заключенных. От 70 до 100 покойников ежедневно привозили оттуда в бухенвальдский крематорий. По существу, все работавшие на этих секретных заводах были смертниками. В начале февраля 1944 г. погиб и Юрий Скобцов, погиб на 24-м году жизни.

Но мать Мария этого уже не узнала. Она в это время находилась в женском концлагере Равенсбрюк, восточнее Берлина. В нем ей предстояло провести последние два года жизни.

Условия в лагере Равенсбрюк мало отличались от тех, что существовали в других немецких лагерях, а если и отличались, то в худшую сторону. Но мать Мария не впадала в отчаяние и даже поддерживала других. «Она никогда не бывала удрученной,— вспоминала одна из немногих выживших узниц.— Она никогда не жаловалась... У нас бывали переключки, которые продолжались очень долго: нас будили в три часа ночи, и нам надо было ждать под открытым небом глубокой зимой, пока все бараки не были пересчитаны. Она воспринимала все это спокойно и говорила: «Ну вот, и еще один день проделан. И завтра повторим то же самое. А потом наступит один прекрасный день, когда всему этому будет конец»². В ободряющих словах матери Марии «будет конец» звучало двусмысленное: о каком конце она говорила — об освобождении из лагеря или о смерти? Сама же она была готова и к тому и к другому концу. Всей предшествующей жизнью она была подготовлена и к голоду, и к тяжким работам, и к смерти. Ею владела не покорность — лагерных палачей она не боялась — а христианское смирение. «Не покорность давала ей силу переносить страдание, а цельность и богатство всего ее внутреннего мира»,— свидетельствовала другая ее соузница³.

Душевное состояние матери Марии характеризует такой разговор с одной из заключенных. Когда отчаявшаяся сказала матери Марии, что у нее «притупились все чувства и сама мысль заоченела и остановилась, матушка воскликнула: «Нет, нет, только непрестанно думайте; в борьбе с сомнениями думайте шире, глубже; не снижайте мысль, а думайте выше земных рамок и условий»⁴. Даже вид постоянно дымящего трубы крематория она смогла использовать как средство успокоения. Она сказала: «Только здесь над самой трубой крематория клубы

¹ Письмо сохранилось в бумагах его отца Д. Е. Скобцова, цит. по: Г а к к е л ь С е р г и й. М а т ь М а р и я.— С. 180.

² Цит. по: Прот. Г а к к е л ь С е р г и й. М а т ь М а р и я.— С. 185.

³ Там же.— С. 187.

⁴ Вестник русских добровольцев, партизан... (Париж).— 1946.— № 2.— С. 48.

дыма мрачны, а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для этой радостной жизни»¹ Свидетельство, по всей видимости, точное: так поэтично и задушевно могла говорить мать Мария. Кстати, она и в лагере продолжала писать стихи, но они, к сожалению, не сохранились.

По мере приближения конца войны условия содержания в лагере еще более ухудшились. Нацисты стремились всеми способами умерщвлять узниц Равенсбрюка: непосильной работой, истощением, болезнями и массовыми убийствами. Для этой цели эсэсовцы тайно подготовили газовые камеры, в которые посылали узниц, отобранных после так называемых «медицинских селекций».

В марте 45-го состояние здоровья матери Марии сильно ухудшилось. Она заболела дизентерией, свирепствовавшей в лагере. Вот свидетельство Инны Вебстер, бывшей заключенной Равенсбрюка: «Я застыла от ужаса при виде того, какая в ней произошла перемена: от нее остались только кожа да кости, глаза гноились, от нее шел этот кошмарный сладкий запах больных дизентерией... В первый раз я увидела мать Марию подавленной...»²

О последних часах жизни матери Марии существует две версии, передаваемые в воспоминаниях бывших узниц Равенсбрюка. По одной из них мать Мария 31 марта 1945 г. при очередной «селекции» была по состоянию здоровья отобрана для газовой камеры и погибла в ней. По другой — события этого дня происходили несколько иначе. Во время «селекции» она сама вступила в группу отобранных, заменив одну из заключенных, сказав при этом для ободрения остальных: «Я не верю в газовую камеру». «И таким образом,— писали впоследствии узницы Равенсбрюка — французские коммунистки,— мать Мария добровольно пошла на мученичество, чтобы помочь своим товаркам умереть»³.

Через два дня после гибели матери Марии работники Красного Креста начали освобождать тех заключенных Равенсбрюка, которые были вывезены из Франции, а через месяц советские войска освободили всех оставшихся в живых узниц лагеря.

Трагический конец матери Марии по второй версии — более чем вероятен, он вполне соответствует всей ее подвижнической жизни, ее безграничной любви к ближнему — основе ее религиозности. Задолго до этого, еще 31 августа 1934 г., она оставила в записной книжке такую многозначительную запись. «Есть два способа жить. совершенно за конно и почтенно ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть

¹ М а т ь М а р и я. Стихотворения.— Париж, 1947.— С. 7

² Там же.— С. 163—164.

³ *Témoignage chrétien* (Париж).— 1945.— 4 мая.; цит. по: М о ч у л ь с к и й К. В. Монахиня Мария Скобцова//Третий час.— 1946.— № 1.— С. 77

Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия — и начинаешь тонуть»¹. Несомненно, что она придерживалась второго из названных «способов» жить, когда почти каждый день становился испытанием крепости ее веры, готовности безропотно нести тяжкий крест сострадания и светлой, бескорыстной любви к ближнему. И это превращало ее жизнь в подвиг, который был предвиден и воспет в ее поэзии.

Николай Осьмаков

¹ Цит. по: Г а к к е л ь С е р г и й. М а т ь М а р и я.— С. 10.





ИЗ КНИГИ СТИХОВ «СКИФСКИЕ ЧЕРЕПКИ»

(1912)

КУРГАННАЯ ЦАРЕВНА

1

Смотрю, смотрю с одинокой башни.
Ах, заснуть, заснуть бы непробудно!
Пятна черные русской пашни,
Паруса подъяты турецкого судна.

Там, где кровь пролили любимые братья,
Где отца покрыл суровый курган,—
Там прошли толпой иноземцев рати,
Там прошел чужой, чужой мне караван.

Греки, генуэзцы и черкесы
Попирали прах моих отцов,
Гордые, взбирались к морю на отвесы,
Посылали вдаль с победою гонцов.

Перстень,— будто связанные змеи,—
Я дала однажды скифскому рабу,
А теперь любовь сторожат музеи,
И лежит, бессмертная, в каменном гробу.

2

Половина обгащенного кольца —
Сгинет месяц за туманом горизонта;
К черным водам мертвенного понта
Сил нет повернуть лица.

Вы — хранители заветов, вы — курганы,
К вам я припаду, ища забытой веры,
Мир живой, как явь фатаморганы,
А осколки бывшего спрятали пещеры.

Долго я держалась между скал залива,
Ночью набегала с диким караваном,

Чтоб предать пожару их дома и нивы,
Чтоб попить над родным курганом.

Я пила из кубка кровь упавших в битве,
Я пьянела, предаваясь дикой мести,
Павших больше, чем колосьев в жнитве;
Друг, в кургане спящий, вспомни о невесте.

До костей, обвитых багряницей,
Просочатся капли пиршественной влаги;
Дивно улыбнется царь мой темнолицый,
Средь кургана спящий в белом саркофаге...

Половина обагреного кольца —
Сгинет месяц за туманом горизонта,
К черным водам мертвенного понта
Сил нет повернуть лица.

3

Когти яростного грифа
Рвут с груди знак талисманый,
Жду я огненосца-скифа,
Пиршество зари курганной.
Сердце оплетают травы,
В сердце терпкий вкус отравы.

4

У всех есть родина любимая,
У всех есть край желанный;
Огнем всегда палимая,
Ищу Иерусалима я,
Земли мне богоданной.

Видны поля станичные,
Поля, поля пшеничные,
В степи, всегда туманной,
И люди безразличные
Попрали прах курганый.

Смеются над заветами,
А с древними монетами
Хранят меч талисманый,
Всю жизнь свяжу обетами,
Чтоб видеть край желанный.

Он в рабство продал меня чужому тирану,
 У которого белая цепкая рука,
 Я метаюсь в сетях паука,
 Не вернусь, не вернусь, не вернусь я к родному кургану...

Меня продал мой царь, мой владыка кочевный...
 Катились, блестели монеты...
 Завершаются кровью обеты,
 Мой курганный владыка, мой сияюще-гневный...

Повелитель сидел во главе беспокойного пира,
 Отличил он меня от рабынь...
 Кровь горячая, радостно стынь:
 Дерево скоро подрубит секира.

Я весь путь, весь путь держалась за стремя владыки;
 Конь белый летел, как птица;
 Далеко остались рабынь испуганных лица;
 Перестали быть слышны вопли и крики.

Это было бегство, бегство от победивших;
 Нас в степи спасла звериная тропа,
 Мы врагам не оставили ни одного снопа,—
 Я даже видала людей — богов паливших.

Владыка одной рукой прикасался к секире,
 А в другой держал бога — покровителя нашего племени,—
 Вот отчего я бежала у стремени:
 Владыка и идол — что ж другое осталось в мире?

Я не ищу забытых мифов —
 Я жду, я верю, я клянусь.
 Потомок огненосцев-скифов —
 Я с детства в тягостном плену.

Когда искали вы заложников,
 Меня вам отдал мой отец,—
 Но помню жертвы у треножников,
 Но помню царственный венец...

И рабства дни бегут случайные,
Курганного царя я дочь,
Я жрица, и хранитель тайны я,
Мелькнет заря — уйду я прочь.

Пока ж я буду вам послушною
И тихо веки опущу,
А в тайне — мечь бездонно-душную
Средь ваших городов рашу.

8

Хлеб ваш на земле родился,
Где некогда мы истекали кровью;
Он золотом надежды накалился,
Он клонится, как тяжесть поражений,
И, восходя зеленой новью,
Несет былых годин отображение.

9

Родная мать, твой прах люблю,—
Ты была царицей курганной.
Я жизнь средь врагов гублю,
Я полна отравой туманной.

Благослови меня рукой,
Я кричу, я плачу на тризне;
Укрой плащом своим, укрой,
Я стремлюсь, я стремлюсь к отчизне.

Мой кубок горестный испей,—
Ты увидишь — ночь моя гневна;
Блуждала я среди степей,—
Я устала — дочь и царевна.

Вот припадаю к тебе:
Мне под небом жутко и тесно.
Царевна я — равна рабе,
И мертва... Нет, нет — не воскресну..

Щит в руке и шлем блистающий,
 Меч побед, стрела отравлена,—
 Но ушел ты, невзирающий,—
 Я от битв моих избавлена;

Смолкли возгласы победные,
 Дверь открыта моей хижины;
 Я пошла в пути бесследные,—
 Вижу,— дали, вы принижены.

Буду я у вас заложником,
 Буду раб, свободу чающий...
 Жрец молился за треножником,
 Жрец, судьбу мою вещающий.

Бог мне являлся курганный два раза,
 Был он, как призрак во сне,— не живой,
 Жду третий раз я благого указа,—
 Дальше — лицо пусть изъест мне проказа.

Смерть после встреч недостаточна... Мало...
 К смерти идет мой нетленный сосед.
 Сердце зажжется так пламенно-ало
 От тихих, недолгих, тяжелых бесед.
 Крикну: «Мой Бог, я тебя увидала».

Я языка и обычаев ваших не знаю:
 Меня привели и сразу ярмо надели...
 И потянулись в работе недели,
 Не знаю конца ей и краю.

В руках у меня всегда лопата,
 А горло сохнет от жажды,
 И бить меня может каждый —
 Нет близко отца или брата.

Ну, что же? Глумитесь над непосильной задачей
 И веруйте в силу бичей,—
 Но сколько не стали б вы слушать ночей,—
 Не выдам себя я ни стоном, ни плачем.

Я испила прозрачную воду,
 Я бросала лицо в водоем.
 Трубы пели и звали к походу,
 Мы остались, мой идол, вдвоем.

Все ушли, и сменили недели
 Миг, как кровь пролилася тельца,
 Как вы песню победную пели...
 Не увижу я брата лица.

Где-то там, за десятым курганом,
 Стальные клинки взнесены;
 Вы сразились с чужим караваном,—
 Я да идол — одни спасены.

Я испила прозрачную воду,
 Я бросала лицо в водоем...
 Недоступна чужому народу
 Степь, где с Богом в веках мы вдвоем.

У ПРИСТАНИ

1

Чтобы взять пшеницу с нивы
 И кровавое, пьянящее вино,—
 Вы входили в тихие заливы,
 Где сквозь синь мелькает дно.

За вино платили звонкими рублями,
 На зерно меняли золото монет
 И, гремя по борту якорями,
 Оставляли в море пенный след.

Мы ж — купцы и виноделы,
 Пахари береговой земли,
 Ждем, чтоб вновь мелькнули дыма стрелы,
 Чтоб на якорях качались корабли.

Тебе молюсь, тебя пою,
Твой свет, твой белый блеск.
Как встарь, в волне я узнаю
Приветный, вещий плеск.

Высоки мачты из сосны,
А парус — ветром полн.
Навей, навей благие сны
Под шум зеленых волн.

Я кубок выпила до дна,
Мой яд — из терпких трав...
Опять одна, всегда одна...
А парус плещется, опав...

Перекладыны на мачтах сосновых —
Кресты над могилой отцов;
А рядом — множество готовых
К отплытию гонцов.

Кресты, кресты, родной погост,
Морское дно — вот цель конечная.
Зари последний луч так прост;
А путь мой в море, в море вечное.

Доской я отделилась тонкою
От зыбкого небытия.
Играй, играй с волною звонкою,
Моя гробница, жизнь моя.

НЕМЕРКНУЩИЕ КРЫЛЬЯ

Причастились благодати
Прежде, чем глаза открыли,
Осенили Божьей рати
Нас немеркнувшие крылья.

Не молились мы о чуде
И надежды не искали,—
Мукой вскормленные люди,
Чудотворцами мы стали.

Мука нас к могиле тянет,
Здесь и казнь — на этом месте,
Но вокруг трава не вянет:
«Дня и часа бо не весте».

И когда предсмертный холод
Медленно проникнет в душу,—
Крикну я, что снова молод
И закон земли нарушу.

Крылья реяли незримо...
Мукой вскормленные люди
Не видали серафима
И не плакали о чуде.

2

Ты рассек мне грудь и вынул
Сердце — чашу налитую,
Год с тех пор еще не минул —
Я ж столетия тоскую.

Бьют невидимые плети...
И, добывшая бессмертье,
Знаю — царство ваше, дети,
В милость Бога свято верьте.

3

И вынули сердце, и не дали рая...
Мой путь опоясывал землю не раз.
Я стала другая, я стала чужая,
Иду средь людей выполнять ваш наказ.

Тропинки, дороги, равнины, заборы,
Моря, океаны, излучины рек,
Бездонные глубы, высокие горы,
И каждый день сизнова солнечный бег.

А рядом, а рядом состарились дети,
Дождались. Открылись врата им небес...

Иду, чудотворец, в немеркнущем свете,
Не страшен, не страшен над бездной отвес.

Живые и в смерти,— не плачьте о чуде,—
Вам рай уготован за горести дней...
А я, чудотворец,— бессильные люди,—
Не в силах нести всей победы своей...

Я площади эти давно проходила
И слышала тот же тоскующий плач.
Не бойтесь, не бойтесь,— вас ждет лишь могила,—
Я ж — тихий, целящий и благостный врач.

ЦАРСТВО-ПРИЗРАК

Я не забуду, всю жизнь не забуду,—
Пусть жало огня мою память язвит,
И скошенных трав пожелтевшую грудь,
И старой царицы испуганный вид,

И смолкший наш стан, освещенный кострами,
И стадо овечьих белеющих рун,
Тебя, озаренного, здесь, между нами
В волненьи и пеньи торжественных струн.

И, помню, сказала я: «Где же другую
Найдешь ты, зажженную кровью зари,
Твою всю, до сердца, до сердца нагую,
Какою владеют ветра и цари.

«Я о тебе у колдуньи гадала,
Я для тебя зажигала костер,
Я для тебя хороводы сплетала,
Белой царевной средь верных сестер».

Опершись на ручку высокого жезла,
Ответил: «Иду, завершается бой!
Но помни в победе, в веках я с тобой...»
Сказал, и все царство, как призрак, исчезло.

И царь ей могилы дороже,
Ему — ее взгляд и молитвы,
Но с каждым днем дальше и строже,
Мечтает о новой он битве.

И сын ее — сын властелина,
Рабыней царю она стала.
Путь пройден последний, единый...
Царица устала, устала...

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «РУФЬ» (1916)

РУФЬ¹

Собирала колосья в подол,
Шла по жнивью чужому босая,
Пролетала над избами сел
Журавлей вереница косая.

И ушла через синий туман
Далеко от равнины Вооза;
И идет средь неведомых стран,
Завернувшись в платок от мороза.

А журавль, уплывая на юг,
Никому, никому не расскажет,
Как от жатвы оставшийся тук
Руфь в снопы золотистые вяжет.

Лишь короткий подыметса день
И уйдет хлебороб на работу,
На равнинах чужих деревень
Руфь начнет золотую охоту.

Низко спустит платок свой на лоб,
Чтоб не выдали южные косы,
Соберет свой разбросанный сноп,
Обойдет все холмы и откосы.

А зимою, ступив чрез порог,
Бабы часто сквозь утренний холод
На снегу замечали у ног
Сноп колосьев не смолотых...

ИСХОД²

* * *

Жить днями, править ремесло
Размеренных и вечных будней;
О, путь земной, что многотрудней,
Чем твой закон, твое число.

Мне дали множество имен,
Связали дух земным обличем,
Но он сияющим величем
Безмерных далей ослеплен.

И здесь, среди путников одна,
Я о путях не вопрошаю —
Широкая дорога к раю
Средь звезд зеленых мне видна.

Пусть яркий полог звезд высок,
Пусть мы без пищи и без крова, —
Лишь бы была душа готова,
Когда придет последний срок.

Еще не четок в небе знак,
Пророчество вещает глухо;
Брат, верь: язык Святого Духа
Огнем прорежет вечный мрак.

Недолго ждать, уж близок час;
Взметает ветер пыль с дороги;
Мы все полны святой тревоги,
И вестники идут среди нас.

* * *

Начало новых, белых лет.
Не ты ли, солнце, знак мне дало?
Разлит в зеленом мире свет —
Торжественных времен начало.

Но мой язык, как прежде, нем,
Рука дороги не укажет;
Я в этот мир пришла не к тем,
Кого земная тяжесть вяжет.

Мне хорошо; мой дух распят,
И крест меня поднял высоко;
Крестов других, пройденных ряд —
Знак безначальности и срока.

Теперь, когда мой взор привык
Глядеть в лицо бесстрастно небу,
Пусть шепчет мертвенный язык
Иным страстям святую требу³.

* * *

Довольно. Все равно настанет час последний;
Кому ж звучат стихи? Кому звучат слова?
На место мудрости — таинственные бредни,—
И буду вновь вольна, и буду вновь права.

Взгляните пристально — уж призрак между нами;
Всмотритесь — на пути чуть виден тонкий след;
Прислушайтесь к стихам — найдите меж словами
Еще неслышимый, еще не четкий бред.

Мне радостно теперь: я знаю, час закатный
Поможет мне уснуть и все забыть, не знать;
О, только тот, кто шел дорогой безвозвратной,
О, только тот мог так томительно устать.

Не нужно больше слов. Я в этом пленном мире,
Как странник обнищальный, завершаю путь;
В последний час открыть глаза пошире
И грудью утомленной раз еще вздохнуть.

* * *

Надо мерно идти, не спешить;
Плечи давит тяжелая ноша;
А на сердце все тише, все строже.
Так ведет бесконечная нить.

И с пути повернуть мне нельзя,
И не жду среди забытых ночлега...
Мимо едет со скрипом телега;
А душа моя — Божья стезя.

Даже ныне не мучает страх,
Хоть со мной ты, неведомый, вместе;

Ты приходишь ко мне — не к невесте,
А к познавшей свой путь в небесах.

И мой дух так смиренен и строг,
Сердце больше земного не хочет,
Оттого, что мне тайна пророчит:
Близок белый, слепительный срок.

* * *

И за стеной ребенка крик,
И реки ветра под небесным сводом,
И меж камней пробившийся родник,
К которому устами ты приник,—
Все исчезает год за годом.

Нежданно осветил слепящий, яркий свет
Мой путь земной и одинокий;
Я так ждала, что прозвучит ответ;
Теперь же ясно мне — ответа нет,
Но близятся и пламенеют сроки.

О, тихий отзвук вечных слов,
Зеленой матери таинственные зовы.
Как Даниил средь львиных рвов
Мой дух к мучению готов,
А львы к покорности готовы.

* * *

День новый наступил суров:
Все те же мысли, те же люди;
Над миром вознесен покров,
Во всех — тоска о вечном чуде.

И близится звенящий миг
Стрелю, пущенной на землю;
Какой восторг мой дух постиг,
Каким призывам тайным внемлю.

Вонзилась острая стрела
В земное сердце, в уголь черный;
Чрез смерть дорога привела
К последней грани чудотворной.

И видит взор бывлые сны,
И помнит все бывлые знаки,
И ворота уж не тесны,
Бросающие свет во мраке.

* * *

Только б смерть не изменила.
Буду жить и буду знать
Тайну жизни и греха.
Только б смерть не изменила
И тогда — невеста, мать —
Встречу ночью Жениха.

Только б час настал последний.
В долгий путь теперь иду;
Надо мной не властен страх.
Только б час настал последний.
В самом сладостном бреду
Вижу спутников в гробах.

Верю, верю — будет отдых.
Всем дорогам есть конец;
Жизнь ведет минутам счет.
Верю, верю — будет отдых.
Смерть тяжелый мой венец
В час последний разобьет.

* * *

А когда прижала книзу длань,
Длань Отца, каравшего, как мститель,—
Сердце, тихим и бездумным стань,
Вечный делатель и вечный зритель.

Так тяжел был миновавший день;
Помнить ли всю боль и все потери?
Врезанный в плечо мое ремень
Распущу у первой встречной двери.

Из дали, чрез голубой туман
Распевает колокол негромко:
«Не дошла ты до желанных стран,
И не упадет с плечей котомка».

Тяжела земля мне в час глухой;
Как нести любовь, чужую ношу?
Этой ночью, гневной и лихой,
Я мой груз на перекрестке брошу.

Господи, кто слышит? Кто поймет?
Мне ль нести мою земную тяжесть?
На поля тяжелой длани гнет
Скоро, скоро черной тучей ляжет.

* * *

И стало темно в высоте;
За мглою, там правит он суд.
К нему по земной темноте
Два ангела душу влекут.

Упав с заповедных высот,
О, сердце, не зная, поверь:
Восток через бездну влечет,
Ничто не свершится теперь.

Назначил Господь миновать
Мне холод, и тьму, и холмы;
Как тяжело засов подымать,
Спускаясь до Отчей тюрьмы,

Принять предрешенную часть,
Познать мне назначенный грех
И глубже, и ниже упасть
Людей всех и ангелов всех.

И мне ли не знающей быть?
И мне ль, уходящей от гор,
Сверкавшие сроки забыть
И синий небесный простор?

Иду — и туманы окрест;
Туманы слились в темноту,
Задержали пологом крест
И вестников Божьих чету.

О, Господи, грех — он мертвит;
Не дай умереть до конца.
За мглою, там рай Твой горит,
Там ждут неземного венца.

Как тяжка дорога к Тебе
Через искус забыть и уснуть;
Забыть о священной судьбе,
Уснуть, не вступая на путь.

* * *

Завороженные годами
Ненужных слов, ненужных дел,
Мы шли незримиыми следами;
Никто из бывших между нами
Взглянуть на знаки не хотел.

Быть может, и теперь — все то же,
И мы опять идем в бреду;
Но только знаки стали строже,
И тайный трепет сердце гложет,
Пророчит явь, несет беду.

Пусть будут новые утраты
Иль призрак на пути моем;
Все, чем идущие богаты,
Оставим в жертву многократы
И вновь в незримое уйдем.

Зачем желать? Чего страшиться?
И разве смерть враждебна нам?
В бою земном мы будем биться,
Пред непостижным склоним лица,
Как предназначено рабам.

* * *

Покорно Божий путь приму,
Забыв о том, что завтра будет;
И по неспетому псалму
Господь нас милует и судит.

Пусть накануне мы конца,
И путь мой — будний путь, всегдашний,
И к небу мне поднять лица
Нельзя от этой черной пашни.

Не все ль равно, коль Божий зов
Меня застанет на работе?

И в будних днях мой дух готов
К преображенью темной плоти.

* * *

Схоронила всю юность мою;
Не нашла я, строитель, работу;
Ежедневную жизни заботу
Без печали и счастья пою.

И слова: «все еще впереди»
Заменялись словами: «все было».
Я скорбевшее сердце укрыла
Без любви у себя на груди.

В вышине проплывают года,
И душа ничего не забудет;
Только смерть не в прошедшем, а будет:
Уж известна моя череда.

И последний пред вечностью час
Обручит мою старость и детство;
Чую крыл золотистых соседство
На границе, единственный раз.

Тихо, дивно теперь умереть;
Отчего ж ты стоишь пред весами,
Вестник, посланный мне небесами?
Долго ль надо без скорби терпеть?

Крылья душу во мрак унесут,
Где рыдания, и скорби, и скрежет;
Вестник тихо пространства разрежет,
И начнется Божественный суд.

Знаю я, что не может с главы
Пасть без воли Твоей даже волос;
О, Судья, я довольно боролась —
Не карай же безмерно рабы.

* * *

Кипит вражда; бряцают латы;
Кровавой раной зори в небе;
В цветах кровавых каждый стебель;
И близок, близок гость крылатый.

Вот жатвы, смятые врагами,
Вот — на земле белеют кости;
И мы, сгорая в темной злости,
Их топчем конскими ногами.

И солнце — пламеневший слиток —
Погасло у последней грани,
Моря слилися в океане,
И свилось небо в пыльный свиток.

И женщина на льве пятнистом,
Гоня его ударом жезла,
Кометой огненной исчезла
За морем взрытым и бугристым.

Могилы древние открыты;
Настал последний, светлый холод.
Вот Агнец-Бог за мир заколот,
Грехи бывлые им избыты.

* * *

Тесный мир; вот гневный сев
Всколосился и разлил заразу.
Боле тучной жатвою ни разу
Не являлся людям Божий гнев.

Точно твердь поили не дожди,
А соленые Господни слезы,
Боронили молниями грозы,
Шли за плугом гневные дожди.

Ты послал, и мы Тебе покорны;
С этой жатвой все отдаст земля;
Все бери от чахлого стебля:
Все пропитанные кровью зерна.

В гневный год к порогу Царства Славы
Жертвою хвалы восходим мы;
И звучат напутствием псалмы,
И блестят надмирной Церкви главы.

Духом приготовимся к исходу.
Возвещает все о сроках нам.

Верим Слову, вестникам и снам:
Ангел осеняет Силоам
И крылами возмущает воду.

ВЕСТНИКИ

* * *

В окне взметнулся белый стяг зимы,
С полей далеких слышен звон метелей;
Так дни плывут — неделя за неделей;
Путем незримым вдаль уходим мы.

Я помню, помню меру и число;
Я помню вас, все спутники и братья;
Но не избыть мне древнего заклатья:
Очаг потух, забыто ремесло.

Я в путь пойду, и мерной чередой
Потянутся поля, людские лица,
И облаков закатных вереница,
И корабли над дремлющей водой.

Чужой мне снова будет горек хлеб;
Не утолит вода чужая жажды;
Кто видел в небе вестников однажды,
Внимает медленным свершеньям треб.

* * *

Разве я знаю, что меня ждет?
Разве я вижу таинственный жребий?
Но снится и снится в пылающем небе
Надмирный, спокойный и вечный полет.

Мне снится дрожанье немеркнущих крыл,
Земля за плывущими вдаль облаками;
Благословляю земными руками
Всех, кто живет и кто будет, кто был.

Ярки виденья; размерен мой шаг;
Сердцу грядущие чужды потери.
В чьи ж постучусь я закрытые двери?
Как угадаю, кто брат мой, кто враг?

Верю, надеюсь и знаю: придет
Час мой последний; и в откровеньи
Увижу ведущие к небу ступени,
Приму мой надмирный и вечный полет.

* * *

Верю, верю в наши темные вещанья
В час, когда закат лилов;
Помню, помню проклятые обещанья
Несвершенных, давних снов.

Вестники мои, взметитесь в дали неба,
Возвестите взмахом крыл,
Что опять свершится вами в небе треба
Мертвым, тихим, тем, кто был.

И не веря в смысл свершенного обряда,
Смысл, неведомый живым,
Мы увидим среди облачного ряда
Всех камильниц алый дым.

В день грядущий дайте светлого причастья,
Дайте свиток всех чудес,
Чтоб узнала я под вашей мудрой властью:
Мертвый к радости воскрес.

* * *

Вестников путь неведом:
Где проплывут золотые моря,
Где за звериным следом
Будет вести огневая заря.

Но заревые знаки
Четко клеймят на земле все пути:
Птицы полет и злаки;
Знавшим нельзя от судьбы уйти.

Видевший зори — пленный;
Вестников знающий — на смерть идет.
Вечный и неизменный
Кружат над мертвой землею полет:

Ближе, и снова к небу;
Четки средь утренних облачных гряд,

Мертвым свершают требу,
Чтут неизвестный живущим обряд.

* * *

Это там вопрошали бойцы,
Там, где в час заревой
За высокой кормой
Ветер плачет:

«Кто измерит дорогой концы
Нашей темной земли?
Кто опять корабли
В путь назначит?»

Ветром полны, дрожат паруса;
Ангел поднял свой меч,
Чтобы волны рассечь,
Показать корабельщикам дали.

И за ними летят небеса,
Точно алый покров.
Выплывая на лов,
Моряки ни о чем не гадали.

Вот они подплывают ко мне;
Полог неба высок,
А сыпучий песок
Острым мысом врезается в море.

А высокий трубач на корме
Зазывает трубой.
Отражает прибой
Распростерты зори.

* * *

От пути долины, от пути средь пыли
Далеко уводит светлый, звездный путь;
Пусть могилы вечны, пусть страданья были —
Радость ждет могущих вниз к былым взглянуть.

И хочу исчислить, и хочу вернуть я
Радость горькую нежданных, быстрых встреч;
Вспомнить безнадежность, вспомнить перепутья,
Осветить былое светом звездных свеч.

Я плыла к закату; трудный путь был долог;
Думала, что нет ему конца;
Но незримый поднял мне закатный полог
И послал на встречу светлого гонца.

Я к нему в обитель тихо постучала;
Он открыл мне звездный, мой последний путь.
И настал конец, и близилось начало;
И сдавила радость мне тисками грудь.

* * *

Везде — обряд священной службы;
Всегда — мной деемая треба, —
Путь по назначенным следам.
Не разделю любви и дружбы,
Огня, пристанища и хлеба
Ни с кем; и все чужим отдам.

И холод душу не пугает,
И тайна не внушает страха,
Забыта мной ночная жуть.
А спутник тихий не узнает,
Как свился желтый столб из праха
И пересек спокойный путь.

Сосредоточенней, яснее
Глаза, измерившие дали,
И низок братский мой поклон;
Но я никак забыть не смею,
Как груды праха тучей стали
И полонили небосклон.

А в сердце тайная тревога
Лишь о тебе, мой спутник милый:
Ведь это час последний мой.
Пойми — дорог у Бога много;
Под легкою землей могилы
Мне будет сниться твой покой.

* * *

В последний день не плачь и не кричи:
Он все равно придет неотвратимо.
Я отдала души моей ключи
Случайно проходившим мимо.

Я рассказала, как найти мой клад,
Открыла все незримые приметы;
И каждый мне сказал, что он мой брат,
И всем дала я верности обеты.

Теперь томится дух без сил и наг;
Теперь я только странник, тихий нищий;
В окно ко мне стучится злобный враг,
Чтоб я открыла дверь в мое жилище.

Да будет сердцу легок вечный путь,
Да будет пламенный закат недолог;
Найду и я в пути когда-нибудь
Нездешних солнц слепительный осколок.

* * *

На пыльной земле все то же,
И я скитаюсь опять.
Вы не стали ни лучше, ни строже,
Но мне вас уже не понять.

Мой корабль озаряли дали,
И ближе казался срок;
Но паруса опали,
И не пылает восток.

И здесь, среди пыли дорожной,
Людей узнавая с трудом,
Мечусь я мечтою тревожной,
Ищу мой заброшенный дом.

Мои корабли все уплыли,
Далек огневеющий срок;
Усталая, жду я средь пыли
Земных, бесконечных дорог.

* * *

Разве можно забыть? Разве можно не знать?
Помню — небо пылало тоскою закатной,
И в заре разметалася вестников рать,
И заря нам пророчила путь безвозвратный.

Если сила в руках, путник вечный, иди;
Не пытай, и не мерь, и не знай, и не числи,

Все мы встретим, смеясь, что нас ждет впереди,
Все паденья и взлеты, восторги и мысли.

Кто узнает — зачем, кто узнает — куда
За собой нас уводит дорога земная?
Не считаем минут, не жалеем года
И не ищем упорно заветного рая.

ВОЙНА

* * *

Средь знаков тайных и тревог,
В путях людей, во всей природе
Узнала я, что близок срок,
Что время наше на исходе.

Не миновал последний час,
Еще не отзвучало слово;
Но видя призраки меж нас,
Душа к грядущему готова.

За смертью смерть несет война;
Среди незнающих — тревога.
А в душу смотрит тишина
И ясный взгляд седого Бога.

И ум земной уже привык
Считать спокойно дни и ночи;
Забыл слова немой язык,
И время жизни все короче.

Где ж обAGRится небосклон?
Откуда свет слепящий хлынет?
Кто первый меч свой из ножен
Навстречу битве чудной вынет?

* * *

Напрасно путник утра ждет
И отдыха напрасно ищет;
Осенний ветер в ушах поет,
Осенний ветер меж прутьев свищет.

Родятся дети средь забот;
Отходят старцы средь тревоги;
Сменяет все минувший год;
А путник тайны ждет о Боге.

Открыть порывам ветра грудь,
Смотреть вперед с тоской упорной:
Быть может, встанет кто-нибудь
На поворот дороги горной.

И будет он, как пламя, чист;
И будет он, как смерть, спокоен;
И даст истлевшей жизни лист
Иных полей священный воин.

И вострубит с конца в конец;
Совеется неба пыльный свиток;
И мук немеркнущих венец
Убьет всех дней моих избыток.

И будет долг Божий суд,
И жизнь пройдет ненужно, даром,
И ангелы в тоске замрут
Пред сокрушающим ударом.

* * *

Все горят в таинственном горниле;
Все приемлют тяжкий путь войны.
В эти дни неизреченной силе
Наши души Богом вручены.

Мы близки нетленнейшей Невесте,
И над каждым тонкий знак креста.
Пусть приняв божественные вести,
Будет ныне наша смерть чиста.

Только в сердце тайная тревога —
Знак, что близко временам исход;
О, Господь благой, колосьев много:
Кончи жатвою кровавый год.

Возвести часы суда и кары
И пошли Архангела с мечом;
Верим — очистительны пожары;
Тело в алый саван облечем.

Разве нам страшны теперь утраты?
Иль боимся Божьего суда?
Вот, благословенны иль прокляты,
Мы впервые шепчем: навсегда.

* * *

Не прошу Тебя: помилуй, не карай;
Мера боли все еще далеко.
Еле выплывает тонкий край
Солнца, что подыметя с Востока.

Всех больных, безумных и калек
Принимает родина любовно;
Праведный и грешный человек —
Каждый — сын ее единокровный.

Ты же научи ее не знать
И не верить, что близка награда:
Только без надежды любит мать;
Ничего ей от детей не надо.

Эта кровь — не жертва для Тебя;
Милость Ты от нас хотел, не плату.
Только верю — Твой гонец, трубя,
Даст спасенье гибнущему брату.

Этих вот, усталых, упокой,
Милуй юных, исцеляй увечных.
Можешь Ты всеильною рукой
Показать сиянье сроков вечных.

ОБРЕЧЕННОСТЬ

* * *

Что скрыто, все сердце узнало;
И все поверяю достойным.
Дорога в метель увела.
Ах, если б могла, как бывало,
Поверить словам я нестройным
Иные пути и дела.

Средь холода вечной дороги
Сказать, что усталость земная
Земное мне сердце томит,
Что ангелы Божии строги,
Что в рощах небесного рая
Холодное пламя горит.

О Царстве пророчить мне больно
Тому, кто любимее мужа,
Кто спутник, и брат, и жених.
Напрасно шепчу я: довольно,—
Все та же звенящая стужа,
И так же все голос мой тих.

И ангелов грустные гусли,
И ветра унылые трубы
Звучат из седой глубины.
Расторгну ль запреты? Вернусь ли?
Как смогут холодные губы
Тебя целовать без вины?

* * *

Легкий час голубой;
От лучей на камнях позолота.
Наступает обещанный миг.
Ангел с гулкой трубой
Распахнул предо мною ворота;
Трепет радостный сердце настиг.

Средь спокойного бега планет,
В светлом рае, венчанна трикратно,
Вижу белый холодный огонь.
На земле, средь тревоги и бед,
В ночь и мглу ускакал безвозвратно,
Разорвав удила, белый конь.

* * *

Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя;
Как ты замерла и поблекла,
Земля и земная стезя.

Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;

Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.

На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.

Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.

Я знаю — живущий к закату
Не слышит священную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.

Смотрю на горящее небо,
Разлившее свет между рам;
Какая священная треба
Так скоро исполнится там.

* * *

За крепкой стеною, в блистающем мраке
И искры, и звезды, и быстрые знаки,
Движенье в бескрайних пространствах планет;
Жених, опьяненный восторгом и хмелем,
Слепец, покоренный звенящим метелям,
Мой гость, потерявший таинственный след.

Пусть светом вечерним блистает лампада,
Пусть мне ничего от ушедших не надо,
И верю: он песни поет во хмелю, —
Но песни доносятся издали глухо;
И как я дары голубиною Духа
Не с ним, не с ушедшим в веках разделю?

Мой дух истомился в безумье знакомом;
Вот кинул ушедший серебряным комом
В окно; и дорога в метель увела.
Смотрю за стекло: только звезды и блестки,
Он снова поет на ином перекрестке.
Запойте же золотом, колокола.

* * *

Не знаю, кто будет кршен
Последним земным крещеньем.
Навеки наш взор обращен
К блистающим нам извещеньям.

Но с кем мне дано пировать
На тризне по тленном величье?
Зеленую мать погребать
В последнем и смертном обличье?

Последние сроки горят
И мечется по небу вестник;
На мне белотканый наряд,
Я вестника светлого крестник.

Сжигает душистый елей
Чело мне помазаньем крестным;
Средь этих известных полей
Все сожжено неизвестным.

Мой колокол бьется: спеши
К причастью Божественной Плоти.
Я жду обнищалой души,
Зову к богоданной работе.

Он встанет, он встанет опять,
Уснувший с землей непробудной,
Чтоб воинский меч свой поднять
Для битвы священной и чудной.

* * *

Да, каждый мудр и чудотворец каждый;
Всем вечным спутникам моим хвала.
Я верю: изойдет водой скала,
Когда мы будем погибать от жажды.

Я верю: мы идем, причастны чуду,
Единым словом можем вызывать
Небесных духов яростную рать.
Но знаю: я творить чудес не буду.

Зову; зову я пахаря от плуга
И от возлюбленных — земных невест;

Зову поднять тяжелый крест,
Забыть отца, и мать, и друга.

И знаю я: рыбак оставит сети
На желтых берегах своей реки;
Все в путь пойдут: калеки, старики,
И женщины, и юноши, и дети.

* * *

В небе, угольно-багровом,
Солнце точит кровь мою;
Я уже не запою
Песни о свиданье новом.

Нет возврата, нет возврата;
Мы на кладбище чудес;
Видишь — омывает лес
Свой простор в реке заката.

Видны резко начертанья
Даже на твоем челе;
Все мы на одной земле,
Всем пророчило сказанье.

Вынимай же нож точеный,
Жертвенную кровь пролей,
Кровь из облачных углей,
Вольный, вольный, обреченный.

Будь могучим, будь бессильным,—
Кровь твоя зальет закат
И венец земной, мой брат,
Заменит венцом могильным.

* * *

Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь;
Переживу потерю, неудачу,
Рожденье, смерть, любовь.

И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля;
Всех спутников случайных, степь без края,
Движение стебля.

Но только помнить; путь мой снова в гору;
Теперь мне вестник ближе протрубил;
И виден явственно земному взору
Размах широких крыл.

И знаю: будет долгая разлука;
Неузнанной вернусь еще я к вам.
Так; верю: не услышите вы стука
И не поверите словам.

Но будет час; когда? — еще не знаю;
И я приду, чтоб дать живым ответ,
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,
Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,
А только дух пред тайной светлой наг,
Всегда судьбе неведомой покорен,
Любовью вечной благ.

И вы придете все: калека, нищий,
И воин, и мудрец, дитя, старик,
Чтобы вкусить добытой мною пищи,
Увидеть светлый Лик.

* * *

Меня не время утомило,
И руки могут сделать много,
Глаза не слепнут, чуток слух.
Но выжигает сердце сила
Ведущего к бессмертью Бога,
Его святой, мятежный Дух.

И как принять его достойно?
Быть мудрою и быть безумной,
И петь внушенный мне псалом?
Земное сердце неспокойно;
Трепещет в небе Голубь шумный,
Блестает пламенным крылом.

Нет, не мои слова отныне,
Не этих рук прикосновение,
Не мой земной смятенный ум,
А вестник неба и святыни,

Вкусивший тайны откровенья,
Предвечный, гулкий, вещий шум.

А надо мной все то же небо,
И рядом те же, те же лица;
Земля свой мерный круг ведет.
Как знать, где завершится треба?
Куда испуганная Птица
Направит завтра свой полет?

* * *

Вела звериная тропа
Меня к воде седой залива;
Раскинулась за мною нива;
Колосья зрелы, ждут серпа.

Но вдруг тропу мне пересек
Бушующий поток обвала,
За ним вода дробясь бежала,
Чтоб слиться с бегом тихих рек.

И я, чужая всем среди гор,
С моею верой, с тайным словом,
Прислушалась к незримым зовам
Из гнезд, берлог земных и нор.

Я слышала: шуршит тростник,
Деревья клонят низко ветки,
Скользит паук по серой сетке;
Так тайну тайн мой дух постиг.

Как будто много крепких жил
Меня навек с землей связало;
Как будто в бешенстве обвала
Мне рок свой образ обнажил.

И то, что знает каждый зверь,
Так близко мне, так ясно стало,
С событий пелена упала:
Судьба, закон; словам не верь.

* * *

Когда мой взор рассвет заметил,
Я отеклась в последний раз;
И прокричал заутро петел⁴,
И слезы полились из глаз.

Теперь я вновь бичую тело;
Обречена душа; прости.
Напрасно стать земной хотела —
Мне надо подвиг свой нести.

Мечтать не мне о мудром муже
И о пути земных невест;
Вот с каждым шагом путь мой уже,
И давит плечи черный крест.

Под ним паду. В дорожной пыли
Пойму, что нет пути назад;
Сердца бездумные застыли
Под бременем земных утрат.

СПУТНИКИ

* * *

Бездумное сердце не ищет тревог,
Не помнит разлуки;
Ведут мою лодку в кипучий поток
Спокойные руки.

Как громко поет и бормочет вода
И хлещет волною;
Так я без дорог, без пути, без следа
Приблизюсь к покою.

О, кто этот путь до меня проходил
К закату с востока?
Среди молчаливых, бескрестных могил,
В морях, одиноко.

И призрак-корабль над волнами встает
Крутою кормою

И вечным призывом в туманы плывет
К покою, к покою.

И кормщик тихий стоит у руля;
Я знаю: он видит,
Что скоро из моря иная земля
Навстречу к нам снидет.

Что скоро войдем мы в спокойный залив
И врежемся грудью
В раздолье сбегających к берегу нив;
Причтемся безлюдью.

* * *

Как сладко мне стоять на страже;
Сокровище неисчислимо,
И я всю ночь над ним не сплю.
А мой маяк пути укажет
Всем рыбакам, плывущим мимо,
И между ними кораблю.

И тот, кто ночью у кормила
Ведет корабль средь волн и пены,
Поймет слепящий, белый луч.
Как много лет я клад хранила;
Без горечи, без перемены
С крестом носила ржавый ключ.

Тремя большими якорями
Корабль в заливе будет сдержан,
Чтобы принять тяжелый груз.
Какими он проплыл морями?
В какие бури был он ввержен?
Где встретил мертвый взгляд Медуз?

Но кормщик тихий не расскажет,
Куда теперь дорогу правит;
Не разомкнет спокойных уст;
Мой клад канатами увяжет
И ничего мне не оставит;
Я только страж; вот дом мой пуст.

* * *

Медленно пламень погас.
Я ль не искала упорно
Взгляда невидящих глаз?
Перед тобой столько раз
Я ль не склонялась покорно?

Млечный таинственный путь
Дымится в безоблачном небе.
Ушедшим с него не свернуть.
Мне страшно на звезды взглянуть,
Увидеть назначенный жребий.

Лаврентия льется поток;
Доколе звезда не скатилась,
Шепчу, чтоб исполнился срок,
Чтоб ты преступил мой порог,
Чтоб сердце, как некогда, билось.

Потом я могу вспоминать,
Что медленно пламя погасло,
И трепетно, схимница-мать,
В светильник свой вновь наливать
Неугасимого масла.

* * *

Снова можно греться у печей;
Вижу — на неясном языке
Сложены слова среди огня.
Я на утре трудового дня
Помню, как шептал он вдалеке,
Верю в силу клятвенных речей.

Тот же сон в младенчестве томил:
Треск от дров и солнца полоса,
Удлинившая квадраты рам;
В каждом деле, непонятном нам,
Совершались часто чудеса,
Не было на кладбище могил.

И не в нашей силе воскресить
И прочесть священные листы,
И не так теперь горят дрова;

Только есть волшебные слова:
Строят через пропасти мосты,
Связывают порванную нить.

ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

* * *

Взлетая в небо, к звездам, млечным рекам
Одним размахом сильных белых крыл,
Так хорошо остаться человеком,
Каким веками каждый брат мой был.

И вдаль идя крутой тропею горной,
Чтобы найти заросший древний рай,
На нивах хорошо рукой упорной
Жать зреющий колосьев урожай.

Читая в небе знак созвездий каждый
И внемя медленным свершеньям треб,
Мне хорошо земной томиться жаждой
И трудовой делить с земными хлеб.

* * *

Рано стало темнеть;
Этот год трудовой на закате.
О земной ли заплачу утрате?
Иль боюсь умереть?

Догорает закат.
На душе с каждым часом все тише;
Лишь комар зазвенит или мыши
У окна прошуршат.

Научила нас мать
Собирать уж умершие корни;
День от дня безответней, покорней
Мы умеем не ждать.

А вечерняя жуть
Паутиной заткала нам очи.
Хорошо средь медлительной ночи
Все забыть и уснуть.

* * *

Дух мой, плененный неведомой силой —
Сном или бредом,—
Уводит из жизни, и тленной, и милой,
Таинственным следом.

Родимый язык мой — от предков наследство —
Звучит мне невнятно;
И все, что любила я с первого детства,
Душе непонятно:

Но недра земли и высокие горы,
И звери, и злаки,
Морские пучины и неба просторы —
Все тайные знаки.

И знакам таинственным чутко я внемлю,
В душе сочетая
Усталую, тихую, черную землю
С равнинами рая.

* * *

И около спокойной смерти стоя,
Душа не перестала улыбаться.
Я верю, что пути все завершатся,
Что ищем мы последнего покоя.

И помню, как покрыл меня крылами
Иных полей кровавых тихий воин.
С тех пор мой шаг размерен, взор спокоен,
С тех пор я лишь недолгий гость меж вами.

Круговорот души, года в мгновенье,
Рожденье, смерть, пути земли в эфире,
И грех земной,— на вольном сердце гири,—
Все только отраженья, только тени.

И не спешу идти я, с роком споря,
И жизни ноша тяжкая легка мне,
И как родник, пробившийся из камня,
Я воды донесу к просторам моря.

И житница небес — зеленая планета,
И вечный свет созвездий, бледных блестков,

Восторг пути, восторги перекрестков —
Вот книга бытия, слова завета.

* * *

За тонкою перегородкой
Так ясно слышен тихий бред.
В такую ночь от слез и бед
Не охранит и образ кроткий.
На жизни легкой и короткой
Лежит неизгладимый след.

Что шепчет он, сосед незримый?
Ночную мудрость не узнать;
Мне снова надо утром встать,
Пройти опять без боли мимо;
Ты можешь быть неумолима,
Моя земля — и враг, и мать.

И снова шепот слышен слева;
В ушах звенит, звенит покой.
Мать в жизнь ввела меня слепой.
Покинув тишь родного чрева,
Я слышу ночь без сна и гнева,
А днем иду своей тропой.

Вся спутана твоим покровом,
Вся предана твоей судьбе,
Я знаю, нищей и рабе
Дано дышать пространством новым
И быть водимой тихим словом,
Одним: покорность — не тебе.

* * *

Небесного веретена
Свет, как тончайшая пряжа;
Скоро вдоль комнаты ляжет
Косыми лучами луна.

Точит медлительный век,
Та же, все та же работа;
Вижу иль снится, что кто-то
Лунный поток пересек?

Слышу иль кажется мне,
Что кто-то вступил на ступени?
Причудливо черные тени
Всплывают на лунной стене.

И шепчет, и шепчет в тиши,
Склонился седыми крылами:
«Я здесь, на земле, между вами;
Довольно работать, спешите».

«Я рада, я рада, Господь,
Надеяться сердце устало;
Но как мне, еще не узнала,
Предутренный сон побороть».

Впервые в священную явь
Облекся чуждавшийся плоти;
К иной, несказанной работе
Ты путь мой сегодня направь.

Уколов на пальцах не счесть,
И пряжи готовой не смерить;
Как больно и дивно мне верить
В твою несказанную весть».

На улицах сонный покой;
Часы разогнали дремоту.
Берусь я опять за работу
Привычной и верной рукой.

* * *

Полей Твоих суровый хлебоборб
В вспоенной потом борозде не волен;
На благовест далеких колоколен,
Оставив плуг, перекрестит он лоб.

Как велено, как надо, бережет
Наследственную колыбель-могилу,
В поля по каплям источает силу,
Трудами приближая Твой приход.

Уж побелел на нивах урожай,
И с неба серп для скорой жатвы брошен;
Пока не будет каждый колос скошен,
Не спустится на землю тихий рай.

А взявший плуг не смотрит пусть назад:
Его трудом не быстро спеют сроки.
У виноградаря налились соки
В готовый для точила виноград.

И нам повелено; и мы берем
Свой плуг, как два прилежных хлебороба;
С трудами мы смиренно примем оба
Надежд и клятв торжественный ярем;
Мы примем, чтоб нести его до гроба,
До встречи с косарем.

* * *

На востоке кресты и сиянье;
Здесь нельзя темноты перевозмочь.
У тебя попросить подаянья
Хочет родина, блудная дочь.

Все растрчено; нету заслуги,
Не запятнанной темным грехом;
Лишь пестуны родимые вьюги
Ждут венчанья еще с Женихом.

Но кольца моего уж не надо
Жениху пяти праведных дев;
В брачном доме сияют лампы,
В свете утра слегка пожелтев.

Как недолго я верность хранила:
В ночь недужную свет мой погас,
И исчезла заветная сила
Пред рассветом, в торжественный час.

Где ты, родина-мать, затерялась?
Ни в одной не сказали избе,
Как ждала ты меня, не дождалась
И вручила с молитвой судьбе.

Птица крикнет; бегу от испуга.
В снеге вязну; нельзя не устать.
От Сибири до самого юга
Снеговая раскинулась гладь.

Только мимо равнины безлесной
Часто, часто бегут поезда;

Да горит на границе небесной
Красным светом фонарь иль звезда.

Да в деревне уснувшей, в соседстве,
Заливается пес до утра.
О твоём ли заплачу наследстве,
Что развеяли в степи ветра?

Люди, спутники, землю измерьте,—
Все равно не найти тишины,
Все равно мне не встретить до смерти
Друга, сына родимой страны.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

* * *

Господи, душе так близки чудеса,
Нивы и волов с скрипучими возами,
Алую лампаду перед образами
Ныне окропила тихая роса.

И волы, и нивы, и голодный пес,
Сумрак в комнате и алая лампада,—
Все мне говорит: душе смириться надо;
Чудо тихое грядущий день принес.

Господи, не Ты ли сам острил мой плуг?
И не Ты ль всегда вонзал мою лопату?
И не Ты ль ответил страннику и брату:
«Раздели со Мною кров и пищу, друг»?

Господи, не оставляй меня в ночи,
Утомленную, голодной и босою,
Окропи меня прохладною росой,
В душу, как усталый путник, простучи.

* * *

Встает зубчатую стеной
Над морем туч свинцовых стража.
Теперь я знаю, что я та же
И что нельзя мне стать иной.

Пусть много долгих лет пройдет,
Пусть будет волос серебриться,—
Я, как испуганная птица,
Лечу; и к дали мой полет.

Закатом пьяны облака,
И солнце борется с звездой;
Над каждой взрытой бороздой
Все то же небо; так века.

И так века взрывает плуг
Усталые от зерен нивы,
И так века шумят приливы,
Ведет земля свой мерный круг.

И так же все; закрыть глаза,
Внимать без счастья и без муки,
Как ширятся земные звуки,
Как ночь идет, растет лоза.

Идти, смеясь, идти вперед
Тропой крутой, звериным следом;
И знать — конец пути неведом,
И знать — в конце пути — полет.

* * *

Не надо всех былых времен,
И новых знамений не надо;
В тисках работы дух пленен
Здесь, на полях земного сада.

Я выполняю Твой урок,
Бог многомилостивый, щедрый;
Ты Сам назначил долгий срок
И углубил земные недра.

Я верю: в дни, когда Ты Сам
Трудился здесь, как скромный плотник,
Тобой приближен к небесам
Был каждый брат — земной работник.

Ты освящаешь ремесло
Трудящемуся тихо брату:
И челн, и сети, и весло,
Соху, рубанок и лопату.

* * *

Много путников прошло, не постучалось,
Многим я сама навстречу выходила;
Но опять свершалось все, как прежде.
Рассветало; скоро ночь кончалась;
И меня звала неведомая сила
День от дня к покою и надежде.

Уж с полей весь хлеб свезен и смолот;
Пыль свивается туманом на дороге;
Желтая заря горит за облаками.
Может быть, когда настанет холод,
Постучится в дверь ко мне убогий
Посиневшими от холода руками.

Голуби не водятся под крышей,
И не слышно на дворе моем собаки;
Горный дом давно уже заброшен.
Знаю я, что там, поднявшись выше,
Видны над жильем забытым знаки,
Осенью, когда последний колос скошен.

* * *

Вновь плен томительный, и вновь
Душе и смерть, и жизнь далека;
А с осиянного востока
Всплывает солнце — гнев и кровь.

Молчи, молись, забудь, не знай,
Склонись, бездумный, ниже, ниже;
Тяжелый ветер тихо лижет
Твоей одежды пыльный край.

Да не вменится темный грех
Тому, кто испытал соблазны.
Влекумы мы дорогой разной,
Но оба мимо тех же вех.

И над тобой ли плакать мне,
Поверившей в твой светлый жребий?
Смотри: на этом мутном небе
Всплывает солнце в вышине.

* * *

Донесу мою тяжкую ношу,
Потому что Ты это велел;
Груз томительных, будничных дел
До последнего часу не брошу.

Повелел Ты измерить дороги
И всю черную землю вспахать,
Как же руки тут могут устать
И в колючках израниться ноги?

В черных глыбах заветные зерна,
Не исчислен еще урожай;
Вижу в снах твой сияющий рай
И, проснувшись, всему я покорна.

И, работая, жду я заката,
Чтобы больше не видеть восход,
Чтобы больше не числить забот
И понять, что мне нету возврата.

* * *

Куда мне за вами лететь
Средь облачных гряд?
Засохшую, черную ветвь
Огнем поपालят.

И только принесшая плод
Останется здесь.
Времен незаветный исход
Свершается весь.

Под облаком, как журавли,
Летите на юг;
Среди богоданной земли
Свершайте свой круг.

А мне мое поле пахать
И травы косить,
И, в небе увидевши рать,
За нею следить.

Кричат, точно сеют свой яд,
Зовут и зовут.

Нам разный назначен обряд:
На нивах мой труд.

* * *

В земную грудь войти корнями,
Земной корнями выпить сок
И мерить время только днями;
Забыть, не зная, что близок срок.

Так. Пусть ведет опять дорога
За грань небес, к иной звезде,—
Прозябнут зерна,— много, много,—
Во взрытой, черной борозде.

И пусть простор земной, нам тесный,
Минутой больно сдавит грудь,—
В простор иной, в простор небесный
Не повернет тоска наш путь.

Земные дети, плоть от плоти,
Поток земных, единых сил,
Мы спали с ней в ее дремоте;
Земной нас голос разбудил.

Питая всех деревьев корни,
Лелея зерна средь полей,
О, мать, ты солнца чудотворней
И звезд пылающих мудрей.

* * *

В небо, к стаям ястребиным,
В море, к волнам на простор,
К хлебным золотым равнинам
Или в синий сумрак гор,—

Да куда тропа земная
Не вела б меня теперь,—
Я сынам земным родная,
Брат мне — каждый дикий зверь.

В небо чуждое не манит
Путь к пылающей звезде:
Здесь зерно звездой канет
В каждой взрытой борозде.

И земля,— но не планета,
А земной единый мир,—
В синий плащ небес одета,
Будет править долгий пир.

* * *

Наложили на душу запрет
И сказали: живи же.
И к земле наклоняюсь я ниже,
Забываю слепительный свет.

День за днем исчезает вдаль;
Именуется год урожаем;
Я и братья с трудом обнажаем
Острым плугом глубины земли.

Тот, Кто солнце зажег в небесах,
Оросил наши нивы так щедро,
Бросил зерна в заветные недра,—
Нам не явлен еще в чудесах.

Но меж строчек и слов Его книг,
В череде этих ясных событий,
Светлый путь бесконечных открытий
Дух мой с трепетом сразу постиг.

Принимаю с любовью мой дом
За земною оградой сада,
Потому что я знаю: так надо,
Чтобы все сочеталось в одном.

* * *

Рядом пономарь горбатый
Каждый час звонит в колокола,
Чтоб дорога вдоль по ниве сжатой
К нам усталого на отдых привела.

К пристани привязаны канаты,
И на привязи — корабль без парусов,
Будто пленный воин, снявший латы,
Будто страж, что к бою не готов.

Колокольного тоскующего звона
И прибоя волн душе не перенести;

Боже, верю я — во время оно
Этим же путем пришла святая весть.

* * *

Пусть будет день суров и прост
За текстами великой книги;
Пусть тело изнуряет пост,
И бичеванья, и вериги.

К тебе иду я, тишина;
В толпе или на жестком ложе,
За все, где есть моя вина,
Суди меня, Единый, строже.

О, Ты спасенье, Ты оплот;
Верни мне, падшей, труд упорный,
Вели, чтобы поил мой пот
На нивах золотые зерна.

* * *

Вечером родился человек,
Ночью мать пошла искать дороги,
И фонарь в руке ее погас.
Спутники же, — несколько калек,
Нищий старец, тихий и убогий, —
Ждали, что придет рассвета час.

Спал ребенок у родной груди,
Теплыми лохмотьями укутан,
И во сне размеренно дышал;
Старец шел с клюкою впереди
И ворчал, что путь в горах запутан,
Что не видно свету между скал.

А когда они устали ждать
И пылало солнце на востоке, —
Спали все: калеки и старик,
Под скалою задремала мать;
Но, нарушив их покой глубокий,
Прозвенел младенца первый крик.

* * *

Испытал огнем, испытывай любовью
И земным трудом.
Все мои дела стремятся к славословию,
Песни — об одном.

Откопаю клад земной моей лопатой;
Долог будет труд.
Неужели мне, всеильной и крылатой,
Числить ход минут?

Там, в горах, могла я близко видеть сроки
И пространств не знать;
Здесь, где я случайный путник одинокий,
Надо долго ждать.

Научи меня словам земным, забытым,
Что и чуждой,— мне
Видеть над сокровищем, в земле зарытом,
Солнце в вышине.

* * *

Еще остановилась на пороге;
Вот эти стены, лица, образа
Уж не увидят более глаза;
Но я прощаюсь с ними без тревоги.

А там, далеко, пробегает роши
Целебных, освященных вод родник;
Показывает в кlobуке старик
В тяжелых раках⁵ праведников мощи,

И за стеклом лежащие вериги,
И хижину, где жил святой,
В прозрачных каплях свечи восковой
Страницы желтые священной книги.

Там приложившись ко святым иконам,
Услышав шелесты старинных риз,
Спускаюсь через лесок, к оврагу, вниз,
Где жметя келья к побуревшим склонам.

Восток пожаром хочет разгореться,
В соседних деревнях уж скоро день начнут.

Лишь бы припомнить все и дать на суд
Ушедшего от мира сердцеведца;

Усталость, слабость, гордость, безразличие,
Ненужных дней, лукавых мыслей круг.
Он слушает слова, как старый друг,
Он полон весь смиренного величья.

Как верится, что здесь ключи от Царства
Оставил, уходя, страдающий Господь.
Старик поможет молча побороть
Грядущих дней грядущие мытарства.

* * *

Наше время еще не разгадано,
Наши дни — лишь земные предтечи,
Как и волны душистого ладана,
Восковые, горячие свечи.

Но отмечены тайными знаками
Неземной и божественной мощи
Чудеса, что бывают над раками,
Где покоятся древние мощи.

Над святыми владыками добрыми,
Над лежащими тихо костями,
Встал Распятый с пронзенными ребрами,
А ладони пробиты гвоздями.

И ему голытьба деревенская
Ставит свечи и служит молебны;
И раскинула Церковь Вселенская
Над Россией покров свой целебный.

Но поклоны и знаменья крестные,
И душистый, синеющий ладан —
Только путь в небеса неизвестные,
Где наш жребий решен и угадан.

И дары, что в дороге растратили,
И грехи, что согнули нам спину,—
Все расскажут Отцу предстоятели,
Все поведают Духу и Сыну.

В рощах рая Его изумрудного
Будет каждый наш помысел взвешен.
Кто достигнет мгновения судного
Перед Троицей свят и безгрешен?

* * *

Все говорит мне: тяга лет
И детских помыслов утрата,
Что солнечный померкнет свет,
И что придет за все расплата.

Предвидя сроки мятежа,
Забыв о вековой работе,
Мы — лишь слепые сторожа
Темницы нашей, темной плоти.

И не дано нам побороть
Ее стремлений к жизни мирной; .
А над землей вознес Господь
Всей звездной ризы свод порфирный.

Но близок наших душ исход,
Успенье, праздник, праздник страшный;
На ложе смерти Твой народ
Вкушает Питие и Брашно⁶.

И облачает тело в лен:
Давно уж сотканы полотна,
Давно исчислен ход времен
И нашей жизни путь заботный.

Всех со святыми упокой
В стране без скорби и утраты,
Чтобы рыбак — на лов богатый,
На жатву тучную — оратай
Пришли от жизни трудовой.

ИЗ КНИГИ «СТИХИ» (1937)

* * *

Не помню я часа Завета¹,
Не знаю Божественной Торы².
Но дал Ты мне зиму и лето,
И небо, и реки, и горы.

Не научил Ты молиться
По правилам и по законам —
Поет мое сердце, как птица,
Нерукотворным иконам,

Росе, и заре, и дороге,
Камням, человеку и зверю.
Прими, Справедливый и Строгий,
Одно мое слово: я верю.

* * *

Наконец-то. Дверь скорей на ключ.
Как запущено хозяйство в доме,
В пыльных окнах еле бьется луч,
Мыши где-то возятся в соломе.

Вымету я сор из всех углов,
Добела отмою стол мочалой,
Соберу остатки дум и слов —
И сожгу, чтоб пламя затрещало.

Будет дом, а не какой-то склеп,
Будет кров — не душная берлога.
На тарелке я нарежу хлеб,
В чаше растворю вина немного.

Сяду, лоб руками подперев...
(Вот заря за окнами погасла.)
Помню повесть про немудрых дев³,
Как не стало в их лампадах масла.

Мутный день, потом закат, закат.
Ночь потом — и тишина бормочет.
Холодом рассветным воздух сжат,
Тело сну противиться не хочет.

Только б не сковал мне волю сон...
Пахнет пол прохладной тишиною,
Еле видны рамы у окон,
Все налито гулкой чернотой.

Дух, боренье в этот час усиль.
Тише. Стук. Кричит пред утром петел.
Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
Гость вошел. За ним широкий ветер.

* * *

Не слепи меня, Боже, светом,
Не терзай меня, Боже, страданьем.
Прикоснулась я этим летом
К тайникам Твоего мироздания.
Средь зеленых, дождливых мест
Вдруг с небес уронил Ты крест.
Поднимаю Твоей же силой
И кричу через силу: Осанна.
Есть бескrestная в мире могила.
Над могилою надпись: Гаяна⁴.
Под землей моя милая дочь,
Над землей осиянная ночь.
Тяжелы Твои светлые длани,
Твою правду с трудом понимаю.
Крылья дай отошедшей Гаяне,
Чтоб лететь ей к небесному раю.
Мне же дай мое сердце смирать,
Чтоб Тебя и весь мир Твой принять.

* * *

«И каждую косточку ломит,
И каждая мышца болит.
О Боже, в земном Твоем доме
Даже и камень горит.

Пронзила великая жалость
Мою истомленную плоть.
Все мы — ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь».

Мне голос ответил: «Трущобы,—
Людского безумья печать,—
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять».

* * *

Жить в клопной нищенской каморке...
Что-то день грядущий принесет?
Нет, люблю я этот тихий гнѣг,
О, Христос, Твой грустный мир прогорклый.

.....
Не внезапно, не в иные сроки,
А все время, с горем пополам,
По моим по сумрачным углам
Виден мне простор иной, широкий.

Нищенство и пыль, и мелочь, мелочь,
И забота, так что нету сил...
Но не Ты ль мне руку укрепил?
Отвратил губительные стрелы?

Все смешалось: радость и страданье,
Темнота, и ширь, и верх, и дно,
И над всем звенит, звенит одно
Ликованье.

* * *

Сила мне дается непосильная,
Не было б ее — давно упала бы,
Тело я на камнях распластала бы,
Плакала б, чтобы услышал жалобы,
Чтоб слезой прожглась земля могильная.

Отпер ты замок от сердца бедами.
Вот лежит теперь дорога скатертью
Во все стороны. То быть мне матерью,
То поставил над церковной папертью.
Чем еще велишь мне быть — неведомо.

Сердцем все заранее угадано,
Сердце принимает все заранее —
Принужденное, как вольное страдание,

Средь углей кадилаицы пылание
Духа человеческого — ладана.

Дух мой... Сочтены тобою дни его.
Ты решил, карающий и губящий,
Подарил, ведущий нас и любящий,
Сохраненное тобою рубище
От многострадального, от Иова.

* * *

О, горлица моя, лети, лети же,
Среди раздувшихся, раздутых рек.
Вода на убыли и берег ближе,
И ударяется о дно ковчег.

О, горлица, среди разверстых хлябей
Лети, лети, ищи себе приют.
Не для тебя законы жизни рабьей,
Которыми в ковчеге все живут.

И ринулась, бесшумно полетела,
Мелькнула искрой меж небес и вод,
А мы гребем размеренно, умело,
А мы гребем, гребем мы целый год.

Не рано ли? Ветрами рвутся снасти,
Ковчег кипучими волнами сжат.
Из водной, яростной, разверстой пасти
Еще нам не извергнут Арарат.

Ковчег огромный будто душегубка,
Как паутина — снасти, мачта — жердь.
Ты не вернешься, вольная голубка,
И Арарат твой чаемый был смерть.

Гребите, братья, веруйте в усладу
Земли, восставшей из морского дна.
В обетованье семицветных радуг
Моя голубка больше не видна.

* * *

Мне кажется, что мир еще в лесах,
На камень камень, известь, доски, щебень.
Ты строишь дом. Ты обращаешь в прах,
В единый мир, где будут петь молебен.

Растут медлительные купола...
Неименуемый, Нездешний, Некто,
Ты нам открыт лишь чрез твои дела,
Открыт нам, как Великий Архитектор.

На нерадивых ты подъемлешь бич,
Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
Возьми меня, я только твой кирпич,
Строй из меня, Непостижимый Зодчий.

* * *

Мы не выбрали нашей колыбели,
Над постелью снежный пьяный ветер выл,
Очи матери такой тоской горели,
Первый час — страданье, вздох наш криком был.

Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б, быть может, озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку,
Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Только ты дал муку, мы ей не изменим,
Верные на смерть терзающей мечте,
Мы такое море грудью вспеним,
Отдадим себя жестокой красоте.

Господи, ты знаешь — хорошо на плахе
Головой за вечную отчизну лечь.
Господи, я чую, как в предсмертном страхе
Крылья шумные расправлены у плеч.

* * *

Средь этой мертвенной пустыни
Обугленную головню
Я поливаю и храню.
Таков мой долг суровый ныне.
Сжав зубы, напряженно, бодро,
Как только опадает зной,
Вдвоем с сотрудницей, с тоской,
Я лью в сухую землю ведра.
А где-то нивы побелели
И не хватает им жнецов.
Зовет Господь со всех концов
Работников, чтоб сжать поспели.
Господь мой, я трудиться буду,
Над углем черным буду ждать,
Но только помоги мне знать,
Что будет чудо, верить чуду.
Не тосковать о нивах белых,
О звонких выгнутых серпах,
Принять обуглившийся прах
Как данное тобою дело.

**ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ,
ПОЭМЫ, МИСТЕРИИ...»
(1947)**

* * *

До свиданья, путники земные...
Будем скорбно вспоминать в могиле,
Как мы много не договорили,
И не дотрудились, и не долюбили...

Как от многого мы отвернулись,
Как мы души холодом пронзили,
Как в сердца мы острие вонзили,
Будем скорбно вспоминать в могиле.

До свиданья, названные братья,
Будем скорбно вспоминать в могиле,
Как мы скупой и несмело жили,
Как при жизни жизнь свою убили.

* * *

У самых ног раздастся скрип и скрежет.
Бездонная пучина обнажится —
И по ступенькам — головою вниз
Тяжелый груз мой темноту разрежет.
И крылья будут надо мною биться,
Мелькнет сверканье огневидных риз.

О, смерть, нет, не тебя я полюбила.
Но самое живое в мире — вечность.
И самое смертельное в нем — жить.
Родился дух, рука уж у кормила
Огромных рек взрывает быстротечность,
Пора, пора, давно пора мне плыть.

* * *

Святости, труда или достоинства
Нет во мне. За что ж меня избрать,
Дать услышать шум иного воинства,
В душу влить святую благодать?
Лишь руками развожу. Неведомо,
Как и кто ко мне стучится в дверь,
Чтоб помочь со всеми биться бедами,
Чтобы побороть мне даже смерть.
Знай же, сердце, что чертить на знамени;
Начертай — «о Боге ликовать».
Потому что в ликованье, пламени,
Принимаешь, сердце, благодать.

* * *

Ты по-разному откинул всех —
И душа в безлюдье одинока.
Только ты и я. Твой свет — мой грех,
Край мой — твое сердце от востока.
Это все. Зачем еще блуждать?
Никуда не уведет блужданье.
Все должна была я покупать
Полновесным золотом страданья.
Уплатила я по всем счетам
И осталась лишь в свободе нищей.
Вот последнее — я дух отдам
За твое холодное жилище.
Бездыханная гляжу в глаза —
В этот взор и грозный, и любовный.
Нет, не так смотрели образа
На земле бездольной и греховной.
Тут вся терпкость мира, весь огонь,
Вся любовь твоей голгофской муки.
И молюсь: руками душу тронь.
Трепещу: ты простираешь руки.

ПОХВАЛА ТРУДУ

Тот, кто имеет право приказать,
Чьей воле я всегда была покорна,
Опять велел мне: «Ты должна назвать
Тут, на земле, средь вечной ночи черной,
То, что во тьме сверкает, как алмаз,
Что плод дает сторицею, как зерна,
Упавшие на чернозем. Средь вас,
Из персти созданных, есть отблеск Славы,
Есть отблеск красоты среди прекрас.
Есть нечто. И оно дает вам право
Господними сотрудниками стать.
В строенье вечном церкви многоглавой
Ищи». Полвека я могла искать,
Все испытать, все пробовать полвека.
И средь стекла алмазы отбирать.
Священное избранье человека,
Которым Бог почтил его в раю,
Открылось мне. Пусть нищий, пусть калека,
Грехом растливший красоту свою,
Трудящийся среди волццов упрямо,
Рождающийся в муках,— узнаю
Того же первозданного Адама,
Носившего избрания печать.
Изгнанник под проклятым гнетом срама,
И Ева падшая, всех падших мать,
И мы,— их дети,— что мы можем Богу,
Что было бы его достойно, дать?
Иду искать. И изберу дорогу
Среди полей. Теперь пора труда.
С конем своим идет спокойно, в ногу,
За плугом пахарь. В прежние года
Его отец и дед пахали ниву,
И сына ждет все та же борозда.
Конь медленно идет, склонивши гриву,
Тяжелая рука ведет тяжелый плуг.
Земля пластом легла. Неторопливо,
Движеньем медленных спокойных рук,
Раскинет сеятель на пашне зерна.
Они за полукругом полукруг
Падут, укроются в могиле черной.
Могила колыбелью будет им,
Земля — началом жизни чудотворной.
Пойдет работа чередом своим.

Придет косарь с своей косою звонкой,
И молотьба приблизится за ним.
Старик умрет. Из малого ребенка
Муж вырастет, суровый хлебороб.
Незримой нитью, пеленою тонкой
Разделены рожденье, труд и гроб.
В срок надлежащий солнце землю греет,
В срок землю зимний леденит озноб,
Пшеничный колос тоже в срок созреет.
Природа мерна. Мерен человек.
Не думая, он мышцами умеет
Владеть. Ногам велит спешить на бег,
Прижавши локти и дыша глубоко.
Он сети ставит средь спокойных рек,
Он тянет невод. Он взмахнет широко,
Откинется всем телом. И топор
Вонзится в ствол. Пусть дерево высоко,
За зеленью его не видит неба взор,
Пусть спрячутся в его макушке птицы,—
Оно падет... Лишь бы найти упор,
В рычаг железною рукой вонзиться,—
И землю сдвинет в воздухе рычаг!
Пусть человек беспомощным родится,—
Бессмысленный младенец, хил и наг,—
Как рычаги стальные мышцы станут,
Обдуманно сплетенные. И шаг,
И рук движенье созданы по плану,
Рассчитаны, чтоб труд посильным был,
Чтоб был костяк узлами жил обтянут,
Чтоб мышцы обросли сплетеньем жил.
О подвиг трудовой, ты благороден,
Кто потрудился, тот недаром жил.
Тот, как творец, спокоен и свободен,
В дни жатвы собирает урожай,
Со-трудник и со-делатель господен.
Когда Адамом был потерян рай
И труд объявлен для него проклятьем,
И он вступил навек в изгнанья край,
И Ева в муках жизнь дала двум братьям,
С тех давних пор и вплоть до наших лет
В поту трудился он. Рабов зачатые,
Рождение и смерть рабов. И нет
Приостановки в жизненном потоке.
Бог вопрошал. Каков же наш ответ?
Как мы усвоили его уроки?

Работали, когда спустилась тьма,
Не вопрошая Господа о сроке.
Хозяин нив, открой нам закрома,
Чтоб мы могли наполнить их пшеницей.
Открой свои небесные дома,
Чтоб мы вернули все тебе сторицей.
Прими земных трудов тяжелый плод,
Ты, повелевший нам в поту трудиться.
Пусть спины гнет усталый твой народ,
Но есть чем оправдать нам жизнь земную:
На землю пролитый священный пот.
Прими, прими пшеницу золотую
Твоих со-трудников. Вот кирпичи —
Мы ими глину сделали сырую,
Мы для тебя работали в ночи.
Что создано в веках — необозримо.
Как пчелы, лепим воск мы для свечи
В алтарь небесного Ерусалима.

АННА (мистерия¹)

Действие первое

Монастырь. Трапезная рядом с церковью. Очень чисто и бедно.
Столы, около них скамьи. Из церкви доносится пенье. Потом пенье
смолкает.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

В трапезную входят архимандрит, два монаха, игуменья
и монахини, среди них Анна и Павла. Молча размещаются
за столами.

Архимандрит

Как полагается по уставу,
Молитвою решенье предваряем.
Пора нам приступить.

Игуменья

Благословите
Чайком попотчевать.

Архимандрит

Монахи знают
Еще другой устав — о чаепитье.

Оно для них всегда в благое время.
Так, что ль, отцы?

1-й м о н а х

По слабости житейской
Разрешено нам это утешенье.

И г у м е н ь я

Чем Бог послал, пожалуйста откушать.

А р х и м а н д р и т

Мы к чаепитью не сейчас приступим.
Сначала все дела. Узнать нам должно
Все, что сестер обители смущает.
Пусть мать игуменья подробно скажет,
В чем тут вопрос.

И г у м е н ь я

Отец архимандрит,
И вы, отцы, возлюбленные сестры,
Наверно, мы пред Богом согрешили,
Что попустил Господь врагу над нами
Нежданно власть иметь. Нет больше мира
В обители смиренной. Мы не сестры,
А будто заговорщики какие:
Друг друга только в зле подозреваем,
Злорадуем, как это зло наружу
Нечайно выплывет. Прощать обиды
Как будто разучилось сердце наше.

А р х и м а н д р и т

С чего же завелось такое дело?

И г у м е н ь я

От разговоров, праздной болтовни.
Одна сестра одно имеет мнение,
Сестра другая с нею не согласна.
В чем разница — Господь их разберет.
А между тем обитель разделилась:
Порой и до вражды доходит дело.
Но лучше допросите вы виновных,—
Я, право, пересказчица плохая.
Вот две сестры. Обеим я велела
Все изложить пространно на бумаге.
За Павлу будто вся обитель нынче.

У Анны речь ясна. Неясно только,
К чему ведет.

А р х и м а н д р и т

Пусть начинает Павла
Повествовать нам о своих делах.

П а в л а

Я написала все. Благословите
Прочеть вам.

А р х и м а н д р и т

Ну, читай, коль не длинно.

П а в л а

Инок — от слова: «иное».
За монастырской стеной
Нету ни стужи, ни зноя —
Есть лишь безмолвный покой.

В мире борьбы и утраты
Вечно в страстях он горит.
Мы лишь бесстрашьем богаты,
Мы — за броней молитв.

Пусть оградит нас от мира
Сторож суровый, устав.
У корня господня секира,
И наказующий прав.

Ладанный дым и лампы.
Пение древних псалмов —
Звенья незримой ограды,
Меж миром и иноком ров.

Перебираем мы четки,
Сладкое имя твердим,
День наш, земной и короткий,
Исчезнет, как ладанный дым.

Здесь я живу для спасенья
Моей многогрешной души,
Для послушанья, смиренья,
Для жизни уставной в тиши.

И не могу расточать я
Скупю отмеренный срок,
И не открою объятья
Любому за то, что убог,

Страшно растратить мне время,
Слышу призыв: поспеши.
Одно принимаю я бремя:
Моей многогрешной души.

1-й м о н а х

Благочестиво.

2-й м о н а х

И смиренья много.

1-й м о н а х

О, господи, твоя святая ревность.

А р х и м а н д р и т

Знавал я одного архиерея —
Бывало, молодых учил монахов:
Локтями продирайтесь в Божье царство.
Все остальное — временно и тленно.
И уступайте все без сожаленья.
Лишь к вечному всегда ревнивы будьте,—
Локтями пробивайте путь.

2-й м о н а х

Мудрейший,
По-видимому, архипастырь был.

А р х и м а н д р и т

У Анны, видимо, другие мысли?

И г у м е н ь я

Ее спросите.

А р х и м а н д р и т

Что ж ты возрекаешь?
Как мыслишь ты об иноческом деле?

А н н а

Нет, не какой-то безлюдный пустырь —
Мир населенный — вот монастырь!

Нету границы и нету ограды
Для вечно цветущего Божьего сада.

Чем счастлив, чем полон смиренный монах?
Тем, что лопата он в Божьих руках.

И ходит по миру предвечный садовник
И в розы творит он колючий шиповник.

Садовник, Господь, потрудиться дозволю,
Чтоб радость цвела, чтобы вянула боль.

Чтоб душу за каждое божье растение
Мы отдавали без сожаленья.

Вы вопрошаете: что есть монах?
Труба громовая он в Божьих устах,—

Господь отшвырнет ее — будет немая.
Инок — навоз для господнего рая.

А р х и м а н д р и т

Да, матушка игуменья права:
Занятно очень — непонятно только.

1-й м о н а х

И соблазнительно.

2-й м о н а х

Возможны даже
Такие толкованья этой речи,
Что чувствую как бы мороз по коже.

А р х и м а н д р и т

По справедливости должны решать мы,
Все обсудив, все стороны проверив.
Речам не будем, братья, поддаваться,
Пока дела пред нами не предстанут.
Пусть мать честная нам теперь расскажет
Про жизнь своих сестер.

И г у м е н ь я

Скажу про Павлу.
Исправно совершает послушанье.
Церковница она. Весьма прилежна

К псаломщицкому делу. Все читает,
Поет по будням и устав блюдет.

А р х и м а н д р и т

В монастыре ты уставщицей, значит?

П а в л а

Так матушка меня благословила.
Но и помимо послушанья, сердце
Меня к словам божественным влечет.
Такая красота в святых молитвах!
Такая слаженность в свершенье службы!
Таят в себе священные страницы
Славянского узорного письма
Сокровища премудрости церковной.
За букву каждую я дать готова
Все искушенья мира.

А р х и м а н д р и т

Понимаешь
Ты все, что в церкви надобно читать?

П а в л а

Как ограниченный рассудок может
Премудрость необъятную вместить?
Но в непонятном — будто отблеск тайны.
Читаю я — Господь же все поймет.

И г у м е н ь я

Должна сказать: не пропустила службы
Она с тех пор, как в монастырь вошла.

А р х и м а н д р и т

А как прилежна Анна?

И г у м е н ь я

Очень часто
Иные послушанья отвлекают
Ее от служб церковных. Очень трудно
Делить меж разными делами время.
Нежданно заболает богомолец
Или простудится сестра какая,
Зеленых яблок дети наедятся
Иль в деревнях соседних лихорадка

Скосит работников — ее уж дело
Заботиться о всех больных.

А р х и м а н д р и т

С постами
Достаточно ли строгости у вас?

И г у м е н ь я

В монастыре мы соблюдаем строго
Все, что повелено нам по уставу.
Но если сестрам отлучаться надо,
То вне обители не те законы.

А р х и м а н д р и т

А часто отлучаются?

И г у м е н ь я

Нет, Павла
Не покидает никогда обитель.
У Анны много дел в селе соседнем,
И в городе она бывает часто.

А р х и м а н д р и т

Не нахожу серьезной я причины
Безоговорочно решать ваш спор.
В святое послушанье вы вмените
Терпеть друг друга.

П а в л а

Если я права,
То, значит, Анна виновата. Если ж
За нею правда — я грешна пред Богом.
Но только знаю я — не могут вместе
Противоположные две правды быть.

А р х и м а н д р и т

Ты Анну обвиняешь?

П а в л а

Нет, не смею.
Не полагается мне обвинять сестру.
Я только знаю — с нею мир ворвался,
С своими язвами, и с гноем, с кровью,
И со страстями, и с бедой своею.
Все замутил, все загрязнил, встревожил.

Коль монастырь обуреваем бурей,
Куда бежать, где тишины искать?

А р х и м а н д р и т

Ты, бурная, что ей ответить можешь?

А н н а

Я не ищу ни тишины, ни бури,
Но если в мире тяжело живется —
Пусть будет тяжело в монастыре.
Мы крест мирской несем на наших спинах.
Забрызганы монашеские рясы
Земною грязью — в мире мы живем.

П а в л а

Чин ангельский уводит нас от мира.

А н н а

Коль Божий сын людьми не погнушался
И снизошел до перстной нашей плоти,
То нам ли чистотой своей гордиться?

П а в л а

Мирская ты — и уходи в свой мир.

А р х и м а н д р и т

Я, повторяю, не хочу судить вас:
Различные пути дает Владыко.
Лишь он сердца людские испытует.
Но мир сестер я охранять обязан.
И потому мое решение будет
Считаться лишь с одною общей пользой.
И Анне, крепко связанной с землею,
Теперь даю святое послушанье:
Иди. Там, за оградой монастырской,
На все четыре стороны дороги,
Любой иди. Потщись себя проверить.
И если ты в пути сломаешь крылья,
То возвратишься, жаждая покоя,
Склонишь главу и скажешь нам: покорность.
Но может быть иначе. Мы не знаем.
Лишь подвигоположник знает тайны.
Он ведает, зачем такую создал
Тебя, не схожей с образом привычным
Монашества. Веками существуют

Монашеские правила, обеты.
И нам не полагается менять,
Что было установлено отцами.
Господь спаси тебя. Иди же с миром.

Анна крестится, кланяется на все стороны и уходит.
Молчанье. Звон к трапезе. Вносят чай и еду.

И г у м е н ь я

Во время трапезы благословите,
Отец честной, читать Четьи Миней².
Очередная чтница ждет.

А р х и м а н д р и т

Во имя
Отца и Сына и Святого Духа.

Ч т и ц а

Из пустыни Нитрийской во град Константина
Кораблем был доставлен Виталий-монах.
Не покрыты плащом, развевались седины,
Не имел он сандалий на пыльных ногах.
Корабельщики дали ему пропитанье,
Чтоб носил на корабль отправляемый груз.
Так среди шума кончал он земное скитанье,
Раб Виталий твой верный, Господь Иисус.
Средь толпы моряков, веселящихся женщин,
Среди торга дневного, полуночных драк
Был он вечно смирен, молчалив и застенчив,
Вечно холоден, грустен и наг.
От приморских трущоб возвращаясь с работы,
Остановлен был падшею женщиной он.
И она шла домой с неудачной охоты.
Сотворил он смиренно земной ей поклон.
Этой ночью никто не купил ее тела,
И Виталию тихо сказала она:
«Я с утра ничего не пила и не ела.
Дай немного мне хлеба и кружку вина».

А р х и м а н д р и т

Кончай читать, сестра. Уже мы сыты,
И правило вечернее пора нам
С сердечным умилением совершать.
В господен храм сейчас идите с миром
Благодарить творца за то, что кончен
В монастыре тяжелый час соблазна.

За Анну-путницу мы вместе будем
Горячие моления воссылать,
Чтоб ей сподобиться конец дороги
Средь света незакатного увидеть,
За всех сестер, за мать честную вашу,
За мир обители, за хлеб насущный
Молитвенно подыдем голос.

Все уходят молча в церковь.

Действие второе

Постоялый двор. Большая комната. На столе тускло горит лампа.
У стен нары, покрытые соломой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сидят на скамьях и на нарах два богомольца, две матери
с детьми, два парня, Анна.

1-я мать (*качает плачущего ребенка*).

Что ты плачешь? Что не спишь?

Волны в реках задремали,

Поле спит, и в небе тишь.

На луга туманы пали.

В конуру забился пес.

Дремлет, стоя, конь в конюшне.

И не слышен скрип колес,—

Спи, Ванюшка, непослушный.

Старый дал краюху мне,

Бабы вынесли полушку...

Что ты мечешься во сне?

Как уговорить Ванюшку?

А н н а

Ты завяжи ему живот теплее,

И он утихнет.

1-я м а т ь

Так всю ночь орет.

И выспаться не даст. А утром снова

В дорогу надо на пустой желудок.

Эх, жизнь проклятая!

А н н а

Давай-ка Ваню —

Сама же спать ложись, а мне не спится.

(*Берет ребенка, поет.*)

Заранее чует утраты
Детское сердце твое.
Все мы бедою богаты,
Только не плачем — поем.

В мире мы нищи и наги,
Отлучены от небес,
Но, помня о славе, о благе,
Несем нам ниспосланный крест.

(Ребенок засыпает.)

1-й б о г о м о л е ц

Кусок хороший хлеба, перья луку
Да кружечку кваску. Потом в дорогу.
При лунном свете выходить не страшно.
По холодку до утра отмахаем
Немало верст.

2-й б о г о м о л е ц

Поспеем мы к обеду.

1-й б о г о м о л е ц

А отдохнуть к полудню соберемся.

А н н а

Вы долго так в пути?

1-й б о г о м о л е ц

Я со счета сбился,
Да, почитай, четвертую неделю.

2-я м а т ь *(у которой подрались дети. Крик).*

У, проклятушие,! Нет угомона
На этих пострелят!

1-й р е б е н о к

Он начал первый.

2-й р е б е н о к

Неправда, он меня по уху треснул.

1-й р е б е н о к

А он меня ударил по затылку.

2-я мать

Вот я обоих вас сейчас ударю,
Как вам еще не снилось никогда.

(Бьет их. Крик.)

Анна

Оставь их.

2-я мать

Ты откуда взялася,
Защитница непрошенная детям?

1-й парень

Нет, брат, свою ты пользу упускаешь.
Из верных делов верное. Входи-ка
Четвертым в часть. Тебя мы не обидим.

2-й парень

Не очень я к таким делам привычен.

1-й парень

Лиха беда начало. Ты за пояс
Всю нашу тройку запросто заткнешь.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Входят с котомками два странника, две
женщины и скиталец.

1-й странник

Мир всей честной компании.

1-й богомолец

Вам также.

2-й странник

А что, для нас местечка не найдется ль?

2-й богомолец

Как не найтись? Уляжетесь на нарах.
А нам уж скоро выходить в дорогу.

1-й странник

Устроимся легко мы. Только с нами
Один чужак, Господь его поймет.
Испорченный иль просто полоумный.
Его устроить как?

А н н а

Что с ним такое?

1-й с т р а н н и к

Пугал нас всю дорогу небылицей,
Как будто бы уж многие столетья
Он на земле живет. И срок подходит.

Ж е н щ и н а

Чего-то он боится.

1-й с т р а н н и к

Иль попутал
Его лукавый враг, иль одержимый.

Все размещаются. Богомольцы готовятся уходить, складывают котомки.
Женщины устраиваются на нарах с детьми и засыпают. Анна отдает
уснувшего ребенка.

1-й б о г о м о л е ц

Вот петухи поют. Пора в дорогу.
Господь храни вас.

1-й с т р а н н и к

С Богом, по прохладе.

Богомольцы уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Д в а с т р а н н и к а , д в а п а р н я , А н н а и с к и т а л е ц .

2-й с т р а н н и к (Анне)

Ты вот что, добрая душа, попробуй
Ты старичка расшевелить немного.

1-й с т р а н н и к

Расшевелим
Его мы двое. Только не мешайте.

(К скитальцу.)

А вам откуда будет путь, почтенный?

2-й п а р е н ь

Тут слух пошел про вас довольно странный:
Как будто вы особым долголетьем
Владеете.

1-й п а р е н ь

Так будьте так любезны
Открыть нам ваш секрет, а мы заплатим.

1-й странник

Да вы над ним глумиться сговорились.
Нет, этого не допущу я.

1-й парень

Сам ты
Просил заняться им.

1-й странник

Да не тебя.

1-й парень

А ну вас, Божьи дурачки! Охота
Терять с такую мразью время. Лучше
Еще часок всхрапнуть.

2-й парень

Вот это дело.
Идем на сеновал, на свежий воздух.
(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Два богомольца, Анна, скиталец.

1-й странник

Будь милостива, матушка родная,
И обласкай больного старика.

2-й странник

Не болен вовсе он — им дух владеет.

1-й странник

С ним третий день идем одной дорогой.
Сначала он молчал и только ночью
Как будто в полусне разговорился.
Не нашей крови он. Забрел, скитаясь,
Из дальних стран, на острове рожденный,
Он в Индии жил долго, там, где змеи,
Послушные таинственной свирели,
Весною на лугу зеленом пляшут,
Где жемчуг раковины берегут,
Где, бархатом и золотом покрыты,
Слоны везут заморских королей,
Где вместо ржи — тростник, дающий сахар,

И не картошку — земляной орешек
Выкапывают осенью в полях.

2-й странник

Не в этом дело. Где он только ни был.
Все в поисках. Что ищет — непонятно.
Всего ж невероятнее, что будто
Не сорок лет, не пятьдесят — столетья
Живет он, коль ему поверить можно.

Скиталец (*про себя*).

В пору цветения лип,
В давно минувшем июле,
Я все получил — и погиб,
К концу мои дни повернули.

В пору цветения лип,
Грядущей ночью — расплата.
И в горле клокочущий хрип,
И в легких дыхание сжато.

Вот он, последний июль.
Липы цветут в отдаленье.
За эти часы не найду ль
Того, кто скитальца заменит.

1-й странник

Ты слышишь?

2-й странник

Можно ли понять безумца?

Анна (*к скитальцу*).

Июль в начале. Липы расцветают.
Чего боишься ты? Какие сроки
Тебе цветенье лип напоминает?

Скиталец (*как бы приходит в себя*).

Оставь меня. Вниманием докучным
Не воскрешай обманчивой надежды.
Молчать мне лучше, чтоб не видеть снова,
Как человека искажает ужас.

1-й странник

Вот видишь, видишь. Даже слушать жутко.

А н н а

Уйдите в сторону. Одних оставьте
Скитальца и меня.

2-й с т р а н н и к

Вот это дело.
Поговори с ним. Мы же ляжем спать.

(Уходят в угол.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анна и скиталец.

А н н а

Не знаю я, старик, каким веленьем
Я вынуждена выслушать тебя,
Но думаю, что той же тайной волей
Ты вынужден мне рассказать о всем.
Так говори.

С к и т а л е ц

В июле ночи кратки.
Случится все сегодня до рассвета.
Спешим, спешим. Последний срок подходит.
Я задыхаюсь. Трудно говорить мне.
На договор и вслух его прочти.

А н н а *(читает)*.

«Сей договор был заключен
По доброй воле. Он — закон.
И будет в силе триста лет.
Тебя избавлю я от бед.
Богатство дам и славу дам,
Но все мы делим пополам.
Ты на земле получишь власть,
А после смерти должен впасть,
Как плод созревший, в руки мне
И мучиться века в огне.
Тебе протягиваю длань —
Даю великодушно дань:
Себя ты можешь заменить,
А я закон сей применить
К любому, кто согласен с ним
И кто пойдет путем твоим.

Итак. Пройдет три сотни лет —
И дай ты мне тогда ответ:
Твоей душе или иной
От жизни в смерть идти за мной,
За триста лет ты не спеша
Отыщешь, где скорбит душа.
Могуществом пленишь ее.
Я получу то, что мое.
Как нужно, подпись приготовь.
Твоим чернилом будет кровь».
Когда же срок?

С к и т а л е ц

В июле... Этой ночью.

Молчание

А н н а

Давай молиться вместе.

С к и т а л е ц

Не умею.

А н н а

Так кайся же.

С к и т а л е ц

Душа моя мертва.

А н н а

Что ж делать?

С к и т а л е ц

Женщина, тебя я вижу
Средь нищеты. Одета ты в отрепье,
Лишь захоти — несметные богатства,
Сокровища, которым нет цены,
Твоими будут. Города из камня
Белейшего, невиданного плана,
Сады, где пальмы с кипарисом рядом,
Где гроздья винограда, как янтарь.
А в сундуках тяжелые камни,
Алмазы, жемчуг, дорогие ткани.
Лишь захоти.

А н н а

Не нужно мне богатства.

С к и т а л е ц

Твоею волею народы будут
Друг другу объявлять войну и гибнуть.
Твоею волей и война смирится.
И матери детей своих научат
Шептать с любовью благодарной имя
Той, кто от бед их защитил. Властью
Твоею будут изданы законы.

А н н а

Не надо. Я от власти не пьянею.

С к и т а л е ц

Ты будешь молода еще недолго,
Но молодость века сберечь ты сможешь,
Поэты красоту твою прославят,
За взгляд твой воины пойдут на подвиг,
Свободный отречется от свободы.
Любовь твоя — для них одна награда.

А н н а

Мне даже не обидно слушать это —
Так ты далек от мира моего.

С к и т а л е ц

Подумай. Скоро ты придешь к закату.
Смежишь глаза. Уйдешь с земли любимой.
А я тебе дарую долголетье.
Из чаши жизни будешь пить спокойно,
Не торопясь, не отравляясь страхом.
И только через триста лет, насытив
Все помыслы и все желанья сердца,
Кому-нибудь дар страшный передашь.

А н н а

Оставь меня, ты сам, наверно, понял:
Без отклика твои слова.

С к и т а л е ц

Да, я понял.
Ни разу сердце не забилося быстро,
Не перехвачено дыхание твое,

Ни разу не шепнула ты: хочу.
А срок подходит..

А н н а

Отчего сейчас ты
О заместителе своем подумал?
А эти триста лет прошли беспечно?

С к и т а л е ц

Все триста лет искал я в мире целом.
Я в тюрьмах был, средь осужденных насмерть.
В последнюю минуту обещал я
Их увести тайком чрез подземелье.
Они кидались с плачем на колени
И благодарно целовали руки,
Пока я им не говорил о плате,
И, с ужасом внезапным отшатнувшись,
Из двух дорог предпочитали плаху.
Да что! Ведь я бывал средь прокаженных,
Средь погребенных заживо в больницах,
Искал я голодающих детей
И матерям их предлагал богатства.
Я приходил к разбитым полководцам,
Манил их славой, лавровым венком —
Никто не согласился на расплату.
Вот срок настал... Ты непреклонна, Анна?

А н н а

Ты виноват...

С к и т а л е ц

Но, Анна, я страдаю —
Нет в мире муки большей, чем моя.

А н н а

Послушай... Я подумала... Решила...
Садись. Возьми перо, клочок бумаги
И запиши мое условие точно.

Ни золота, ни серебра,
И ни полей, и ни садов,
И ни рабов, и ни дворцов,
И никакого я добра

Не принимаю,
Не буду войны объявлять,

Не буду мира заключать,
Противна мне господства страсть,
Над братом никакую власть
Не принимаю.

Я обещалась побороть
Земную грешную любовь.
Не закипает в сердце кровь,
Все, чем прельщает душу плоть,
Не принимаю.

И если б ныне дух мой мог
Расстаться с телом — он готов.
Я не хочу твоих веков
И этот долголетний срок
Не принимаю.

Но заплачу я за тебя,
За душу душу дам в обмен.
Приму навеки вражий плен.
Спасу тебя, себя губя.

И подпись: А Н Н А.

(Берет у него бумагу и расписывается в ней.)

Молчание.

С к и т а л е ц

Ты, Анна, ты...

А н н а

Теперь твой час молиться
И каяться. Последний срок приходит.

С к и т а л е ц

Да, каменное сердце растопилось,
Как воск, оно в груди блаженно тает.
Глаза прозрели. Вижу грех свершенный
И в ужасе от пропасти бегу я.
Ты, Анна, ты...

А н н а

Светает... Срок подходит.

С к и т а л е ц *(молитвенно, сбиваясь, почти без сознания)*.

Господь мой, я тебя благодарю...
Нет, покаянье — не благодаренье...
Не покаянье — за нее молю —
Прими мое предсмертное моление.
Нет, каюсь, каюсь, каюсь. Сладко мне.
Грудь разрывается огнем на части.

Я в преисподней был, я был во тьме.
Теперь она, не я, во вражьей власти.
Прошу... благодарю... нет больше сил...
Ворота в вечность, шире распахнитесь.
Вот страшный срок настал, мой час пробил.
Живые души, все о нас молитесь.

(Умирает.)

Действие третье

У монастырских ворот. Низкие облака. Скоро рассвет.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна (входит, оглядываясь).

Недавно я покинула обитель,
А кажется, что океаны лет
Над головой моею отшумели...
Не буду сразу я сестер тревожить —
Пусть колокол ударит к ранней службе.
И отопрет привратница ворота...
Как будто я у цели. Все ж не верю,
Что буду за оградой монастырской,
Что там меня отыщет смерть.
Все ближе,
Все неотступнее она за мною —
Как за лисицею в лесу собака.
Ударит час. Костлявою рукою
Она горячее мне сердце тронет.
Окаменит все тело... Иль боюсь я?
Без страха думала о смерти раньше,
Скорее с радостью, как земледелец,
Собравший к осени весь урожай.
Пора труда тяжелого минула,
Усилья дали плод. И жатва — праздник.
Теперь мне страшно. Мысль моя о встрече.
Он ждет меня, невидимый противник,
Ревниво сторожит он час мой смертный.
Пусть не тревожится — не отрекись я.
Душою заплачу сполна за душу.
Но есть соблазн — искать себе замену,
Как тот несчастный триста лет искал...
Быть может, что в последнюю минуту
Мне встретится больной или голодный —
И сам попросит, как о подаянье...
К монастырю я вовремя вернулась:

Ударит колокол, и постучусь я,
И доползу до паперти церковной,
И лягу, чтобы больше не вставать.
Усталость смертная...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Входят слепой Василий и Поводырь.

В а с и л и й

Я не с тобою —
Я сам иду, и мне тебя не надо.

П о в о д ы р ь

Ишь, расшумелся как. А я ведь пользу
Огромную тебе принести могу.

В а с и л и й

Уйди. И пользы мне твоей не надо.

(Садится и поет.)

Васенька, Василек,
Костяной костылек!
Для людей дурачок!
На скамеечку прилег!
Ой-да, на скамеечку!
Засветил огонек,
Свечечку в копеечку!
Побасенка-басенка!
Василечек, Васенька!
Васенька, Василек!
Пред людьми дурачок!
Перед богом свечечка!
Свечечка в копеечку!
Василий Блаженный —
Мощи нетленны...

П о в о д ы р ь *(к Анне)*.

Ты ждешь, когда ударят к ранней службе?

А н н а

Да, жду.

П о в о д ы р ь

Ты этой службы не дождешься.
Пора.

А н н а

Тебя ждала я тоже. Знаю,
Что время умирать мне наступает.

В а с и л и й.

Серая утка,
Желтый гусенок.
Басня-прибаутка.
Васенька, Васенок,
Васенька, Васютка!

П о в о д ы р ь (к *Анне*).

Не торопись. Все изменить могу я.

А н н а

Но не отказываюсь я.

П о в о д ы р ь

Подумай.

Переписать условия на другого
Еще есть время.

А н н а

Что твое — твое,
Но моего я уступать не стану,
Душой сполна за душу получай.

П о в о д ы р ь

Василий, подойди-ка и не бойся,
И с женщиною этой побеседуй.

В а с и л и й

Я не боюсь. А вот тебе не страшно ль?
Вдруг птичка улетит из западни.

П о в о д ы р ь

Брось дурака валять, Василий, слышишь?

В а с и л и й

А ты уйди — я сразу поумнею.
Лишь на тебя взгляну — и сразу простокваша
В моей башке как будто перекисла.

П о в о д ы р ь

Дурак калечный.

А н н а
Тише, тише, Вася.

В а с и л и й
Дядька тянет репку,
Репка, держись крепко.
Тетенька, держись!
Нечистая сила — сгинь!
Нечистая сила — брысь!
Тетка, держись крепко!
Аминь, аминь, аминь!

А н н а
Да, Вася, крепкие у репки корни —
Земные недра держат их упорно.

В а с и л и й
И ты за мною повторяй:
Для Анны, грешной Божьей дочери,
В зеленый сад, в господен рай
Пошире отворяйте двери.

Не яблоньки там, не дубки —
Цвет купины неопалимой.
Не бабочки, не голубки —
Пылающие херувимы!

Я слеп,— а все же видно мне,—
С мечом архангел стал на страже.
Он поразит, и враг в огне.
И нету больше силы вражьей.

А н н а
Нет, ты не знаешь, Вася. Он могуч.
Он вправе праздновать. По договору
Должна душой за душу я платить.
Ни на одну овцу господня стада
Не умалила я, себя извергнув,
И тьмы я не обогатила.
Число господних слуг все то же ныне,
Как и число плененных сатанюю.
Но я должна была свободной волей
Себя, как выкуп за другого, дать.
Он триста лет уже в аду томился.
Все, что по договору он имел,

Томленье это превратило в щебень,
В ничто, в обман. Мне жалко стало душу,
При жизни испытывавшую мученья,
Что грешников по смерти ожидают.
Мне так хотелось, чтоб уснул он с миром...
Теперь пора долги мои платить.

В а с и л и й

Эй, ты, вожатый, поводырь-противник,
Давай с тобой судиться за нее.

П о в о д ы р ь

О чем судиться? Без суда все ясно.

В а с и л и й

В уплату за дарованные блага
Ты хочешь душу получить?

П о в о д ы р ь

Конечно.

Согласна Анна, что мой счет исправен.
И в этом деле я купец — не вор.

В а с и л и й (Анне).

Читай мне договор. Я все проверю.

А н н а (читает).

«Ни золота, ни серебра...»

В а с и л и й

Так бедность
Оплачивается ценой огромной?

А н н а

«Противна мне господства страсть...»

В а с и л и й

Смиренье
Ты тоже оценил?

А н н а

«Обещала Богу
Плоть побороть»...

В а с и л и й
И умерщвление плоти
Обложено тобой налогом тяжким?

А н н а
«Отказ от долголетия...»

В а с и л и й
Мысли трудно
Понять, за что она платить должна.

П о в о д ы р ь
Читай конец.

А н н а
«За душу душу дам я.
Приму навеки вражий плен...»

В а с и л и й
Любовью
И жертвою торгуешь ты давно ли?
И право душу отдавать за душу
Распределяешь ты с какого срока?
Обманщик, лжец, убийца человека,
Купец бесчестный, пустотой торгуешь.
Предательский твой договор пусть гибнет:
Я рву его, я рву его — смотри.

Василий как бы преображается. Поводырь только теперь понял,
кто перед ним.

Суд совершен. Оправдана ты, Анна.
Твоя душа теперь в моих объятьях.
Подыдемся к небесному престолу.

Анна умирает у него на руках. В монастыре начинают звонить к ранней
обёдне. Ангельские голоса сливаются с колокольным звоном.

Душа, душа на родину вернулась.
Тельца упитанного заколоть,
Наверное, велит домохозяин
И подарит ей драгоценный перстень.

А н г е л ы (поют).
Ничтожную, телесную
Оставивши темницу,
На родину небесную
Должна ты возвратиться.
Враг, где твой меч губительный?

Змеиной пасти жало,
Где яд твой искусительный?
Душа венец стяжала
И жертве искупительной
С любовью подражала.

СОЛДАТЫ³ (мистерия)

Арестное помещение при комендатуре. Своды. По стенам скамьи.
Ночь.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

В углу неподвижно сидит старик-еврей. На переднем плане за небольшим столом три солдата играют в карты.

Первый солдат

Нет, брат, шалишь. Я отходил уж пики,
И козырем по даме. Получай-ка.

Второй солдат

Ну, делать нечего. Сдаюсь.

Третий солдат

Пора б на боковую.

Первый солдат

Нет, сегодня спать нам
До самой смены, верно, не придется.

Второй солдат

Еще сыграем.

Третий солдат

Надоело, право.
Вот наша жизнь: немецкие солдаты,
Часть армии непобедимой. К бою,
К трудам, к опасности готовы были.
Но не противников вооруженных,
Помериться способных с нами силой,—
Встречаем мы лишь стариков да женщин —
Трусливое еврейское отродье.
Не воины — тюремщики мы просто.

Первый солдат
Чего ж ты недоволен? Эдак лучше:
Живем в тепле, всегда по горло сыты,
Труд легкий, и ничем мы не рискуем.
Всегда бы так.

Второй солдат
И весело в Париже.

Первый солдат
Семью свою сюда перетащить бы.

Третий солдат
Сейчас опять нам приведут с облавы
Людей неведомых. Хорош противник —
Он лишь рыдать да трепетать умеет.

Старик (*про себя*).
Довольно, Боже!

Первый солдат
Чего он там бормочет?

Второй солдат
Наверное, плохие сны приснились.

Старик
Довольно, Боже!

Первый солдат
Эй, старик, в чем дело?

Третий солдат
Оставь его. Охота вечно слушать
Вопросы их, и жалобы, и просьбы.

Старик (*как бы во сне*).
Глаза почти не видят. Ссохлись кости.
Устал, устал я. Сколько тысяч лет
Земли мне пыльные дороги мерить?
Когда меня долина Иосафата
В свои гроба, как плод созревший, примет?

Первый солдат
Чего он там? Тоску наводит только.

Второй солдат

Эх, спать как хочется... Развеем скуку.
Споем-ка что-нибудь.

Первый солдат

Ну, запевай.

Второй солдат

Жди меня, моя краса!
Сколько б лет не длить разлуку —
Через горы и леса,
Через радость, через муку
Я в твой тихий дом приду.
Только вот — в каком году?

Жди меня, моя любовь!
Жди, чтоб в дверь я постучался.
Сердце к встрече приготовь.
Я любить навеки клялся.
Будь бодра и не больна...
Что нас разлучит?— Война...

Шлю тебе я письмецо
С нежным, любящим приветом.
Береги мое кольцо.
Я приеду этим летом.
А врага я — пулей в лоб.
Мне — невеста, ему — гроб...
Жди меня, моя краса...

Третий солдат

Да, пулей в лоб. Ведь тут, пожалуй, нету
И тени хвастовства. Уж коль стреляем,
Всегда наверняка. Противник связан,
Стоит у края собственной могилы,
Нас много. Вооружены мы сильно...
Что говоришь? Ничем мы не рискуем.

Первый солдат

Он все ворчит.

Второй солдат

Уж лучше песню спел бы.

Третий солдат

Есть тоже у меня в запасе песня.

Раз, два, раз, два, раз...
За спиною ранцы,

К Западу Эльзас,
А к Востоку — Данциг.

Раз, два, раз и два...
Всяк народ приманка,
Не боится рва
Гусеница танка.

Пусть в степях не спит
Красный воин русский.
Унесется бритт⁴
По тропе французской.

Раз, два, раз, два, раз...
Остановим Темзу.
Все, что видит глаз,
Все доступно немцу.

С т а р и к (*сам с собою*).

Народы поднимаются из праха
И в прах уходят. Все — гробов добыча.
Как миновали римляне, к Сиону⁵
Полки приблизивши по воле Тита.
Храм Егovy пылал тогда, как факел,
Как предсказал пророк, Рахиль рыдала.
Рабы-израильтяне в Рим входили
За императорскую колесницей.
И семисвечник, и ковчег завета,
На нем серебряные херувимы,
И трубы — все священные предметы
Для римской черни, требующей зрелищ,
Минутною забавой послужили...
Всевластью Рима не было границы...
Один лишь враг — настойчивое время,
Но римских стен оно не осаждало,
Но никогда не начинало боя,
Оно, как и всегда, стремилось к цели,
Нам, созданным из праха, не открытой.
И мы не знаем, где могила Тита.
Погашена веками слава Рима,
Развалины — и скоро их не будет.
А божий раб, Израиль тяжковыйный,
Он жив еще. И пусть, гонимый вечно,
Он вечно пребывает сам собою
И победителей своих хоронит,
Потом хоронит он о них и память...

Первый солдат
Не нравится мне что-то этот голос.
А ну, старик, о чем ты рассуждаешь?

Старик (*про себя*).
Знак Егovy, щит праотца Давида...

Третий солдат
Какой там щит? Щитом не защитишься
От танка быстрого иль пулемета.

Старик
Звезда, звезда...

Второй солдат
Оставь его. Довольно.
Мне слышится неясный шум у двери.
Пришли охотники с своей добычей.
Ну, так и есть.

Третий солдат
Тюремщики готовы
Гостей достойным образом принять.

ВТОРАЯ СЦЕНА

Входят офицер, стража и толпа арестованных. Среди них патриоты, бродяги, евреи, коммунисты, юноша. Солдаты встают. Офицер садится на их место. Все толпятся вокруг.

Офицер
Живей, живей! Мне некогда возиться.
Выстраивайтесь по порядку быстро.
Вот этот, тот, еще один, что сзади
Как будто избежать допроса хочет, —
Вперед ступайте. Кто еще? По списку
Пять патриотов мы сейчас схватили.
Из вас пяти кто отрицать решится,
Что принимал участие в заговоре?

Первый патриот
Что ж отрицать? Ты б сам на нашем месте
К восстанью тайно свой народ готовил.

Второй патриот
Играли крупно мы: на жизнь, на ставку,
Которую ты выиграл неожиданно.

Ну, что ж? Не постоим мы за расплатой,
И наша кровь пусть будет честь народа.
За родину и умирать не страшно.

О ф и ц е р

Отлично. Двое уж признались. Что же?
Одною честью только вы богаты,
А ваша жизнь...

П е р в ы й п а т р и о т

Мы ей не дорожим.

О ф и ц е р

Так. Пятеро вас всех. Эй, вы, солдаты!
Вот этих пятерых доставить нужно
В тюрьму с сопроводительной бумагой.
И живо.

С о л д а т ы

Все исполним мигом.

Уводят арестованных.

О ф и ц е р

Дальше.

Без паспорта толпа бродяг парижских.
Ну, это невод вытащил мне рыбу,
Которой голода нельзя насытить.
Вот список их. По именам отметьте
И уберите, чтобы не мешали.
При всех властях всегда одна дорога
Бездельникам, лентяям, тунеядцам.

Солдаты проверяют бродяг по списку и уводят их.

Евреи, нарушители закона,
Отмечены, как шельмы, звездоносцы.
Один задержан здесь за то, что мечен.
Ну, а другие так за то, что смели
На улицах, на площадях базарных
Среди народа без звезды являться.

С т а р и к (*про себя*).

Звезда, звезда, знак тайный Элогима...⁶

П е р в ы й е в р е й

Потише, дед, себя и нас погубишь.

С т а р и к
Звезда, звезда...
О ф и ц е р (к *первому еврею*).
Показывай бумаги.

П е р в ы й е в р е й
О, вот они. По ним вам будет ясно,
Что честный я портной, что сын мой старший
Полгода воевал, был тяжко ранен,
Что мать моей жены...

О ф и ц е р
Какое дело
Мне до нее, до бабушки, до деда?
Пусть следующий подходит.

В т о р о й е в р е й
Вот бумаги.

О ф и ц е р
А это что? Врач пишет, что ты болен.

В т о р о й е в р е й
Да, лишь неделя, как я из больницы
Домой вернулся.

О ф и ц е р
Лечат и в тюрьме.
Скорее. Дальше.

Т р е т и й е в р е й
Запираться не в чем.
Я только о пощаде умоляю.

О ф и ц е р
Пощады захотел? Конечно — дети,
Жена больна и нету дома денег?
Охотно верю, что ты малый честный
И, может быть, воды не замутишь.
Нам кровь твоя важней расположенья,
И убеждений, и теорий всяких.
Тут против крови ополчилась кровь.
И верь — она кипеть не перестанет,
Пока у вас вся в жилах не иссякнет.
Ну, звездоносцы, дальше.

Старик (про себя).

Авраам,
Исаак, Иаков, вы, патриархи?
Давид...

Офицер

Так, дело сделано. К полудню
Отправить их по лагерям различным.

Еврей

О, горе нам!

Офицер

Да вы не очень войте.
И знайте — я могу утешить даже:
Заложников среди евреев нету.
За проволокой вы посидите только.

Первый еврей

О, мать моя!

Второй еврей

Я двух детей оставил.

Третий еврей

Я голода боюсь.

Первый еврей

О, горе, горе!

Второй еврей

Спасите нас. У вас, наверно, тоже
И мать, и дети есть.

Офицер

Довольно. В лагерь.
Евреи вы — о чем же говорить?

Их уведят.

И коммунистам очередь приходит.
Ну, с этими недолги разговоры.
Подвиньтесь ближе.

Они обступают стол.

Были вы все взяты,
Когда распространяли среди народа

Призыв к восстанию. Для другой державы;
Воюющей сейчас с державой нашей,
Вы были здесь ушами и глазами.

Первый коммунист

К народу вашему мы не враждебны.
Нам всякий труженик всегда товарищ.
К насильникам мы лишь непримиримы,
И с немцами у нас одни и те же
Смертельные враги.

Офицер

Как имя их?

Первый коммунист
Спроси себя — и сам себе подскажешь,
Кто твой народ на рабство обрекает,
На подневольный труд и на войну,
Какое имя женщины с проклятьем
Над письмами убитых сыновей
Твердили тихо, а теперь все громче.

Офицер

Ну, ну, потише. Ври — не завирайся.

Второй коммунист
Товарищ много не договорил.
Не понимаю я вояк немецких:
Был он крестьянином или рабочим.
Знал хорошо, как мир весь разделится
Меж богачами и простым народом.
И хоть немного богачей — да люты.
А главное, хитры: кого угодно
Вокруг пустого места обведут.
Ведь знали же рабочие про войны —
Кому их затевать пришла охота,
А вот поди же — поддались.

Офицер

Значит, знали,
За что их умирать заставят.

Второй коммунист

Право,
Подумать только — очень нужны им

Захват Европы, власть над целым миром
И дома голод, ни кусочка хлеба,
Сиди по десяти часов, работай —
А на кого?

О ф и ц е р

Да, вам себя бы только
До смерти обеспечить жирным мясом,
А в праздник погулять с женою выйти.
Вы — просто стадо. Ваши сны про сытость.
Всеобщее кормление зверей.
У нас же есть высокие задачи.

П е р в ы й к о м м у н и с т

Ну, чьи задачи выше, можно спорить.

О ф и ц е р

Довольно. К спорам ты привычен, видно.
И не взнуздается язык болтливый
Тем даже, что с поличным ты попался.
Сообрази, чем это пахнет.

П е р в ы й к о м м у н и с т

Знаю.

Не первый я и не последний тоже.

О ф и ц е р

За дело безнадежное вы бьетесь.
Отравлены московской небылицей.
Что хорошо для варвара-народа,
То здесь, в Европе...

В т о р о й к о м м у н и с т

Варвар бьется ловко.
Не хуже избранной твоей породы.

О ф и ц е р

Как видно, не о чем нам пререкаться.
И каждый на своем стоит упрямо.
А разница лишь в том, что я могу вас
Не только запереть, но уничтожить.
Вы в лучшем случае бурчите под нос
Иль пишете в листовках безымянных
С привычной вашей скучной болтовней.
Я — сильный. Вы слабы. А там, где сила,
Там также право.

Первый коммунист
Погоди немного:
Как все Советы к выходу попросят,
Небось о праве слабых завопишь.

Офицер
Наслушался я ваших басен глупых.
Солдаты, с этих не спускайте глазу —
Они у нас заложниками будут.
Ступайте.

Солдаты уводят коммунистов — последних арестованных.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

В дальнем углу остаются лишь старик и юноша. Офицер их не замечает, раскладывает бумаги на столе, делает отметки.

Офицер

Так. Все правильно. Облава
Была удачной. Несколько десятков
Противников, скрывавшихся доселе,
Попалось наконец нам за решетку.
Десятков несколько. Конечно, мало.
Их ловишь, а они как будто могут
Пред нашими глазами размножаться,
Как в этом грязном городе клопы.
Война не кончилась — и сразу люди,
Вчера готовые в нас видеть
Спасителей своих непобедимых,
Залаяли — щенки из подворотни.
А завтра в ногу вцепятся зубами.
Трусливый мир. Пора ему исчезнуть.
Вчерашние владыки жизни будут
Скотом рабочим, тихими рабами,
Покорными избранной расе нашей.
Мы все учтем, мы многое изменим,
Мы их научим исполнять приказы,
По праздникам мы веселить их будем,
Забавить незатейливой игрою,
Кормить, чтоб мускулы не сдали в силе.
Женить, чтоб обеспечить их потомство.
Таких же, как они, рабов. Владыки
Мы — племя севера. И мы с планетой,
С старушкой дряхлеющей, с землей,

Распорядимся, будто огородник,
Работающий на большом участке.
Всего там есть: капуста и картошка,
И пышные цветы растут без пользы.
И все для нас. Отныне и до века.

С т а р и к (*про себя*).

Довольно, Боже. Время отдохнуть.

О ф и ц е р

Кто там еще?

С т а р и к

Звезда царя Давида...

О ф и ц е р

Да тут, никак, их двое оказалось?
Как вы сюда попали?

С т а р и к

Отдохнуть я

Здесь на скамьях в углу расположился,
Но плох мой отдых.

О ф и ц е р (*к юноше*).

Ты откуда взялся?

Ю н о ш а

Пристал к задержанным.

О ф и ц е р

Вот чудаки.

Отсюда всяк, как чиж из клетки, рвется,
А вам проникнуть непременно надо
За все замки — за все засовы наши
Для отдыха.

С т а р и к

Плох отдых мой повсюду.

О ф и ц е р

А вы-то хороши. Как на открытках,
Которыми знакомых поздравляют.
Ты — старый, дряхлый, уходящий год,
А ты идешь ему на смену — новый.

Пожалуй, только худошав немного,
Но ничего. Часы бы лишь меж вами
Поставить, чтобы стрелки на двенадцать
Указывали. Приписать бы сбоку:
«С счастливым новым годом». Буквы
Из золота. Ни дать ни взять открытка.

С т а р и к

Ты думаешь, что шутишь, а на деле
Одну лишь правду говоришь.

Ю н о ш а

Иначе

Мы эту правду увидеть умели.
Бывал ты в Страсбурге?

О ф и ц е р

Конечно. Город —
Один из заповедных городов,
Который вновь Отечеству достался.
Так что же там?

Ю н о ш а

На площади собор.
Когда ты к боковым дверям его подходишь,
То женщин двух из розового камня
По сторонам увидишь, как на страже.

О ф и ц е р

На двух красавиц мало вы похожи.

Ю н о ш а

Одна стоит, венчанная короной,
И посох свой высоко держит.
Другая... Посох сломлен и повязкой
Завязаны глаза... И скорбь немую
На лице полузримом и в движенье
Высокого, худого стана видно.

С т а р и к (*про себя*).

В скорбях зачаты, в муках рождены.
Сион, Сион, твое великолепье
Врагами попрано. Нет храма Богу.
Мы как песок во время урагана.

О ф и ц е р

Немного помолчи. Хочу дослушать.

Ю н о ш а

Пусть слушают имеющие уши,
Но удивлюсь я, если ты услышишь.
Весь Божий мир и все пути людские
Разделены меж сестрами навеки.
Незрячая все прошлое вместила.
Другая — будущего госпожа.

О ф и ц е р

Что было и что будет — пусть. Сегодня —
Не этим сестрам — нам оно подвластно.

Ю н о ш а

Сегодня — грань между двумя мирами,
И этой грани в самом деле нету.
Ты не успел свои слова обдумать —
Они уж сказаны, они уж в прошлом.
Немногого ты хочешь в жизни, если
Лишь настоящее в ней бережешь.

О ф и ц е р

Яснее говори.

Ю н о ш а

Я буду ясен.
Уж около двух тысяч лет минуло,
Как крест рассек вселенную на части.
С тех пор старик покоя не находит —
Он обречен пройти по всем дорогам,
Которые под солнцем существуют.
И на глазах сестры с тех пор повязка.

С т а р и к

Как много их, дорог неисходимых!

Ю н о ш а

Тогда обрублены все ветви были
Еще в раю нам выросшей маслины.
И дикую маслину к ней привили.
И разрослась она могучим деревом.
Весь мир своей листвою осенила.
И имя ей — христово тело, церковь.

О ф и ц е р
А, это песня старая.

Ю н о ш а
Дослушай.
Нет в мире эллина, нет иудея...

О ф и ц е р
Договорился. В мире есть и есть —
Не только есть, но будет, будет, будет
Народ владыка, господин вселенной.

С т а р и к (*про себя*).
Никто не знает, где могила Тита
И по-египетски не говорит.
И пал Ассур, звезда войны кровавой,
И все умрет...

О ф и ц е р
Ты первый.

Ю н о ш а
Что торопишь
Ты ход событий, смысл которых — тайна?
Умрет и он. Но мне сначала надо
Повязку снять с очей сестры любимой.

О ф и ц е р
Снимай, снимай — тебе я не помощник.

Ю н о ш а
Не думаю. Ты приближаешь сроки,
Того не ведая.

О ф и ц е р
Ты пьян иль бредишь.

Юноша вместе со стариком отходит в сторону, подымает руки и
начинает молиться.

Благослови, Господь, благослови.
Вели, чтоб дерзновенная десница
Во имя распинаемой любви
Двум сестрам помогла соединиться.

Благослови, владыко, подвиг наш —
Пусть твой народ, пусть первенец твой милый

Поймет, что крест ему — и друг, и страж,
Источник вод живых, источник силы.

Благослови, распятый Иисус.
Вот у креста твои по плоти братья,
Вот мор и глад, и серный дождь, и трус —
Голгофу⁷ осеняет вновь распятье.

Благослови, мессия, свой народ
В лице измученного Агасфера⁸.
Последний час, последний их исход.
И очевидностью смени их веру.

Старик

Мы вопрошали безмолвное небо.
В буре молчал, в урагане ты не был.

Вот незакатное солнце в сверканье.
Близок ты, близок. Ты в тонком дыханье.

Слушай, Израиль, — склоняются главы.
Царь приближается в облаке славы.

Офицер

Нет, больше не могу. Я до рассвета
С безумцами проговорил бесплодно.
Солдаты, живо! Иль вы там заснули?

Входят солдаты.

Возьмите этих двух бродяг бездомных,
Обоих вытолкайте за ворота
И никогда их больше не пускайте.

ИЗ КНИГИ «СТИХИ» (1949)

II. ВЕСТНИКИ

1

Знак этой книги — стрела,
Покоя и мира в ней нету.
Влекутся земные дела,
Влекутся к нездешнему свету.

Знак этой книги — исход,
И позванность в даль, и несытость.
Путь — человеческий род,
Цель — Божьего ока открытость.

2

Близорукие мои глаза
На одно лишь как-то четко зрячи:
Будто бы не может быть иначе —
И за тишиной растет гроза.

Будто бы домов людских уют
Только призрак, только сон средь яви.
Ветер вдруг свое крыло расправит,
В бездне звонко вихри запоют.

И людские слабые тела,
Жаждавшие пития и пищи,
Рухнут, как убогое жилище,
Обнаживши мысли и дела.

Звезды, вихри, ветер впереди...
Сердце не сжимается, не трусит...
Господи Иисусе,
Ей, гряди...

3

И вновь пылающий рубеж,
И странник на пути крылатый
Протягивает меч и латы,
Велит опять начать мятеж.

Какою, Боже, силой мы
Подыдем латы и кольчуги,
И ринутся Твои к нам слуги
Небесных воинств тьмы и тьмы.

Ты в небе снова Крест воздвиг,
И душу вихрями уносит...
Призывно трубит меченосец,
Сам Михаил Архистратиг.

Гул вечности доходит глухо,
 Твой вихрь, о, суета сует...
 И круг: рассвет, закат, рассвет,—
 Опять, опять томленье духа.

Кружение ветра, вихри пыли...
 И вот, как некий властелин,
 Мой дух средь вечности один
 Свершает круг своих усилий.

Объединяет воедино
 Растерзанного мира прах.
 И явлен в творческих руках
 Единый образ в комьях глины.

В руках — преграда и оправа,
 Всех вихрей, всех кружений твердь.
 В руках — вложенье смысла в смерть
 И укрощенный смыслом хаос.

...И были вестники средь нас:
 Я точно видела их прежде —
 В такой пылающей одежде,
 С таким огнем крылатых глаз.

Они нам предвещали смерть
 И мира гибель и горенье.
 Иное разве откровенье
 Они нам предвелят теперь?

И ведаю — их путь не тих.
 Небесный друг — огонь и воин.
 Призывает он и неспокоен,
 Как в небо вознесенный вихрь.

И слышу я за смыслом слов,
 В какой-то недоступной глубине —
 Начало ангел вновь вострубит
 Священнопламенных костров.

Крылатому Вестнику ринусь навстречу,
 О, мир, предадим все глухие обиды.
 Мы видели тайны, мы ждали Предтечу,—
 И пищей нам были лишь мед и акриды¹.

«Покайтесь!» — гремит средь пустыни безводной,
 И взор не спускает Предтеча с Востока.
 «Покайтесь». Мы грешны душою голодной
 И с трепетом ждем предрешенного срока.

И стонет земля в покаянии, стонет,
 И сохнет от стога и стебель, и камень.
 И все, что перстами взывающий тронет,—
 Т о — п л а м е н ь.

7

Подземный гул все слышен мне:
 Там темные клокочат силы,
 Пылают там земные жилы
 В неугасающем огне.

И в небе зарево стоит,
 И облаком окутан кратер...
 Вы слышите, друзья и братья,
 Моя душа, моя сгорит.

И дальше будет только ночь,
 И будет только мрак повсюду...
 О, Господи, взываю к чуду,
 Чтоб гибнущей душе помочь.

Я принимаю всякий груз,—
 Один-единственный от века,—
 Тяжелый подвиг человека,
 Сын Человеческий, Иисус.

Здесь, на путях моей земли,
 Зеленой и родной планеты,
 Прими теперь мои обеты
 И голод духа утоли.

Мне казалось — не тихость,
 А звенящие латы,
 А взметенные вихри,
 Огневая крылатость.

А потом согласилась,
 Что нездешнюю песней
 Возвещает нам милость
 Друг небесный и вестник.

Отчего же пронзенный
 Дух не знает покою?
 — Он пронзен оперенной,
 Огневою стрелою...

III. ПОКАЯНИЕ

I

Я верю, Господи, что если ты зажег
 Огонь в душе моей, то не погаснет пламя,
 Что Ты не только там, но что и здесь Ты с нами,
 В любви и творчестве наш христианский Бог.

И верую: придет неизреченный свет
 С востока в этот мир — воистину неложно —
 И то, что кажется сегодня невозможно,—
 Раскроется в труде несовершенных лет.

Тогда настанет день: на широту миров,—
 Во всем преодолев стихию разрушенья,—
 Творца мы прославлять восстанем из гробов,
 Исполнив заповедь любви и воскрешенья.

И будет новый мир и в мире — Новый Град,
 Где каждый светлый дом и в доме каждый камень
 Тобою, Отче наш, преображенный Лад,
 Воздвигнутый из тьмы сыновними руками.

2

Что осталось нам? — Только звезды,
Только древней Медведицы хвост.
Остальное — иное. И воздух,
И весеннего семени рост.

Что забыли? — Мы не забыли,
Ничего нам забыть не дано.
Чтоб прозябло среди грязи и пыли
В нашей памяти муки зерно.

Что ответим? — Что можем ответить?
Только молча мы ниц упадем
Под ударом карающей плети,
Под свинцовым, смертельным дождем.

3

Мне надоела я. К чему забота
О собственном глухонемом уме?
О, слышу я, вокруг гудит охота
И всадники сшибаются во тьме.

Не буду числить ни грехов, ни боли.
Другой исчислит. Мне же только в бой.
Судья поймет — одних ли своеволий
Так тяготели крылья надо мной.

Вот крепко в сердце замыкаю тяжесть,
Вот связываю крылья за спиной.
Пусть, если надо, их Господь развяжет...
И отягчит меня еще виной.

4

Как было легко грешить,
А плата сурова ныне.
Мне надо всю жизнь разрешить
В неугасимой святыне.

Грехов моих темный ларец,
Ларец, что сковала мне память,
Беру я в последний конец,
Беру я своими руками.

Течет и уносит река.
Родным берегам — простите.
Пусть режет моя рука
Прошедшего крепкие нити.

5

Каждый час желает побороть,
Каждый перекресток сетью ловит.
Я хочу, чтоб просияла плоть,
Жду преображенья крови.

О, легко закрыть глаза, уста,
И легко предать мне плоть земную,—
Будто бы на дереве креста
Проливал он кровь иную.

Миру вечному сказать — не мой,
Роду человечьему — не ваша.
А мое — суровость и покой
И бескровной жертвы Чаша.

6

Все еще думала я, что богата,
Думала я, что живому я мать.
Господи, Господи, близится плата,
И до конца надо мне обнищать.

Земные надежды, порывы, восторги —
Все, чем питаюсь и чем я сыта,
Из утомленного сердца исторгни,
Чтобы осталась одна маета.

Мысли мои так ничтожны-убоги,
Чувства — греховны, и воля — слаба.
И средь земной многотрудной дороги
Я неключимая, Боже, раба.

7

Не удержать моей плотиной
Напора разъяренной хляби.
Вот мир могучий и единый
Обрушился на дом мой рабий.

Трещат и падают засовы,
Пылают в пламени стропила.
Поток взматывается багровый.
Непобедима мира сила.

И мне — освобожденной — внове
Родство с морями, с небом, с сушей.
И вечный рокот славословий,
Преображенных братьев души.

8

И в покаяньи есть веселье,—
О, горькое. Как бы с вершин
Бросаешь камни в глубь ущелья
И остается дух один.

Из пропасти доходит глухо
Тревожный ропот в высоту,
Терзает обнаженье духа —
И чем прикроешь наготу?

9

Расчет, и учет, и плата...
Довольно — я вижу край.
О, Господи, нива сжата
И вымерен урожай.

Безрадостно, но покорно,
Покорно своей судьбе
Отдаю все тяжелые зерна
И колосья мои — Тебе.

Чтоб остаться без крова и пищи,
Чтобы душу не защищать,
Чтоб такой одинокой и нищей
Мне Твое озаренье вмещать.

О, возмездье. Все сроки проходят.
Грех и грех. И расчет, и учет.
Только сердце о новой свободе
Под ударами тихо поет.

Бичом железным — прочь на пажити,
 К житейским, выжженным лугам...
 Когда-нибудь Он путь укажет ли
 Свободным к новым берегам?

Трудись, паси дела и помыслы,
 Всегда тоскуй, всегда молись,
 Чтоб благодатной дланью Промысла
 Был дух изъят из тленья ввысь.

Когда же ляжешь ты распластанный
 И припадешь к земле сухой,
 Взовьет пылающие, красные
 Архангел крылья над тобой.

Имеющий ухо да слышит.
 И слышу: среди знойных камней
 Бичи из воловьих ремней
 Взметаются выше и выше.

Одна. Средь лазури Господней
 Бичи Твои, суд Твой идет.
 Все взвихрит — от самых высот —
 До вечной Твоей преисподней.

Да слышит имеющий ухо.
 И слышу: дрожит моя плоть.
 Бичи размахнулись, Господь,
 И хлещут протяжно и сухо.

Я не взываю, — о жалость,
 О милосердие, — Ты.
 Средь вечной земной суеты
 Все мы — ничтожность и малость.

Имеющий ухо услышал —
 Жнец в поле за жатвою вышел.

IV. ПОСТРИГ

1

Я не буду роптать на Тебя —
Завоюет ли волю мне ропот?
Но зачем среди рабочего дня
Слышу конский торжественный топот?

Но зачем среди обычных тревог,
Среди кольца, что сжимает все туже,
Только стоит шагнуть за порог —
И взметаюсь я в ветреной стуже?

Как незрима бывания нить,
Каждый день я ее сберегаю —
Ты же хочешь меня уводить
В хаос, в бездну, к Отцовскому раю.

2

Вот кружится ничтожной щепкой
Душа в земном кипении вод.
Все, все мгновенно, все некрепко,
Река торжественно плывет.

К опустошительной свободе
Глас Господа меня позвал.
Пусть кружат воды в половодье,
Пусть хлещет белопенный вал.

3

Раздваивает жизнь меня:
То череда суровых буден,
То отблеск Духова огня, —
И путь земной тогда не труден.

Тогда сжимается в комок
Палач и страж — слепое время.
Несет сияющий поток
Грех, горечь, смерти бремя.

И мне, блаженной, у весла,
Наверное, уже на надо

Ни меры больше, ни числа
Перед тобой, Господня радость.

4

Все пересмотрено. Готов мой инвентарь.
О, колокол, в последний раз ударь.
Последний раз звучи последнему уходу.
Все пересмотрено, ничто не держит тут.

А из туманов голоса зовут,
О, голоса зовут в надежду и свободу.
Все пересмотрено. Былому мой поклон...
О, колокол, какой тревожный звон,

Какой крылатый звон ты шлешь неумоимо...
Вот скоро будет горный перевал,
Которого мой дух с таким восторгом ждал,
А настоящее идет угрюмо мимо.

Я оставляю плату, труд и торг,
Я принимаю крылья и восторг,
Я говорю торжественно: «Во имя,
Во имя крестное, во имя крестных уз,
Во имя крестной муки, Иисус,
Я делаю все дни мои Твоими».

5

Ввели босого и в рубахе —
Пускай он ищет наг, один,
Простертый на полу, во прахе
Свой ангелоподобный чин.

Там, в прошлом, страстной воли скрежет:
Был нерадивый Иоанн.
Потом власы главы обрежут,
Обет священный будет дан.

И облекут в иное платье,
И отрешат от прежних мук.
Вставай же, инок, брат Игнатий,
Твою главу венчал клубук.

Новоначального помилуй
И отгони полночный страх,

Ты, чьей недремлющею силой
Вооружается монах.

А я стою перед иконой
И знаю — скоро буду там
Босой идти, с свечой зажженной —
Пересекать затихший храм.

В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду — имя рек.

6

Отменили мое отчество
И другое имя дали.
Так я стала Божьей дочерью.
И в спокойном одиночестве
Тихо слушаю пророчества,—
Близки, близки дни печали.

7

А в келье будет жарко у печи,
А в окнах будет тихий снег кружиться.
И тающий огонь свечи
Чуть озарит святые лица.

И темноликий, синеокий Спас,
Крестом раскинувший свой медный венчик,
Не отведет спокойных глаз...
Длиннее ночи, дни все меньше.

Славянских букв таинственен узор...
О подвигах и о соблазнах змея
В скитах, среди пустынь и гор
Мне говорят Четьи Минеи.

Когда же ветер дробью застучит,
Опять метель забарабанит в стекла
И холод щеки опалит
Тогда пойму, как жизнь поблекла.

Пусть будет дух тоской убит и смят,—
Не кончит он с змеиным жалом битву,—

Сто и еще сто раз подряд
Прочту Иисусову молитву.

8

Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть:
Господи, Ты сердце укроти.
Слышу цоканье подков железных
На небесном огненном пути.

Знаю — дальше им лежит дорога,
Через сердце, — тяжек сердца стук.
Благостью внимающего Бога
Увенчает голову клубок.

Все запечатлеть и все оставить, —
О, усталость, даже твой покой.
На коне, сияющем во славе,
С топотом подняться в мир иной.

Черный мой венец неизреченный
Вечного венчания печать —
К самым небесам, над всей вселенной
Надобно торжественно поднять.

Древняя усталость сердце сушит.
(Плоть истленья, праотец Адам.)
Конь небесный мчит спокойно душу
На гору Сион к святым садам.

Мертвой шелухой свилась усталость,
В светлом небе смертный мрак исчез —
Это солнце вечности вставало,
Солнце вечности — осьмиконечный крест.

V. СТРАНСТВИЯ

1

Приеду. Спросят: «Вы откуда?»
Откуда я — Бог весть.
Но где была, там худо, худо.
И слез людских не счесть.

Была я средь такой метели,
Средь злобных, злобных выюг,
Где даже ангелы не пели,
Где сомкнут адский круг.

И, пьяны от тоски и гнева,
Живут там без надежд.
Неужто Богоматерь-Дева
К ним не склоняет вежд?

И с чем приехала? С тюками
Людских глухих обид.
Пусть воин Михаил с полками
Скорее к ним спешит.

Забрался там во двор Твой овчий,
Отпора не боясь,
Губительный, могучий ловчий,
Несметной силы князь.

Петлей унынья душил души,
Чтоб стали души — прах,
Чтоб крик мертвел все глуше, глуше
На сомкнутых устах.

Чтоб ничего уж не желали
Средь этих серых мест...
Воздвигни им средь их печали
Твой всепобедный крест.

2

Вольно льется на рассвете ветер.
За стеклом плуги с сноповязалкой.
Сумрак. Римский дом. С ногою-палкой
Сторож бродит в бархатном берете.

На базар ослы везут капусту.
Солнце загорелось, в тучах рдея.
В сумрачных пролетах коллизея
Одиноко, мертвенно и пусто.

Вольно льется на рассвете ветер.
Хорошо быть странником бездомным,

Странником на этом Божьем свете,
Многозвучном, мудром и огромном.

Ним.

3

Черные фигуры двух монахинь.
В низкой шляпе и плаще священник.
В этом звонком, в этом древнем прахе
Ясно слышу поступь поколений.

По холмам чуть пыльные оливы.
Всюду камень желтовато-белый.
О, земля, частица древней нивы,
Божий урожай в веках созрелый!

О, земля, я слышу,— ты устала.
Скоро час последней судной жатвы.
Вот на небе яростно и ало
Вестника пылают латы.

Ним.

4

Обрывки снов. Певуче плещут недра.
И вдруг до самой тайны тайн прорыв.
Явился, сокровенное открыв,
Бог воинств, Элогим, даятель щедрый.

Что я могу, Вершитель и Каратель?
Я только зов, я только меч в руке,
Я лишь волна в пылающей реке.
Мытарь, напоминающий о плате.

Но ты и тут мои дороги сузил:
«Иди, живи среди нищих и бродяг».
Себя и их, меня и мир сопряг
В неразрубаемый единый узел.

Поезд. Весна 31.

5

Желтый камень, прокорми
Земледельца, стадо коз,
Корни виноградных лоз —
Всех работников земли.

Небо, влагой напитай
Эти скудные поля,
Чтоб опять цвела земля,
Чтоб родил суровый край.

Тамарис.

6

Небесный Иерусалим,
И звон, и звон спокойно-вещий.
Душа земная, улетим,
Где небо морем в стены плещет;

Где серебром литым поют
Бесчисленные колокольни,
Где уготовил Он приют
Для каждой смертной твари дольней.

Быть нищим и безродным нам,
Которых жизнь в огне и стоне,
Где пребывает Авраам,
И отдыхать на Отчем лоне.

Но только кладь любви земной
Не обойду никак я мимо.
Вот груз людской. И он со мной
У башен Иерусалима.

Тулуза. Весна 31.

7

Искала я таинственное племя,
Тех, что среди ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
Умеют радоваться в плаче.

Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц,
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни.

И находила нищих, буйных, сирых,
Упившихся на всех дорогах мира,
Бездомных, голых и бесхлебных.

О, племя роковое, нет пророчеств,—
Лишь наша жизнь пророчит неустанно:
— И сроки близятся, и дни короче,—
Привявший рабий зрак, осанна.

Лион.

8

Земли Твоей убогое житье,
Твоих людей убогая работа...
Какое-то звериное чутье
Мне говорит: не жди у поворота.

Пославший в мир послал нас не за тем,
Чтоб только сравнивать, как непохожи

Земля изгнания и былой Эдем²
Иль лоно праотцев и это ложе.

Был этот тварный мир добро зело,
Стал тварный мир границей преисподней.
Но чую я,— вот шелестит крыло
Всю тварь пронзающей любви Господней.

Все, что привычно, что всегда вблизи,—
Борьба за жизнь, работа, скука, будни,—
Всего коснись и все преобрази
Ты — Солнце незакатного полудня.

Вот голый куст, а вот голодный зверь,
Вот облако, вот человек бездомный.
Они стучатся. Ты открой теперь,
Открой им дверь в Твой Дом, как мир, огромный.

О, Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне.

Лион.

9

Благовестительство. Се — меч.
Се — град и мор средь мирных пашен.
Се — ангел пламенен и страшен
Гудит набатом древних веч.

Благовестительство. Спеша,
Благоразумный запер двери.
В темнице ли его душа
Взыскует об огне и вере?

И если нет в моих устах
Благовествующих глаголов,—
Пусть взглянут,— среди полей и долов
Взметенный ветром учит прах.

Вот низких туч косматый лес,
Вот воздух, даже он в темнице.
Вот поднимает Светлолицый
Над миром крест.

Лион.

10

Закрутит вдруг среди незнакомых улиц,
Нездешним ветром душу полоснет...
Неужто ли к земле опять свернули
Воители небесные полет?

Вот океан не поглощает сушу
И в черной тьме фонарь горит, горит.
Ты вкладываешь даже в камень душу —
И в срок душа немая закричит.

Архангелы и ангелы, господства,
И серафимов пламеносный лик...
Что я могу?.. прими мое юродство,
Земли моей во мне звучащий крик.

Ницца, весна 31.

11

Усталость забаякала меня,
Всегда меж нищими и богачами,
Как я дождусь сияющего дня,
Последнего пред смертными ночами?

Вот лунный столб в воде и тишина.
Фонарь на лодке беспокойно красен.

Неужто же везде моя вина?
Неужто же мой путь напрасен?

12

Я высоко. Внизу тюки, бочонки,
Лебедек лязг и рев морских сирен.
Преодолев на повороте крен,
Мой парусник скользит стрелою тонкой.

Волна темно-зеленая. Вы, волны,
Вы — пашня трудная для рыбаков.
Стоит скала, стоит века веков
И тенью осеняет порт и челны.

Не знаю я, зачем я здесь сегодня,
Какую вновь должна прочесть скрижаль.
О, люди-братья, необъятна даль,
Непостижимо таинство Господне.

Ницца.

13

Кто я, Господи? Лишь самозванка,
Расточающая благодать.
Каждая царапина и ранка
В мире говорит мне, что я мать.

Только полагаться уж довольнó
На одно сцепление причин.
Камень, камень Ты краеугольный,
Основавший в небе каждый чин.

Господи, Христос-чиноположник,
Приобщи к работникам меня,
Чтоб ответственной и осторожней
Расточать мне искры от огня,

Чтоб не человечьим благодушьем,
А Твоей сокровищницей сил
Мне с тоской бороться и с удушьем,
С древним змием, что людей пленил.

Гренобль.

О, волны каменные, вы —
 Застывшей бури отраженье,
 Вы — космы мечущие львы,
 Хребта земного обнаженье.

Как звери дикие, как вал
 Огнекипящего потока,
 Вздымался прах, хребет вставал,
 Долины зыбились глубоко.

Рождалась тверди нашей плоть,
 Рождалась жизнь в огнистой груди,
 И ночь была. Был день. Господь
 Небывшему сказал: «Да будет!»

Гренобль.

Постыло мне ненужное витийство,
 Постылы мне слова и строчки книг,
 Когда повсюду кажут мертвый лик
 Отчаянье, тоска, самоубийство.

О, Боже, отчего нам так бездомно?
 Зачем так много нищих и сирот?
 Зачем блуждает Твой святой народ
 В пустыне мира, вечной и огромной?

Я знаю только радости отдачи,
 Чтобы собой тушить мирскую скорбь,
 Чтобы огонь и вопль кровавых зорь
 Потоплен в сострадательном был плаче.

Клозон.

На закате загорятся свечи
 Всех соборных башен крутолобых.
 Отчего же ведаешь ты, вечер,
 Только тайну смерти, жертвы, гроба?

Вечер тих, прозрачен и неярок.
Вечер, вечер, милый гость весенний,
С севера несущий тебе подарок —
Тайну жизни, тайну воскресенья.
Страсбург. Весна 31.

17

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся людские лица.

От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный, каменный наряд
Веками был, веками будет,

Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России милой дети,

Опять я отрываюсь в даль,
Опять душа моя нищает,
И только одного мне жаль,—
Что сердце мира не вмещает.

Безансон. Осень 31.

VI. ОЖИДАНИЕ

1

За этот день, за каждый день отведу,
За каждую негаданную встречу,
За мысль и необдуманную речь,
За то, что душу засоряю пылью
И что никак я не расправлю крылья,
Не выпрямлю усталых этих плеч.

За царский путь и за тропу пастушью,
Но, главное,— за дани малодушью,
За то, что не иду я по воде,
Не думая о глубине подводной,

С душой такой крылатой и свободной,
Не преданной обиде и беде.

О, Боже, сжался над Твоею дочерью!
Не дай над сердцем власти маловерью.
Ты мне велел: не думая, иду.
И будет мне по слову и по вере
В конце пути такой спокойный берег
И отдых радостный в Твоем саду.

21 августа 1933 г.

2

...И за стеною двери замурую.
Тебя хочу, вольно найденный гроб.
Всей жизнью врежусь в глубину земную,
На грудь персты сложить и о земь лоб.

Мне, сердце тесное, в тебе просторно.
И много ль нужно? Тело же в комок.
Пространство лжет, и это время вздорно,
Надвинься ниже, черный потолок.

Пусть будет черное для глаз усталых,
Пусть будет горек хлеб земной на вкус,
В прикосновеньи каждом яд и жало,
Лишь точка света — имя Иисус.

Лишь бы хотеть... Хотеть я не умею.
Быть чистою — и мука не чиста.
Дай мне, как дал распятому злодею,
Тебя познать на высоте креста.

Вели, как недостойной Магдалине,
Разбить мой алавастровый сосуд³,
И пусть грехи на чашу мститель кинет,
И пусть настанет Твой последний суд.

1933

3

Охраняющий сев, не дремли,
Данный мне навсегда провожатый.

Посмотри — я сегодня оратай
Средь Господней зеленой земли.

Не дремли, охраняющий сев,
Чтобы некто не сеял средь ночи
Плевел черных на пажити Отчей,
Чтоб не сеял унынье и гнев.

Охраняющий душу мою,
Ангел Божий великой печали,
Здесь, на поле, я все лишь в начале,
Пот и кровь бороздам отдаю.

Серп Твой светлый тяжел и остер.
Ты спокоен, мой друг огнелицей,
В закрома собираешь пшеницу,
Вражьи плевелы только в костер.

7 августа 1934 г.

4

Верчу я на мельнице жернов,
Скрипучий, тяжелый, упорный,
Мелю полновесные зерна,
Помол же песок или пыль,
Как будто я сыпала щебень,
Волчец, что в еду непотребен,
Седой и мохнатый ковыль.

О сердце, о жернов усталый,
Вот боль полновесно упала,—
Мели, этих зерен не мало,—
И трудится сердце, и бьется,
Но белый помол не дается
И боль не рождает покой.

Как будто незримые воры
Пшеницы мучительный ворох
Запрятали в темные норы,
И сердце напрасно стучит.
И дух мой, убогий и нищий,
Опять остается без пищи
И новую ниву растит.

5

Господи, Ты видишь — нищета,
Сердце, как унылый, гулкий дом,
А вокруг такая суета...
Все проходит, все одна тщета,
Все кончается смертельным сном.

Но не надо нам пчелиных сот,
Но не надо нам и рыб из рек,
Хлеба и елея. Твой приход
Все земное сразу отсечет,
Как от сердца суету отсек.

Господи, не говорить, не петь
И не каяться, и не хотеть,
Ни о чем не плакать, не просить...
Господи, Тыходишь в сердца клеть.
Буду эту ночь, как дар, носить.

6

Постучалась. Есть за дверью кто-то.
С шумом отпирается замок...
Что вам? Тут забота и работа,
Незачем ступать за мой порог.

Дальше, дальше! Тут вот деньги копят,
Думают о семьях и себе,
Платья штопают и печи топят,
И к привычной клонятся судьбе.

Бескорыстного искать меж нами?
Где-то он один свой крест влачит?
Господи, весь мир, как мертвый камень,
Боже, мир, как кладбище, молчит.

7

У брата крепкий дом и много золота,
На каждой двери у него замок,
Не пустит он бродягу на порог,
Разумный брат,— он не боится голода.
Моя душа давно нема от холода,

И крыша ей давно небесный свод.
Вокруг все голодающий народ,
Она ж безумно не боится голода.
У брата время точно все размерено:
Срок, чтоб приобретать, срок — отдыхать,
Днем — суета, а ночью — на кровать.
И он живет спокойно и уверенно.
А мера у души моей потеряна:
То я ничто, то кто-то за меня
Ночами чертит буквы из огня,
И я живу спокойно и уверенно.
И брат придет с смертельною усталостью
Вне бытия, к ногам Твоим, Судья.
И медленно поднимется бадья,
Гружена добродетельною малостью.
И я приду с смертельною усталостью,
И скажешь Ты: зачем же отдавать
Дарованную Мною благодать,
Ничем не оправдать тебя, — лишь жалостью.

10 мая 1933 г.

8

Мертва ли я? Иль все еще живая?
Немотствует душа моя и плоть.
Но за сады сияющего рая
И немоту мне надо побороть.

Как скупы в этом мире измерения.
Лишь три. Куда же ветер крыльев деть?
Четвертое пронзает все — горенье —
И надо мне всей, до конца сгореть.

Господь, но я — лишь горсть седого пепла,
А в нем страстей и всех желаний гроб.
Душа глуха, душа уже ослепла.
И сжат и сложен в закрома мой сноп.

Пусть мне не быть, Ты надо мной средь праха,
Пусть мне не петь, пусть ангелы трубят,
Пусть мне не знать ни радости, ни страха,
Когда миры в последний срок горят.

7 августа 1934 г.

Пусть отдам мою душу я каждому,
 Тот, кто голоден, пусть будет есть,
 Наг — одет, и напьется пусть жаждущий,
 Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шепота
 Учит все — до копейки отдай.
 Грузом тяжким священного опыта
 Переполнен мой дух через край.

И забыла я — есть ли среди множества
 То, что всем именуется — я.
 Только крылья, любовь и убожество,
 И биение всебытия.

Уже и солнца шар не раскален,
 И завершат последний круг планеты,
 Кончаются все времена времен,
 И тихо гаснут мировые светы.
 Я облачаю тело в смертный лен,
 Даю Тебе последние обеты.

О, падайте, тяжелые болты
 Ворот чугунных в бесконечность Божью!
 Конец трудов, забот и суеты
 Встречаю я с непобедимой дрожью.
 А все еще в лугах цветут цветы
 И ветер движет золотою рожью.

А все еще пронзает детский плач,
 И кто-то любит, кто-то деньги копит.
 Но белый конь уже несется вскачь —
 Нездешняя рука его торопит.

От жизни, трудовой и трудной,
 От этих многозначных встреч,
 От всей земли, скупой и скудной,
 Что мне для вечности беречь?

Лишь голод мой неутолимый,
Погоню по Его следам,
Все остальное — херувиму
У врат небесных я отдам.

Войду туда с душою голой,
С одной неистойвой мольбой,
Прострусь я с воплем у Престола,
Сама ограблена собой.

Мне оправдаться нечем, нечем,—
Но Ты меня рукою тронь,
И ринется Тебе навстречу
Изголодавшийся огонь.

12

Трехсолнечный свет и нет страха,
Восстану в час судный из гроба.
Извергнет земная утроба
Останки сожженного праха.

Ты, триединое пламя,
Взметешь огневидные струи,
Крещеньем огонь испытует
Извергнутых к жизни гробами.

И вспыхнет сухая солома...
Как мало от жизни осталось...
Огнеупорная малость
Нужна ли для Отчего дома?

27 апреля 1933 г.

13

И в этот вольный, безразличный город
Сошла пристрастья и неволи тень.
И северных сияний пышный ворох,
И Соловецкий безрассветный день.

При всякой власти, при любых законах
Палач ли в куртке кожаной придет
Или ревнитель колокольных звонов
Создаст такой же Соловецкий гнет.

Один тюрьму на острове поставил
Во имя равенства, придет другой,
Во имя мертвых, отвлеченных правил
На грудь наступит тяжкою стопой.

Нет, ничего я здесь не выбирала.
Меня позвал Ты, как же мне молчать?
Любви Твоей вонзилось в сердце жало
И на челе избрания печать.

22 июня 1937 г.

14

Я знаю, зажгутся костры
Спокойной рукою сестры,
А братья пойдут за дровами,
И даже добрейший из всех
Про путь мой, который лишь грех,
Недобрыми скажет словами.

И будет гореть мой костер
Под песнопенье сестер,
Под сладостный звон колокольный,
На месте на Лобном, в Кремле,
Иль здесь, на чужой мне земле,
Везде, где есть люд богомольный.

От хвороста тянет дымок,
Огонь показался у ног,
И громче шапав погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
И в ней начертанье креста —
Конец мой, конец огнепальный.

17 июля 1938 г.

15

Парижские приму я Соловки,
Прообраз будущей полярной ночи.
Надменных ускорителей кивки,
Гнушенье, сухость, мертвость и плевки,—
Здесь на свободе о тюрьме пророчат.

При всякой власти отошлет канон
(Какой ни будь!) на этот мертвый остров,
Где в северном сиянии небосклон,
Где множество поруганных икон,
Где в кельях-тюрьмах хлеб дается черствый.

Повелевающий мне крест поднять,
Сама, в борьбу свободу претворяя,
О, взявши плуг, не поверну я вспять,
В любой стране, в любой тюрьме опять
На дар Твой кинусь, плача и взывая.

В любые кандалы пусть закуют,
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором Ангелы всегда поют,—
Мне каждый край Тобою обетован.

Чтоб только в человеческих руках
Твоя любовь живая не черствела,
Чтоб Твой огонь не вызвал рабий страх,
Чтоб в наших нищих и слепых сердцах
Всегда пылающая кровь горела.

22 июня 1937 г.

16

Запишет все слова протоколист,
А судьи точно применяют законы.
И поведут. И рог возьмет горнист.
И рев толпы. И колокола звоны...

И крестный путь священного костра,
Как должно, братья подгребают уголь.
Вся жизнь,— огонь,— паляща и быстра.
Конец (как стянуты веревки туго).

Приди, приди, приди в последний час.
...Скрещение деревянных перекладин.
И точится незримая для глаз
Веками кровь из незаживших ссадин.

17 апреля 1938 г.

VII. ПОКРОВ

1

Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.

Нет, мир, с тобой я говорю, сестра,—
И ты сестру свою с любовью слушай,—
Мы — искры от единого костра,
Мы — воедино слившиеся души.

О, мир, о, мой одноутробный брат,
Нам вместе радостно под небом Божьим
Глядеть, как Мать воздвигла белый плат
Над нашим хаосом и бездорожьем.

2

Из вечных таинственных книг
Познали мы древнюю веру.
О, Боже, какую воздвиг
Ты хаосу мерную меру.

Сознанием тьма сражена,
И с тьмой совершилась расплата.
Вот в вечность восходит Жена,
Вся огнезрачна, крылата.

Ты, вечная Дева и Мать,
Ты, радость измученным взорам,—
Вовек не устань покрывать
Нас смертных своим омофором⁴.

Как птица птенцов стережет,
Как недра земельные — севы,—
Так нас омофор бережет
Крылатой и огненной Девы.

3

Мать, мы с тобою договор,
Завет мы заключим любовный,—

Птенцов из гнезд, зверей из нор
Принять, любить, объять покровно.

И человеческих свобод
Тяжелый и священный камень
Под самый Божий небосвод
Своими вознести руками.

Ты знаешь все, ты видишь, Мать,
Что ничего душе не надо.
Что все до дна навек отдать —
И в этом тихая услада.

4

Сразу даль обнажена,
В льды душа моя уводится,
О, крылатая Жена,
Дева, Мать, Богородица.

Вижу зорче зорких снов,
Птиц неведомых крылатее,—
Хаос,— и над ним покров,
Распростертый Девой Матерью.

Тайна, хаос — это я,
И Покровом жизнь исчислена.
Нет иного бытия —
Только мрак и Мать пречистая.

5

Присмотришься — и сердце узнает,
Кто Ветхого, кто Нового Завета,
Кто в Бытии, и кто вступил в Исход,
И кто уже созрел в Господне лето.

Последних строк грядущие дела
Стоят под знаком женщины родящей,
Жены с крылами горного орла,
В пустыню мира Сына уносящей.

О, чую шелест этих дивных крыл
Над родиной, над снеговой равниной.

В снегах нетающих Рожденный был
Спасен крылами Женщины орлиной.

6

Над тварью, в вечности возносится Покров,—
Над тварным тлением в своей предвечной славе,—
И собирает Мать к себе земных сынов,
И материнскую о них тревогу правит.

Земля владычица, невеста из невест,
Мать матерей,— все тихо и все просто:
Сын человеческий воздвиг над миром крест,—
Нам меч дала ты обоюдоострый.

Со дна, из пропасти, от тленья, от гробов —
До глубины небес и до хрустальной сферы,
Сын в Матери открыт, и Мать в путях сынов
Навек открыла нам Покровом тайну веры.

Крест Сына Божьего — он миру острый меч,
Пронзенная мечом, земля стенает — матерь.
Крест Господа — как крылья он у плеч,
И Мать — всех птиц, всех бурь свободней и крылатей.

VIII. ЗЕМЛЯ

1

Обряд земли — питать родные зерна,
А осенью, под ветром, умирать,—
Я приняла любовно и покорно,
Я научилась ничего не знать.

Есть в мире два Божественных искусства —
Начальное — все, что познал, хранить,
Питать себя наукою стоустой,
От каждой веры мудрости испить.

И есть искусство. Как назвать — не знаю,
Символ его — все зачеркнувший крест,
Обрыв путей, ведущих сердце к раю,
Блуждание среди пустынных мест.

Искусство от любимого отречься
И в осень жизни в ветре холодеть,
Чтоб захотело сердце человечье
Безропотно под ветром умереть.

Лишь этот путь душе моей потребен,
Вот рассыпаю храмину мою
И Господу суровому молебн
С землей и ветром осенью пою.

2

В двух обликах я землю поняла:
То мчит она сияющим фрегатом
Надежды наши, мысли и дела
В восторге и безумии крылатом.

И вечность вся послушна кораблю,
Ложится океаном за кормою,—
Такой приемлю землю и люблю,
И вижу я ее такую.

И облик есть еще. Как грузна плоть,
Распластана, разъята, неподвижна.
Куда идти? Кого, зачем бороться?
И вечность Божья плоти непостижна.

О, недра темные, вулканов гул,
Семян таинственное прозябанье.
Путь человеческий нас повернул
К гробам, к гробам, в истленье, в увяданье.

И знаю я, не руль в моих руках,—
Грбовщика тяжелая лопата.
Земля моя, ты только тлен, ты прах,—
И я с тобой во прах разъята.

3

Знаю я извечное притворство,
Различаю твой, земля, обман.
Божья. И откуда богоборство —
Этот дымный и сухой туман?

Претворяешься, земля — иная
В первозданной сущности своей,
И теперь хранишь ты отсвет рая
Средь холодных, вспаханных полей.

И не мне, — сестре единокровной, —
Позабыть, не слышать, не узнать,
Как звенит одной волной любовной
Всеспасаящая благодать.

По утрам заря пылает ало.
Свились, уплывают тени снов.
И рука на небе распластала
Голубой Покров.

4

Весь твой подвиг измерила я —
Знаю, знаю глухую покорность,
И непрочность, и смерть, и тлетворность
Недоевшего так бытия.

Ты земля моя, ты и сестра мне.
Слышу осени звонкий напев,
Вижу — вот прорастает твой сев
В глине, щебне, песках или камне.

Знаю, знаю, измерила я,
Не измерила — сердцем узнала,
Как лежать ты под небом устала,
Как гнетет вечный тлен бытия.

Услыдав под землю удары,
Возвестившие сердцу вражду,
Я теперь напрягаюсь и жду,
Где раскинутся в небе пожары.

Как ты свой многолиственный сад
Вихрем, взрывом в хаос покоробишь
И, пылая в неистовой злобе,
Ударишь в набат.

5

Не хотят колючие слова
В эти мерные вмещаться строки.

Знаю, знаю, будет сон глубокий,
Будет тихо шелестеть трава,
Звезды станут гаснуть на востоке.

Будет так прохладно на земле,
На лугах разросшегося сада,
Станет так мне ничего не надо,
Как теперь бывает лишь во сне,
Когда сердце беспричинно радо.

Я смогу тогда глядеть, глядеть
На далекие в тумане горы,
На воды блестящие узоры,
На деревьев кружевную сеть,
На берлоги, птичьи гнезда, норы.

Господи, ведь нечего беречь,
И растратить тоже не могу я.
Все свивая, плача и тоскуя,
Чую крылья у усталых плеч,
Вижу небывалую судьбу я.

Пусть понятен весь земной мой путь
Людям-спутникам и людям-братьям
И приветливым рукопожатьем
Провожают в смерть, во мрак и жуть —
Ближе к мертвенным, ночным объятьям.

Или еще верят до конца?
Иль еще не тронула тревога,
Что стоит у самого порога?
Вот чрез мрак, чрез смерть к путям Отца,
Строгого карающего Бога.

6

Нет, Господь, я дорогу не мерю,—
Что положено, то и пройду.
Вот услышу опять про потерю,
Вот увижу борьбу и вражду.

Я с открытыми миру глазами,
Я с открытою ветру душой;
Знаю, слышу — Ты здесь, между нами
Мерой меришь весь путь наш большой.

Что же? Меряй. Мой подвиг убогий
И такой неискупленный грех,
Может быть, исчислением строгий,—
И найдешь непростительней всех.

И смотреть я не буду на чашу,
Где грехи мои в бездну летят,
И ничем пред Тобой не украшу
Мой разорванный, нищий наряд.

Но скажу я, какую тоскою
Ты всю землю свою напоил,
Как закрыты дороги к покою,
Сколько в прошлом путей и могил.

Как в закатную серую пору
Раздается нездешний набат
И видны истомленному взору
Вихри крыльев и отблески лат.

И тогда, нагибаясь средь праха,
Прячась в пыльном, земном бурьяне,
Я не знаю сомненья и страха;
Неповинна в свершенной вине.

Что ж?— Суди. Я тоскою закатной,
Этим плеском немеркнувших крыл
Оправдаюсь в пути безвозвратном,
В том, что день мой не подвигом был.

7

Ни памяти, ни пламени, ни злобы,—
Господь, Господь, я Твой узнала шаг.
От детских дней, от матерней утробы
Ты в сердце выжег этот точный знак.

Меня влечешь сурово, Пастырь добрый,
Взвалил на плечи непомерный груз.
И меченое сердце бьется в ребра,—
Ты знаешь, слышишь, Пастырь Иисус.

Ты сердцу дал обличье вещей птицы,
Той, что в ночах тоскует и зовет,

В тисках ребристой и глухой темницы
Ей запретил надежду и полет.

Влеки меня, хромую, по дорогам,
Крылатой, сильной,— не давай летать,
Чтоб я могла о подвиге убогом
Мозолями и потом все узнать.

Чтоб не умом, не праздною мечтою,
А чередой тугих и цепких дней,—
Пришел бы дух к последнему покою
И отдохнул бы у твоих дверей.

8

Наступающее лето...
Сколько их, созревших нив.
В зелень земля одета,
Ветки тяжелы от цвета.

Зеленеющие нови
Соком налились зеленым.
Памяти сиротской, вдовьей
Этот сок, как реки крови.

Скоро хлынут волны, скоро,
И идет на нивы серп.
Сок зальет земли просторы,
Сгинут в красном море горы.

Не было с начала мира
Урожая тяжелее.
Серп, коса, топор, секира
Дорвались теперь до пира.

Вся земля, как плод, созрела,
Виноградарь уж припас
Ведро темные — для тела,
Духу — воздух серебро-белый.

9

Вот и надгробный плач творю
Я над тобой, земля-праматерь.
Какую мутную зарю
Мы встретим в нынешнем закате?

Вдвоем смотрели на тебя,
На мертвый лик, лежащий в гробе,—
Смотрел лишь ветер, в рог трубя,
Смотрела я в бессильной злобе.

Ты, ветер-друг, ушел потом
Скитаться по просторам звездным,
Земля уснула под крестом,
Под нашим пением бесслезным,

И я одна от похорон
Осталась на дорогах жизни.
Как знать, какой призывный звон
Меня вернет к моей отчизне?

Не научу ль я плакать всех,
Так, чтоб глаза от слез ослепли?
Твой путь, земля, и смерть, и грех —
Не путь ли наш, не грех, не хлеб ли?

10

Не голодная рысит волчиха,
Не бродягу поглотил туман,—
Господи, не ясно и не тихо
Средь Твоих оголодавших стран.

Над морозными и льдистыми реками
Реки ветра шумные гудят.
Иль мерещится мне только между нами
Вестников иных тревожный ряд?

Долгий путь ведет нас всех к покою
(Где уж там, на родине покой?),
Лучше по звериному завою —
И раздастся отовсюду вой.

Посмотрите — разметала вьюга
Космы дикие свои в простор.
В сердце нет ни боли, ни испуга —
И приюта нет среди изб и нор.

Нашей правды будем мы достойны,
Правду в смерть мы пронесем, как щит...
Господи, неясно, неспокойно
Солнце над землей Твоей горит.

IX. СМЕРТЬ

1

Только к вам не заказан след,
Только с вами не одиноко.
Вы, которых уж больше нет,
Ты, мое недреманное Око.

Точно ветром колеблема жердь,
Я средь дней. И нету покоя.
Только вами, ушедшими в смерть,
Оправдается дело земное.

Знаю, знаю — немотствует ад.
Смерть лишилась губящего жала.
Но я двери в немеркнувший сад
Среди дней навсегда потеряла.

Мукой пройдена каждая пядь,
Мукой, горечью, болью, пороком.
Вам, любимым, дано предстоять
За меня пред сияющим Оком.

2

Не солнце ль мертвых поднялось сегодня,
Не наступил ли день расплат?
Вот урожай пшеничный сжат,
В точилах зрелый виноград,
И медленно грядет закат
На лето благодати Господней.

Мертвящий свет. А сердце так крылато!
Меж «здесь» и «там» исчезла грань.
Погибла временная брань.
Господь нас взял в святую длань,
И страж мне рек: душа, восстань,—
Вот час, вот срок, вот суд, вот плата.

3

Моих молитв бескрылых тонкой нитью,—
 Ничтожной нитью,— я держусь лишь ей.
 Готов корабль к последнему отплытию,
 На берегу развил все кольца змей.

Там или здесь, в порыве корабельном
 Могу оставить берег я змеи,
 Могу тонуть в пространстве запредельном,
 Там, где блаженно тонут корабли.

А если нет? А если битве в жертву
 Навек остаться я должна сама?
 И час придет. И змей закончит жатву
 И плевелы уложит в закрома...

4

Прощайте, берега. Нагружен мой корабль
 Плодами грешными оставленной земли.
 Без груза этого отплыть я не могла б
 Туда, где в вечности блуждают корабли.

Всем, всем ветрам морским открыты ныне снасти.
 Все бури соберу в тугие паруса.
 Путь корабля таков: от берега, где страсти,
 В бесстрастные Господни небеса.

А если не доплыть? А если сил не хватит?
 О, груз достаточен, неприхотливо дно.
 Тогда холодных, разрушительных объятий,
 Наверное, мне миновать не суждено.

5

Мы снискиваем питье и брашно
 Заклятьем первородного греха.
 Мы трудимся, мы утучняем пашню,
 И нашу землю бороздит соха.

И, оттрудившись, тихо умираем.
 Каким судом судить Ты будешь нас,
 Стоящих перед осиянным раем,
 Наш брат по плоти, вечный Бог и Спас?

Сын человеческий, Домостроитель,
В обширном доме своего Отца
Какую уготовишь нам обитель,
Какого удостоишь нас венца?

6

О, все предчувствие, преддверье срока,
О, все подготовительный восторг.
На торжищах земли закончим торг,
Проснемся, крикнем и вздохнем глубоко.

Ты, солнце вечности, восход багров
И предрассветный холод сердце душит.
Минула ночь. Уже проснулись души
От утренних, туманно-теплых снов.

И сны бегут, и правда обнажилась.
Простая. Перекладина креста.
Последний знак последнего листа —
И книга жизни в вечности закрылась.

СЕМЬ ЧАШ⁵

I

ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ

И о а н н и П р о х о р

П р о х о р

Нет, дедушка, недаром я на остров
Средь непогоды грозовой добрался.
Теперь я вижу, что тебя мне нужно.
А сколько раз сомненье начинало
Моей душой овладевать. Напрасны
Казались мне исканья и усилья.
Доверился я, будто мальчик, сказкам,
Ищу неведомо какого клада,
Иду в неведомо какое место,
Разужнаю неведомо о чем.
Я уж отчаялся. Хотел обратно
При первой же возможности вернуться.
Теперь все изменилось. Не уйду я,
Пока не выгонишь.

И о а н н

Зачем мне гнать,
Я рад тебе. Живи да слушай море,
Следи за облаками в небе синем,
Молись и думай.

П р о х о р

Ты не все сказал мне.
То, что меня особенно пленяет,
Не перечислил ты.

И о а н н

А я не знаю,
Чем ты на острове займешь досуги.
Тут кроме облаков да моря нету
Ни одного занятного предмета.
Еще ты молод. Для забавы время
Не отошло.

П р о х о р

Нет, не в забавах дело.
Я их на дальнем берегу оставил.
Подсказывает разум беспокойный,
Что речь твоя — вот клад искомый мною.
Ты много знаешь. Много видел в жизни...
Но и не в этом дело. Не напрасно
Сидишь на острове пустынном годы:
Уверен я — ты голоса здесь слышишь,
Тебя виденья посещают тайно,
И лестницу священную от неба
До волн зеленых ангелы спускают.
Ты их полночный, верный собеседник.
Так повтори мне их слова святые:
Изголодалось сердце. В мире жить
Одно лишь значит — непонятым мерить
Такое ж непонятное.

И о а н н

О, сердце,
О, чистоты нетронутый источник,
И ты увидишь то, что вижу я.
Смотри на запад. Что перед тобою?

П р о х о р

Над морем золотятся облака,
Как корабли, напрягшие ветрила,
Плывут, плывут среди лазури бледной.

И о а н н

Семь облаков. Семь тучек легкокрылых.
Семь ангелов, одетых в одеянья
Из солнечных лучей. Ты видишь, чаши
В своих прозрачных дланях поднимают.
Возносят их все выше, в дали неба.
И первый ангел, тот, что ближе к солнцу,
Огнем и золотом сейчас пронизан.
Гляди, гляди,— вот он расправил крылья,
И пламенные волосы струятся
Вдоль лика светозарного. Прозрачны
Его спокойные глаза. Вот чаша
Возносится к престолу Божьей Славы.
Господь, благослови! Он опрокинет
Напиток страшный. Он зальет им землю.
Ты видишь, видишь?

П р о х о р

Страшно мне смотреть.
Все кончено. Вот влага золотая,
Как водопад, низверглась с высоты.

И о а н н

Остановись, мой мальчик, будем вместе
О разумыньи тайн молиться Богу.

Молится.

Открой глаза нам. Изошри наш слух.
Куда упала ярости стрела,
Кого ты покарал своей десницей,
Обнажены какие корни жизни?

П р о х о р

Помилуй, Господи, и вразуми нас.
Помилуй, Господи, открой нам зренья.

И о а н н

Да, древний дуб подсекала влага злая.
Труд, труд — благословенье и проклятье,
Труд — наказание грешного Адама.
Труд творческий — его Богоподобье...
Извечно выходил на ниву пахарь.
Рука ткача полотна ткала. Молот
По воле кузнеца ковал железо.
В поту трудился человек извечно.
И часто познавал он Божью тайну:
Проклятье становилось благодатью,

И не был труженик рабом наемным —
Сотрудником он делался Господним.
Учитель говорил нам: «Как Отец Мой
Доныне трудится, тружусь и Я».
И по его стопам мы с сетью вышли,
И неустанно тянем невод полный,
На нивах трудимся, жнецы Господни.
Так было от начала мира. Ныне
Упала чаша ярости на землю
И влага гнева отравила труд.
Все изменилось ныне. Будь свидетель.
Переносись от берега глухого
На площадь города, в толпу людскую.
Найди, где гневная струя излилась.
Увидь, пойми.

Пр о х о р

Отец мой, что со мною?
Отец мой, где ты? Или это сон?
Иль ангел смерти ослепил мне очи?
Засыпает.

II НОЧЛЕЖКА

Безработные

1-й безработный

Я безработный. Я шагаю в ногу
С законами, с их духом и с их смыслом.
Закон меня как будто умоляет:
Что хочешь делай, только не работай.
Я оплачу твои часы безделья,
За комнату внесу. Жене и детям
На годы я определю пособие.
Велик твой выбор: нищенствуй иль пьянствуй,
Иль не вставай неделями с постели,
Сбирай побор с бездельников богатых —
Все можно, все оправдано законом.
Но если ты возьмешься за работу,
И донесет какой-нибудь завистник,
Что ты четвертый день таскаешь камни,
Поленья колешь или красишь стены, —
То берегись — закон, он беспощаден:
С позором будешь вычеркнут из списка

Нуждающихся в помощи. С работой
Ты тоже распростишься — и надолго.

2-й безработный

Сам дьявол выдумал машинку эту:
Закрутит колесо — без остановки
Крутиться будет. Говорят, когда-то
Ученые изобрести хотели
Непрекращающееся движенье.
И ничего у них не выходило,
Как ни хитрили, — тренья побороть
Механика ученая не может.
Но жизнь искуснее их оказалась:
Из нас любой без остановки будет
В проклятом колесе крутиться.

3-й безработный

Нам бы
Хоть ямы выгребные чистить дали,
Хотя бы нас полезными признали
И нужными в каком угодно деле, —
Почувствовали б мы себя спокойней, —
Не хлам ненужный, — человеки тоже, —
Коль человек, то жить имею право.

1-й безработный

Да, мышц рабочих перепроизводство —
Вот время наше чем известно будет.

2-й безработный

Коль мышцы не нужны — душа подавно:
Она всегда недорого ценилась.
При хорошо трудящейся машине
Ее терпели.

3-й безработный

Лишняя душа
Находит, что сейчас не лишним было б
В компании лишнего хватить.

1-й безработный

И дело.
Кто хочет? В складчину. Я ставлю первый.

2-й безработный

Приятель мой блаженной смертью умер.
Напился с вечера. Едва дополз

До конуры своей. Спать завалился.
А утром в дверь не достучались. Смотрим —
Уже успел похолодеть. Блаженство!
Вот за блаженную кончину выпьем.

(Пьют и поют.)

Песня

Бутылочка, бутылочка без дна.
Деньки мои, деньки мои без смысла.
Дорога под ногами не видна,
Со всех сторон густая мгла нависла.

Налево — яма, напрямик — ухаб,
Направо — невылазная грязища.
А все же, как бы ни был пьян и слаб,
А доползу, наверно, до кладбища.

Там складывают весь ненужный лом
Средь скользкой и промозглой глины.
Бутылочка, с тобою напролом,
С тобой ничто не страшно, друг единый.

2-й безработный *(плачет)*.

А матушка-покойница, качая
Меня, младенца, думала о счастье,
О том, как вырасту, разбогатею,
Как буду торговать в своей лавчонке,
Женюсь на раскрасавице...

1-й безработный

Буылка

Не очень-то вместительной была.
Повторим, братцы.

3-й безработный

Я плачу вторую.

III

ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ

Иоанн и Прохор

Прохор *(просыпаясь)*.

Какой тяжелый сон смущал мне душу.
Жизнь без надежды, без просвета снилась.
Живым я был в тяжелый гроб положен,

И слышал — ударяли гулко комья
По крыше гробовой. Уж хоронили
Меня живого... Снова воздух вольный,
И легкий ветер, по морю скользящий,
И рядом ты, мой мудрый Тайнозритель.

И о а н н

Ты спал недолго.

П р о х о р

Вечность, вечность спал я.
Как радостно, что можно просыпаться.

И о а н н

Когда ты засыпал, то в небе солнце
Лишь начинало к западу склоняться
И все топило в золотом потоке.
Теперь оно приблизилось в пучине
И золото сменяется багрянцем.

П р о х о р

Но ангелов священную седмицу
Ты видишь ли по-прежнему, отец мой?

И о а н н

Смотри, как уголь раскаленный, чаша
Подъята тонкими перстами в небо.
Лучами рыжими мятутся крылья,
И волосы расплавлены огнем.
Суровый взор мне прожигает душу.
Как копие летучее, струя
С высот низринулась из чаши пенной.

П р о х о р

Кого пронзит? Кто ныне жертвой будет?

И о а н н

Закрой глаза, с вниманьем тихим слушай,—
Разлился гул в неведомых долинах,
Звучат там песни, слышны голоса,
И празднуют невидимые люди,
Толпа невидимая торжествует.

IV ГОЛОСА ТОЛПЫ

1-й г о л о с

Держите строй, и в ногу, в ногу, в ногу,
Рядами сомкнутыми маршируйте.
Эй, песельники, на десятом шаге
Запеть нам песню велено начальством,
Чтоб все слышали о веселье нашем.
Так в ногу, в ногу, в ногу... Запевайте.

П е с н я

Шагаем в ногу — левой, левой, правой,
Ведет дорога — только смелых к славе.
Мы все, как каждый, — муравейник дружный.
Не скажут дважды — что нам делать нужно.
Приказ нам отдан — мышцы, мысли — к делу.
За нашим взводным — мы шагаем смело.
За взводным старший, а над старшим главный.
Победным маршем в ногу, к цели славной.

1-й г о л о с

Эй, ты, философ, выбился из строя!
На ласточек небесных загляделся?
Иль вспомнил прошлогодний снег? Не надо
Зря забивать мозги различной дрянью,
Как у рахитика распухнет голова.
Все за тебя обдумали другие.
Твоя задача — строй держать и в ногу
В назначенном тебе ряду шагать.

П е с н я

Раз, два, раз, два, раз, два, и в ногу, в ногу,
Прямее голову и пятки вместе.
Выходим на широкую дорогу
Беспрекословной, всем нам общей чести.

V ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ

И о а н н и П р о х о р

П р о х о р

Я этих голосов не понимаю:
Им весело, они грозят кому-то...

Какою язвою их ангел гнева,
Вторым изливший чашу, покарал?

И о а н н

Ты их не видел — голоса лишь слышал.
И увидеть нельзя их — нету ликом,
Многообразья нету в их толпе.
Средь тысяч листьев на деревьях летом
Двух одинаковых листочков нету.
Средь тысяч каждый лист неповторимый.
А тут пред нами двигались рядами
И повторялись миллионы раз
Все те же человеческие тени.
Предательство божественной свободы,
Неповторимому пути измена, —
Вот страшный яд, который их погубит.

П р о х о р

Отец мой, если скованы их воли
И если лики их незримы даже,
Боюсь я — может некий вор явиться
И нехранимое добро украсть.
Придет любитель жить за счет другого,
В свое хранилище их воли спрячет,
Их именем он строить царства будет,
На их костях захочет он прославить
Себя единственно, их жизнью жить.

И о а н н

Ты хорошо увидел, где опасность.
Но срок настал, и третий ангел в небе,
Весь дымный, в сизом одеянии тучи,
Печальный ангел в час, когда за море
Круг пламеносный солнца закатился,
Подъемлет ввысь опаловую чашу.
Ночь медлит. День угас. Туманы выются,
Как сонный рой бесшумных привидений.
И пепельные крылья распростер
Над бездною поблекшей третий ангел.
Он медленным движеньем наклоняет
Края ему врученной Богом чаши.
И медленно тяжелый дым струится
С небес на землю. Скорбен час заката.

Прохор

Помедли, Тайнозритель, я не в силах
Свои глаза от неба оторвать.
Мучительно мне было б видеть казни,
Которые последовать должны.
Мучительно вернуться мне на землю.
Тем более, что следует четвертый,—
Кто? Ночь сама иль ночи черный ангел?
Все небо осенил шатром крылатым,
Серебряные искры звезд рассыпал
И льет на землю медленный напиток
Густой, смолистой темноты ночной.
Волна морская вдруг оцепенела,—
Не торжествует,— только тихо ропщет.
Вдыхаю я тяжелый, темный воздух.
Весь мир ночной отравой окован.
Все замерло, все ждет.

Иоанн

Уже дождалось.
Глаза к востоку обрати. Ты видишь —
То пятый ангел в череду вступает.
Сметет тяжелыми кудрями с неба
Искристых звезд спокойные поля,
К земле прильнет и ладным вихрем кинет
Сухую пыль, расшевелит тростник.
В ответ ему деревья расшумятся,
Настойчиво ударит ветер в море,
Покой нарушит спящей глубины
И бросит волны на пустынный берег.
Вот пятый ангел,— грозовой,— уж близок.

Прохор

Гроза идет. Неразличима чаша
В руках невидимых. Лишь лезвие
Блестящей молнии простор пронзило.
Еще, еще. Весь небосклон исчерчен
Мелькающими быстро письменами.
Мгновенным светом озарились руки,
Поднявшие священный кубок. Змеи
Молниевидные в его глубинах
Зарожжены. Вместилище он бури.
И ангел грозовой — ее начальник.

И о а н н

Три ангела явились нашим взорам.
Три чаши опрокинуто над нами.
Три казни нашим миром овладели.
Война. Ее всегдашний спутник — голод.
И рабство. Многие века в свободе
Жил человек, свободный от природы.
Свобода высшим благом почиталась.
Война и голод, подневольный труд
Сейчас меняют лик привычный мира.
Средь мрака наступившего смотри,
Средь громовых раскатов слушай, слушай.

VI

РАЗРУШЕННЫЙ ПОЛУСТАНОК

Вдали пушечный гул.
Толпа, еле освещенная фонарем.

1-я ж е н щ и н а

Как будто удалился гул сраженья.
Ушла гроза, в развалинах оставив
Все, что мы прочной жизнью почитали.

2-я ж е н щ и н а

Дом, скарб, скотина, зимние запасы,
Деньжата, скопленные многими годами,—
Все сожжено, развеяно, разбито.
Как родила нас мать, мы голы ныне
Под голым небом, на пустой земле.

1-я ж е н щ и н а

Зачем меня снарядом не убило,
Зачем мне не было дано за ними,
За сыновьями милыми уйти?
Упал в сраженьи старший, а меньшого
Невидимая пуля подкосила.
Остался средний мне. Но скоро гибель
И с ним расправилась. Теперь одна я.
Пусть враг окажет мне одну лишь милость,
Пожертвует одною лишней пулей,
Одним движеньем пальца — и расчеты
Я кончу с этой жизнью ненавистной.

3-я женщина (с детьми).

Чего ты ропщешь, тетка? Иль не видишь,
Что жребий твой завидней моего.
Троих детей в войне ты потеряла.
Что ж, радоваться надо, а не плакать.
По крайней мере ни один из них
Тебя не будет мучить тем, что хлеба
Нигде для них не можешь раздобыть.
Мы сами голодаем. Это горе
Еще терпеть возможно. Вот как дети
От голода метаться начинают
И плачут, и заснуть не могут ночью,
А ты ничем помочь не в силах больше...
Я виновата без вины пред ними,
И думаешь — зачем их породила,
Зачем пожар их не спалил иль пуля
Их не убила наповал.

Старик

Все было

Предсказано в священных книгах.
Читай в главе девятой Откровенья.
На Патмосе апостол Иоанн
В виденьи ясном видел наше время.
«По виду саранча была подобна
Коням, готовым на войну. И брони
На ней железные. А шум от крыльев,
Как шум от колесниц. У скорпионов
Подобные хвосты. В них жала с ядом.
Царем над ними ангел бездны. Имя
По-иудейски Аввадон ему,
По-гречески Аполлион». И дальше:
«Я видел всадников. Их брони были
Из серы, пламени и гиацинта.
И головы коней подобны львиным.
И рот их извергал огонь и серу.
И мощь у них в их пасти и в хвостах их.
Хвосты подобны змеям. И имели
Те змеи головы. Вредили ими».

2-я женщина

Помилуй, Господи, не воздавай нам
По нашим многочисленным грехам.

Старик

Давайте плакать и молиться вместе.

1-я женщина

Господь мой, упокой их со святыми,
Рабов и воинов Твоих, детей
Моих любимых, Твой венец приявших,—
Илью, и Сименона, и Петра.

Старик

И вечную им память сотвори.

Солдаты

Ведут группу пленных.

Один сухарь, воды горячей кружка
Для каждого из пленных. Могут вместе
Часок какой-нибудь передохнуть.
Товарные вагоны соберем мы,
И первые пятьсот пойдут на рудник,
Вторая группа — на работы в поле.
Лишь опытных в каких-нибудь ремеслах
Приказано заранее отобрать нам,
Да бывших мастерами на заводах.

2-й солдат

Эй, живо стройтесь в очередь за пищей.
Привал на полчаса, пока вагоны
Не подадут.

1-й пленный

Поля пахать им будем,
Чтоб было чем кормиться их солдатам,
И добывать руду им для снарядов.

2-й пленный

На наших братьев нашими руками
Мы создадим смертельное оружие.

1-й пленный

Нет выбора у нас. Или к расстрелу
За неисполненный приказ мы будем
Обречены судом их беззаконным
Иль мертвыми колесиками станем
В военной их машине беспощадной.
Неволею своею будем вместе
С врагами родины их дело делать.

3-й пленный

Я раб, мы все рабы. Рабам — покорность,—
Единственная мера жизни их.

1-й пленный

Мы более не люди — скот рабочий.
Куда ему укажет бич — иди,
И где ярмо к труду нас приневолит,
Там будем мы послушно выполнять
Задание любое.

2-й пленный

Умереть бы.

Стражники

Входят.

Эй, расступитесь, пленные.

1-й стражник

Где бабы

Запрятались? Живее выходите!

2-й стражник

Не все, не все. На что старье такое!
Мы отберем красивых, молодых,
Захваченное все сослужит службу,
От восемнадцати годов,— ступайте,—
До тридцати,— другие не годятся.

1-я девушка

Куда нас повезут?

1-й стражник

Моя красotka,

Не любопытствуй зря.

Обнимает ее.

1-я девушка

Не смей касаться!

1-й стражник

Ого, какая строгая! Недолго
Ты будешь недотрогою держаться.

2-я девушка

Я поняла. Погибли мы. О, горе!
Нас отдадут на грех и на позор.

Старуха

Молитесь, девушки. Не грех, а подвиг,
Не наказание, а венец нетленный
На страшном ожидает вас пути.

Святые мученицы, сохраните
Лишь душу чистую. Пусть тело будет
Лишь оболочкой недостойной вашей.

1-й стражник

К порогу рая верно доберутся
С носами провалившимися девы,
Гнусавым голосом Творца прославят.
Скорей, красотки, поданы вагоны.

VII

ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ

И о а н н и П р о х о р

П р о х о р

Довольно, Боже. Мир не может больше
Существовать среди этой тьмы крошечной.
И сердце истекает состраданьем.
Пять чаш — пять казней, — больше нету силы
Последних двух, двух самых страшных ждать.

И о а н н

Никто не ведает, что будет страшно,
А что к спасенью приведет творенье.
Смотри. Уходит ночь. Ночные маки,
Насыщенные чернотой, — исчезли.
Лиловыми фиалками засыпан
Восток сейчас. И медленно струится
На смену им сиреневое море.
Заря, заря, предшественница солнца,
Все наполняет отблеском прозрачным.
Розово-пестрый ангел, тих и ясен,
В ее лучах свою поднимет чашу.
Начало дня, начало жизни новой.
Из чаши расплескался мед тягучий.

П р о х о р

Начало жизни. Казни миновали.

И о а н н

Не знаю я, — быть может, в смертной муке
Должны искать земные обновленья.
Над морем розовый туман клубится.
Вот ветер разорвал его завесу,
И не морская даль за ней открылась —
Ты видишь шествие.

Прохор

Толпа стремится
Неисчислимая. Куда — не знаю.
Тут старики, и женщины, и дети.
Больных несут за ними на носилках
Иль под руки ведут. И молодые,
И старые согнули низко спины.
Идут, как обреченные на казнь.
О, кто они? Отец, народом целым
Они в тумане розовом влекутся.

Иоанн

Мои родные, сыновья сынов
И дочери сестер моих любимых.
Средь этого народа Мариам,
Как лилия долины, расцвела.
Тяжеловыйный,— избранный,— Израиль,
Исход его, последний в этом мире,
Вот что глазам открылось на рассвете.

VIII

ИЗРАИЛЬ

1-й еврей

Вот дожили. Нелепая легенда,
Которой верили в Средневековье,
Вдруг в наше время оживает.
Как будто есть один народ иудейский,
Один избранный Еговой Израиль.
Язык евреев не объединяет,
И нравы их подобны тем народам,
Среди которых жизнь их протекала.
От предрассудков гибнем.

1-я женщина

Ходят слухи,
Что всех детей от матерей отнимут
И отдадут в какие-то приюты,
А матерей угонят на работы.

2-й еврей

Всех в солеварни будут отсылать.

3-й еврей

И газами травить, коль не способны
К тяжелому труду.

2-й еврей

Всех уничтожат.

Проходят.

1-я девушка

Все было б легче, если б смысл увидеть.
Бессмыслица — страшнейшая из пыток.
Иль жертвы мы случайные безумцев,
Иль книги древние не обманули
Отцов.

2-я девушка

Ты знаешь, что в них говорится?

1-я девушка

Не очень точно. Об избраньи нашем
И о завете Егovy с народом.

2-я девушка

А хорошо бы без избранья жить.

Проходят.

1-й старик

Благочестивые и нечестивцы —
Все пред лицом Твоим сравнялись в горе.
Я почитал божественную Тору,
Я исполнял, что велено законом,
Не изменил я ни единой иоте,
И вот награда.

2-й старик

Только не ропщи.

Ты помнишь, как многострадальный Иов
На гноище, проказую покрытый,
Не согласился Бога похулить.
Мы все подобны Иову сегодня.

1-й старик

Я не ропщу. Я знаю — прав Создатель.
И трижды прав, и вечно прав, и нам ли
Уразуметь пути Господней воли.

Проходят.

1-й еврей

Обречены на смерть, на истребленье,
Кончаем дни бесславно в этом мире.

2-й еврей

Ты плохо вник в закон живого Бога.
Нас будут гнать, всечасно будут мучить,
Над нами явно враг восторжествует,
Но что бы ни пришлось нам испытать,—
Противник, самый сильный, истощится,
И прах его смешается с землею,
И имени его не будут помнить,
А мы,— до дня Господнего,— все те же,—
Гонимые, униженные,— будем
Существовать согласно воле Божьей.

1-й еврей

Да, знаю я,— когда придет Мессия,
Он нас освободит и крепость
Народным мышцам древнюю вернет.

2-й еврей

Мессия — Царь, Мессия — Жрец верховный...

3-й еврей

Мессия — жертва за грехи людские,
Мессия, как овца на закленье,
Врагом влекомый. Тростника не сломит,
Не загасит курящегося льна.

1-й еврей

Мессия — Царь...

3-й еврей

Слуга слуги последний.

1-й еврей

Он будет на престоле вознесен.

3-й еврей

Был вознесен на крест людскою злобой
И освятил свой крест. На наши плечи
Креста священный груз он возложил.

1-й еврей

Ты говоришь не как Израильтянин.

2-й еврей

Смотри, смотри,— передние ряды
В неожиданном ужасе теснятся. Что там?

3-й еврей

Там видятся мне ангельские крылья,
Серебряные трубы там гремят,
Господь мой, Страшного Суда преддверье...

IX ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ

И о а н н и П р о х о р

И о а н н

По предсказанному все свершилось.
Двенадцать тысяч каждого колена,
Всего ж людей сто сорок и четыре.
Двенадцать дюжин тысяч ото всех
Израильтян запечатлено будет
Обещанной печатью избранья.
А это значит: сроки наступили,
И Божья нива к жатве побелела,
Жнецы придут от Господина жатвы
И плевелы отделят от пшеницы,
В костры их кинут. Доброе зерно
Все уберется в закрома Господни.

П р о х о р

Как могут завершиться сроки жизни
Без ангела последнего, седьмого?

И о а н н

Не долго ждать. Смотри опять на небо.
Ты видишь — дали налились лучами
Невидимого солнца, как плоды
Под осень соком налиты прозрачным.
И ветер стих. Немая неподвижность
Морской сковала предрассветный воздух,
И над востоком ширится сиянье:
Лучи, подобные мечам, метутся,
Средь неба царственная белизна.
И сталь расплавленная выплывает
На небосклон, как царь на колеснице,
Влекомой серебристыми конями.

Ты видишь ангела? Ты видишь латы?
Ты видишь раскаленной чаши пламень?

П р о х о р

Не вижу я: от света слепнут очи.
Везде разлит он — этот свет слепящий.
Мне кажется, что у меня по жилам
Не кровь струится — это серебро,
Что добела расплавлено. Мне больно.
Мне радостно. Как перья крыльев белы
У ангела, и у тебя, отец,
И за моей спиною тоже крылья.
Отец, отец, в крылатый мир вступаем,
В мир царственной, священной белизны,
И в солнце мы горим и не сгораем,
Неопалимой Купине причастны⁶,
Крещаемы Огнем Святого Духа.



Статби
Письма





ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ*

В прежние времена были остры и болезненны споры между отцами и детьми. Естественно ждать, что при нашем быстром темпе жизни спор этот должен дойти до полного отрицания друг друга.

И на самом деле, это отсутствие понимания уже начинает проявляться. В XIX книжке «Современных записок»¹ Антон Крайний² поместил «Литературную записку о молодых и средних» — статью, в которой ребром поставил вопрос: «Каково поступательное движение и развитие нашей литературы за последние годы революции, *если оно есть?*»

Последние слова, напечатанные курсивом, дают заранее повод предполагать, что автор статьи отрицает существование этого поступательного движения.

Так оно и оказывается при дальнейшем чтении: автор «не утверждает, не думает, но боится, что развития русской литературы нет».

«Таланты стали употребляться на схватывание и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных»...

«Юные... видели жизнь, как она есть в России... Сравнить не с чем... Видели безобразие... Но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого. Чувство красоты они не могли утратить — они его не имели...»

А. Шлецер, рецензируя в XX книжке «Современных записок» 3-й ч. «Окна», говорит о том, что с положениями Антона Крайнего невольно приходится соглашаться, что, может быть, этому омертвлению русской литературы есть

* Давая место настоящей статье, редакция «Воли России» должна отметить, что не разделяет некоторых оценок, высказанных автором. (Примеч. редакции «Воли России»).

объяснение в чисто социальных условиях, но это самого факта не меняет.

Одним словом, группа писателей, принадлежащих к последнему дореволюционному периоду русской литературы, дает совершенно определенный отзыв о следующем писательском поколении и с большой болью и искренностью говорит о гибели старых традиций, о перерыве в поступательном движении литературы.

О новой литературе я говорить не буду, потому что просто недостаточно знаю ее. Думаю, что вообще за пределами России ее трудно знать настолько, чтобы не рисковать ошибиться в ее оценке. Но о старой литературе скажу, потому что считаю совершенно ясным, что ее традиции продолжить н е л ь з я (разрядка автора).

Нельзя не потому, что новое поколение должно отрицательно относиться к старым авторитетам, не потому, что в последний предреволюционный период у нас не было больших и талантливых писателей,— а нельзя потому, что, как верно замечает А. Крайний, «русская литература никогда не шла вне жизни».

Жизнь же предреволюционного периода ничем и ни в какой степени не дает тех восприятий, какие дает период революции и какие, вне сомнения, будет давать следующий период.

Революции бывали в истории не раз; и часто вскармливались они идейно предшествующей литературой, связывались ею с прошлым, отбрасывали свой отсвет на грядущий литературный период — таким образом оставалась целой и нерушимой связь всех литературных периодов.

Так было во Франции в эпоху Великой Революции, вскормленной энциклопедистами и вскормившей Байрона и романтиков. Так оно естественно должно быть в исторические периоды, не отмеченные знаком перехода из одной эры жизни человечества в совершенно другую эру.

Но в периоды, обозначающие великие грани, таких постепенных переходов ждать не приходится. После Аттилы³ трава не росла, и нельзя было продолжать традицию римской культуры. Надо было начинать все заново, строить свою новую культуру. И только через большой промежуток времени, когда эта новая культура окрепла, она смогла воспользоваться достижениями предшествующей эры, принять их вдумчиво и объективно.

В области культуры так же, как и во всех областях жизни человеческой, грань между двумя эрами истории

лежит именно между годами, предшествующими войне и революции, и годами последующими.

Очень вероятно, период борьбы двух этих эр еще не закончен. И совершенно верно, что в русской истории культуры большевизм должен был играть роль Аттилы, под копытами коня которого трава не растет. Теперь, после того, как это шествие Аттилы духовно изжито, несомненно должно обозначиться стремление писателей «схватить и передать видимое», настолько оно ново, настолько оно не устоялось еще. В этом есть, может быть, известное сходство с каким-нибудь киевским древним летописцем, который одинаково бережно стремится занести на страницы своей летописи и то, что князь воевал с кочевниками, и то, что в Днестре нашли уродца о двух головах.

Но, повторяю, подробно останавливаться на литературе новой не считаю для себя возможным.

Теперь о литературе старой. А сначала о последних годах прошлой эры в истории человечества.

После революции 1905 года отход от общественной работы у молодежи обозначился очень определенно. Революционный подъем в русской интеллигенции переживал наиболее сильный кризис. Пожалуй, такой полной апатии к общественной работе не наблюдалось в течение всего прошлого века.

Но это не значило, что молодежь была довольна существующим положением вещей. Весь этот период был в жизни молодежи отмечен мучительным исканием новых путей, потому что «так дальше жить нельзя».

Трудно определить, что должно было измениться, только несомненно одно, что данные условия жизни настолько тусклы, настолько мешают свободному выбору жизненного пути, настолько опостытели всем, что «так дальше жить нельзя».

Это был основной лозунг у молодежи довоенного периода. Как бы ни строились планы на будущее — во всех них неизменной была предпосылка: сначала все «это» должно измениться, а потом будет то-то и то-то.

— Период реакции — скажут одни.

— Послереволюционная неврастения — скажут другие.

Думаю, что ни то, ни другое, а скорее острое ощущение, что «время наше на исходе», что мы стоим у самой грани, что скоро начинается неведомое.

Конечно, не только молодежь чувствовала приближающуюся гибель старого мира. Этим чувством были до конца проникнуты все — многие бессознательно.

Теперь, оглядываясь назад, с точностью и ясностью видишь, что все делалось тогда именно под этим знаком гибельности. Под этим знаком вошел в царский дворец Распутин, под этим знаком быстро разлагалась устойчивая обычно психология простого обывателя, и он терял представление о должном, о понятном и приемлемом ходе жизни. Под этим знаком в некоторых кругах русской интеллигенции остро выросло чувство какой-то мистической веры в путь войны и очищения через этот путь.

Но отношение к этой гибельности было различное.

Молодежь еще слишком мало срослась со старой культурой, слишком уродливо восприняла последний лик этой старой культуры, чтобы о чем-то жалеть.

Старшее поколение несомненно жалело, потому что видело более объективно и другие лики культуры, не затемняло их чрезмерным преувеличением современности и поэтому так или иначе стремилось что-то удержать, что-то спасти.

Молодежь чувствовала себя грядущими гуннами, а старшее поколение при всех своих индивидуальных различиях противопоставляло себя гуннам, даже относясь к ним неодинаково.

Вспомните только ожидание грядущих гуннов у Брюсова, приветствующего их, и стремление Вячеслава Иванова⁴ «унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры». Оба знали, что гунны близятся, оба знали, что они сметут все прошлое на своем пути, и, относясь к ним по-разному, одинаково противопоставляли себя им. Вячеслав Иванов становился на защиту старой культуры, стремился уберечь ее от полного уничтожения, а Брюсов предавал ее и вместе с нею и себя, потому что чувствовал все же, что он-то лично с нею связан, а не с гуннами, которые, уничтожая старую культуру, и его вместе с нею уничтожат.

Они были оба в одинаковой степени последними представителями старой эры, они крепко срослись с ней, они дали завершение ей. Без их работы, без их достижений старый мир не сказал бы своего последнего слова. И они болезненно чувствовали, что к старой эре, т. е. и к ним, приближается смерть.

Сравнивать их можно с последними римлянами, видящими уже гибель своего римского мира.

Как же они относились к грядущему?

Само собой разумеется, что я говорю не о политическом их отношении к событиям. В области политики все еще было подвластно каким-то, якобы очень хорошо изученным законам. Тут продолжала царить простая человеческая логика и вера в постепенный ход событий — даже и революционный способ разрешения политических противоречий не мешал логическому подходу к вопросу и не уничтожал возможности обсуждать программы и давать им трезвую оценку.

Но в другой области, в области интуитивного восприятия грядущей катастрофы логический путь мысли оказывался совершенно бессильным. Вся напряженная волна мистики, характеризующая мысль символистов, определенно указывает, что они усиленно искали выход из того тупика, в который загнала их современность.

Связанные кровными узами с прошлым, они в мистической глубине своей не могли не быть консерваторами, уносящими свои светильники в катакомбы.

А наряду с таким пассивным консерватизмом, с стремлением спрятать, уберечь несомненно развивалось и другое течение — побороть грядущую стихию, найти новое слово, тесно связанное со старыми словами, и новому этому понятному слову подчинить грядущее, заставить это грядущее принять старое наследство, связаться со старой культурой.

Обращусь к воспоминаниям личным.

Новичком, поистине варваром, пришлось мне побывать на «башне», у Вячеслава Иванова. Там собирались люди в полной мере владеющие ключами от сокровищницы современной культуры.

Ночное бдение до зари, какая-то непередаваемая пряность и утонченность всех речей.

Сам Вячеслав Иванов, прозорливый и умный, одновременно с этим поражал каким-то напряженным любопытством к каждому отдельному человеку — каждого внимательно рассмотрит, точно и почти всегда правильно определит, отыскается приемами тонкими и лукавыми — потом только отойдет уже с большим безразличием.

И у меня было первое впечатление от этого нового мира такое, будто бы то, о чем мы таились даже перед самыми близкими, что нам казалось самым нашим глубинным достижением, — здесь обнажено, смакуется, является темой для остроумного и утонченного словесного турнира между Вячеславом Ивановым и Недоброво⁵, или Бердяевым⁶, а в дальнейшем Эрном и т. д.

Сначала мне казалось, что происходит это оттого, что наше сокровенное — еще не подлинное достижение, что люди, достигшие больших высот, смотрят на наши холмики с долей презрения, что их достижение просто нам еще недоступно.

Потом наступила реакция: стало ясным, что сокровенного нет, что за покровом слов и цитат все стало обыденным, вера в новое и чудотворное слово утрачена бесповоротно.

Теперь вижу, что в обоих определениях была доля истины. Любопытство и даже известная жадность к каждому новому человеку определялась надеждой, что вдруг случайно в этом человеке откроется то, что так необходимо, — какая-то мысленная ступень, связывающая знакомое и понятное прошлое, уж слишком изученное и от этого ставшее обыденным, с грядущим хаосом и мраком.

Сокровенного действительно не было, потому что перед лицом грядущего хаоса ничто не давало покоя и уверенности. Но жажда этого сокровенного была искренняя, мучительная и очень сильная.

В этот период мне пришлось много заниматься философией. Очень по-студенчески одолевала я премудрость отдельных философов, вместе с Кантом торжествовала победу над философской мыслью, не постигшей еще тайн критицизма; от Канта шла дальше, к неокантианцам. И каждый вновь постигнутый элемент знания именно по-студенчески воспринимался, как нечто очень прочное, близкое по своей достоверности к математике.

А на «Башне» или на заседаниях религиозно-философского общества чувствовалось, что Кант, даже Платон, более того — все мыслители всех времен и народов — в известном отношении младенцы какие-то, ушедшие в свой переулочек, не умеющие широко и всесторонне взглянуть на весь мир и отдающие свои силы изучению одного ничтожного уголка этого мира.

Тут же, у наших современных мыслителей, не только кантовский или платоновский переулочек, а весь город с птичьего полета виден. И достижения прежних веков во всем их творческом разнообразии суммируются в одно целое, в единое здание, совершенное и законченное.

О чем они говорили?

О Григории Богослове⁷, о Штейнере⁸, о страдающем боге Дионисе⁹, о Христе, о Марксе, о Ницше¹⁰, о Достоевском, о древней мудрости Востока, о Гете — и обо всем с

одинаковым знанием, с одинаковой возможностью обозреть все с птичьего полета, взять отовсюду самое ценное.

И не только самое ценное — довести все до парадокса, обострить и уничтожить, соединить Христа с Дионисом, Канта с Круппом¹¹ и т. д.

Как пример приведу толкование «Бесов» Достоевского Вячеславом Ивановым. Ведь без углубления особенного «Бесы» настолько глубоки, настолько мистичны, что об их каком-то двойном, даже тройном смысле спорить не приходится. Вячеслав Иванов разбирал символическое значение отдельных действующих лиц «Бесов». Ставрогин — «Князь мира сего» — такое определение его с ясностью вытекает из слов хромоножки — сталкивается на своем пути с землей. Земная поверхность, доступная человеку, не углубленная мистическим значением понятия земли, выявлена в образе Лизаветы Николаевны — недаром она в земном, символизирующем землю, платье описана в сцене в Скворешниках; там земля изображена в круге вечности — комната, в которой происходит разговор между Лизой и Ставрогиным, — комната круглая, круг — символ вечности. Хромоножка — это недра земли, недоступные человеку, князю мира сего, от этого она изображена безумной, фиктивной женой Ставрогина, от этого она в высшей мудрости своей одна проникла в сущность его — сущность князя мира сего.

Говорю это по памяти; многие подробности уже ускользнули, может быть, и это передано не совсем точно, но общий смысл толкования Вячеслава Иванова был именно таков. Характеризовать его можно так: уже мудрости Достоевского было мало — он не разрешал смятения, которое все росло перед лицом грядущего, — хотелось эту мудрость углубить до беспредельного, найти на дне ее ключ к грядущей загадке.

К такому же явлению принадлежит трилогия Мережковского¹², в которой Юлиан-отступник, Леонардо да Винчи — и Петр Великий слиты в какое-то среднее существо, напоминающее всего больше самого Мережковского, как мы его знаем по его творчеству.

Факты жизни его героев доведены до парадокса, обострены в своих противоречиях — ясно указано, что простым логическим путем из этих противоречий выхода нет — только путем изощренного слова и перевернутого наизнанку понятия можно найти выход из противоречия.

До некоторой степени с этим можно сблизить переход от марксизма к церковности у Бердяева; когда логика ста-

ла изменять, надо было найти понятие, определенное и находящееся вне простых логических построений, и им оперировать там, где иначе ничего не выходит.

Кстати, о церковности этой. На «башне» о ней очень много говорили, говорили о ней и в религиозно-философском обществе.

Основным утверждением было то, что вот верим, верим, верим. Тут уж все остальное ни к чему, раз попросту, по-настоящему верим и чувствуем свою общность со всем остальным Христовым телом — церковью, тут уж выход из всего.

Но все казалось, что упоминание Софии — Премудрости Божией, ссылки на Соловьева¹³, вера в Богочеловечество — это все одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой салопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: «Если не будете как дети, не войдете в Царство небесное». Детскости не было, не могло быть — была старческая, все постигшая, охладевшая ко всему мудрость.

И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей.

Таким образом, было все, кроме веры, веры во что бы то ни стало; была только сильная воля к вере.

Отчего же все складывалось так?

Уж кому бы, кажется, легче дойти до последней ступени мудрости, где откроется самая ясная, самая чистая простота — простота, дающая веру, простота целостного единобожия, как не тем, кто вкусил от всех истин, кто приобщился ко всем учениям, был в храмах всех богов.

На самом же деле ни веры, ни подлинного творчества не было.

Более того — не могло быть.

Всякое творчество питается жизнью и, в свою очередь, пробивает русло для будущей жизни. И несомненно, что если бы мы жили в другое время, жизнь давала бы другое питание — Вячеслав Иванов был бы не только мудрым, но и пламенным, Бердяев мог бы стать Лютером, Карташев¹⁴ — Аввакумом и т. д.

Но а в последние годы эры чем они могли быть, кроме эклектиков?

Жизнь мелела. Впереди стена. Для творческого порыва, для веры, проистекающей из творчества, — никакого питания. А из прошлого давит тяжелый груз многовековых

достижений, чужих творческих подъемов, чужой животоворящей веры.

Умирать же не хочется. Не хочется безропотно отдавать себя гибели, исчезать с исчезающей эрой.

И вот это бывшее творчество, бывшая вера, такая понятная, изученная, доступная, — комбинируется, сочетается в причудливых узорах, кромсается на осколки, спаивается воедино — авось где-нибудь, случайно вспыхнет новая искра, загорится новый свет, который преобразит мир, даст ему новый смысл, свяжет воедино уходящее и грядущее.

Но старые творения оставались по-прежнему неподвижными, но старая вера не могла родить новых заповедей — и люди кончали тем, что возвращались к какому-нибудь остроумному парадоксу, утверждали его, вопили: «Веруем, веруем», не веря, только мучительно желая верить.

Мне случалось и тогда встретить точное и сознательное отношение к приближающейся гибели. При первой моей встрече с Блоком (в 1908 году) он говорил о том, что принадлежит к умирающему, он советовал всем, кто еще кровно связан с этими умирающими, бежать от них, искать новых путей. Для меня сейчас вне сомнения, что он-то лично меньше, чем кто-либо, принадлежал к тому миру, умирание которого видел; силою своего пророческого дара он перенес свое творчество из современности в годы грядущие.

Но о Блоке особо.

Замечу только, что вряд ли можно было кому-либо не чувствовать себя связанными кровно с умирающим временем, вряд ли кто-либо сумел в полной мере осуществить бегство.

Последние римляне, впитавшие в себя мудрость долгих веков, бессознательно все же чувствовали, как кровь холодеет в жилах.

Потом началась война. С наибольшей остротой поставила она вопрос о гибели всего того, что было до нее. Какими бы мудрыми философствованиями не прикрывались люди тогда, как бы ни говорили о Царьграде и св. Софии или даже о том, что только вот теперь, мол, при царе его помазанность проявляется, — за всеми словами и самостышениями чувствовалось, что уже больше отойти от основного вопроса, отсрочить его разрешение нельзя.

В этот период мне случалось бывать у Вячеслава Ива-

нова в Москве. Сознаюсь, что во время ночных бесед с ним всегда чувствовалось, что он подавляет своей мудростью, своим всезнанием, своим умением утончить каждую мысль и найти ее корни. Каждый раз верилось, что и здесь течет вода живая; и только в сумеречном утре, уже на улице, опять и опять чувствовалось: «Были — уже отошли...»

А война все отчетливее говорила о том, что скоро ничего не будет, что мы все обнищаем, обнищаем до конца, что останется только голый человек на голой земле — образ, созданный провидчески именно в последнее время эры.

Об этом внутреннем грядущем обнищании говорили как-то с Вячеславом Ивановым. И о Царьграде рядом.

Говорилось, что до владения Царьградом Русь должна раньше очиститься от своих многовековых грехов, что Крест на св. Софии не может быть результатом только победоносной войны, которая совершенных грехов не покроеет, не искупит.

Для того, чтобы владеть св. Софией, необходимо раньше обнищать до конца, сознательно из глубины своего нищества отказаться от всякого нового венца — и только тогда принять его, по Евангелию: «Се, раба Господня, да будет по слову твоему» — из глубины сознания своего бесилия и своего нищества.

Говорю об этом разговоре, как об очень характерном для того времени. И самым характерным считаю, что вел его именно Вячеслав Иванов.

Может быть, все сказанное им было и верно, может быть, это и прозорливое указание на наше русское грядущее. Но ему ли обнищать, когда он сам заключил в себе неисчерпаемую сокровищницу культуры, когда все нищество наше, уже наступившее, он иначе и не сможет рассматривать, как сквозь призму богатства своего, определять, классифицировать; до известной степени и будущую историю писать на основании прошлых традиций.

Будущая же история начинается со слов: в начале было... А до этого начала ничего не было... пустота. Копыто коня Аттилы.

Говорю я больше о Вячеславе Иванове по двум причинам: во-первых, считаю его индивидуально наиболее крупным представителем последних римлян, значение которого, может быть, главным образом, личное даже значение, а не только значение его книг, — еще недостаточно оценено.

Во-вторых, с именем Вячеслава Иванова у меня ни в

какой степени не связано ни малейшего отрицания. Я его принимаю целиком, очень ценю, люблю даже — и на этом основании, говоря именно о нем, совершенно отвожу от себя всякий упрек в стремлении кого-либо унижить и развенчать, в желании внести элемент злобы и пристрастия в свои слова.

Говорю я только о неизбежном умирании традиции старой эры. Тут отдельные люди, конечно, не силах были что-либо изменить.

И еще одна оговорка; утверждая, что новая история начнется со слов: «в начале было», — я, конечно, не стремлюсь доказать, что и фактически земля вся вымрет, а потом вновь заселится новыми людьми, которые начнут строить себе шалаши в лесах, охотиться на диких зверей и т. д.

Я только думаю, что тот культурный слой русского народа, который был фактически творцом русской литературы и иных видов русской культуры, должен будет уступить место совершенно иным пластам русского же народа, психология которых совершенно иная, чем психология уходящих. На этом основании и учитывая к тому же, что и жизненный опыт у тех, кто теперь будет призван выражать мысль русского народа, совершенно другой и питается совершенно другими источниками, — можно утверждать, что новое строительство начнется со слов: «в начале было», и только оформившись и окрепнув, выявив нам еще неведомое лицо свое, сможет в полной мере воспользоваться достижениями прежней эры.

Вернусь к утверждению А. Крайнего, что чувство красоты неведомо молодым и что поэтому литература сейчас не имеет никакого поступательного движения. Он объясняет это отсутствие чувства красоты тем, что нет возможности учиться на красоте, — молодые только по инстинкту, по наследству могут ее ощущать.

Не так это все, конечно.

Разве сейчас закаты не такие, как десять лет тому назад?

А в Петербурге не такие же белые ночи? И не такой развез снег зимой и не такая трава весной?

Не в этом дело.

Дело в том, что культурная сокровищница, открытая

для всех, кто жил в старой эре, сейчас для новых заперта или, в лучшем случае, оказалась в музее. И культурные достижения, бывшие для прежних своими, вошедшие в плоть и кровь, стали музейными номерами, на которые можно смотреть, а почувствовать нельзя — они под стеклом.

Поэтому для старых все новое кажется лишенным красоты, не связанным с прошлой красотой, а для новых надо создавать новое, на новой зеленой траве, без традиций, без авторитетов.

Римлянам не понять варваров, а варварам не понять римлян.

Кроме того, видимо, эстетическая оценка у различных людей, переживших русскую революцию, стала чрезвычайно разнообразной.

Я лично, например, не знаю более кошмарного литературного произведения, всецело построенного на «схватывании и передаче видимого», чем дневник Зинаиды Гиппиус, помещенный в «Русской мысли». А Гиппиус целиком принадлежит к поколению старому, владевшему еще ключами от культурных богатств.

И именно самым отрицательным в этом дневнике является то, что весь он построен только на основе «схватывания и передачи», что нет в нем никакого внутреннего стержня, дающего известную оценку схваченному и переданному, группирующему факты по их внутренней значимости. Стержнем таким нельзя ни в коей мере признать ту чисто обывательскую злобу, которая все окрашивает в один общий цвет. Обыватель не доволен, что жизнь стала неудобной — и хлеба мало, и купить все дорого, и людей расстреливают.

И на основании этого своего недовольства он поведал миру все, что было им схвачено: в общей мешанине сплетни кухарки и разговор по телефону с Блоком, все свои большие и малые горести, все свои брюзжания, все недоумения и неумение разобраться в общей картине происходящего.

И рядом с дневником кажутся до известной степени более содержащими элемент красоты даже ультрареалистические произведения молодых, где с большим усилием авторы стремятся выгрести из хаоса событий к берегу, найти какую-то свою основную линию, преодолеть внутренне кровь и ужас, найти и в грязи подлинную и полную душу человеческую.

Интересно отметить, что еще задолго до катастрофы,

когда внешние знаки о ней не говорили, в среде последних римлян начали появляться варвары.

Конечно, всегда во все времена литература впитывала в себя элементы, не принадлежащие по своему складу к правящему литературному пласту. Таким впитыванием был приход «разночинцев», например.

Но раньше происходила довольно быстро ассимиляция, замечалась средняя линия между линией бывшей и той, которую несли новые люди; эти новые люди воспринимались именно как новые — теперь же они воспринимались как чужие, как варвары, знающие совершенно другой круг истин, поклоняющиеся совершенно другим богам, говорящие на другом языке.

И литературный мир, утонченно-культурный, бесконечно изысканный, встречал их всегда с повышенным любопытством и вниманием.

Да оно и понятно: ища во всем мире воды живой, пригибаясь под гнетом такой тяжелой культуры, какой была культура прошлой эры, хотели попытаться в варварах, в людях нетронутых, легких, найти пути к обновлению. И чем их духовный облик был более чужд, чем больше разнились их боги от обычных богов, тем сильнее возбуждали они веру, что тут-то и лежит новое слово, которое — стоит только понять, только вставить в логическую цепь старых слов, — чтобы желанный мост в будущее оказался найденным.

И так велика была эта страсть — найти звено между уходящим и грядущим, что переоценивали варваров выше всякой меры; создавали большие литературные имена, где ничего, по существу, не было, кроме одного отрицательного признака — отсутствия сходства с большинством.

Таков был приход на «башню» Городецкого¹⁵, отчасти Хлебникова¹⁶. Позднее так же приняли Клюева¹⁷ и Есенина.

Их сразу определили: не наши, новые, кровь молодая. Радовались их культурной нетронутости, ждали от них настоящего, звонкого слова.

Этим объясняется нежность Вячеслава Иванова к Городецкому, этим объясняется чрезмерно высокая оценка стихов Клюева.

Но эти первые варвары обманули ожидания. Или их мало было, и не осилили они стен старой крепости, или неподлинными они варварами были — только произошло нечто, совершенно противоположное тому, чего ждали от них.

Вместо того чтобы накинуться с враждебностью на древний мир и заставить его вступить в борьбу — а в этой борьбе, может быть, и обновиться, окрепнуть, по-новому познать себя, — варвары в первую очередь стали отрекаться от своего варварства — главного своего достоинства.

В то время, как подлинным римским гражданам опостылело уже это высокое звание, варвары стали добиваться признания за ними римского гражданства. Ну, а в качестве таковых они, конечно, никому не были нужны, потому что выходили все время римлянами второго сорта — и без них римлян было достаточно, настоящих, прирожденных.

А в жилах римлян ни капельки свежей крови от этих опытов с варварами не прибавилось.

Так кончилась и эта попытка ничем.

А жизнь мелела, мелела. Процесс перед революцией начал развиваться с головокружительной быстротой. Становилось все более душно. Слова звучали пустыми звуками. Вера умирала во всех окончательно. Ничего не было оправдано. Война давила сознание. И вместе с тем так мало чувствовалось всеми, что на войне люди умирают.

Как налить, всплыла на поверхность жизни целая плеяда талантливых юношей, собиравшихся в «Бродячей Собаке», позднее в «Привале Комедиантов»¹⁸, одетых всегда чрезвычайно изысканно, читающих очень хорошо написанные, но такие пустозвонные стихи — всех их не перечислишь — Георгий Иванов¹⁹, Ивнев²⁰ — и не вспомнишь — их было десяток, самое меньшее. Да и Игорь Северянин²¹ к ним принадлежал.

Уж и говорить им не о чем.

Отлетела уже душа от старой эры. Гроб был повапленный.

Был еще другой путь в последние годы эры. Путь, не обозначенный таким напряженным исканием, как путь мудрых. Путь более примиренный, более склонявшийся перед лицом грядущего уничтожения. Это путь крайнего эстетизма.

Да и не эстетизм это на самом деле, а просто взгляд такой на мир, когда знаешь, что смотришь в последний раз, когда любовно и точно стараешься запечатлеть каждую подробность уходящего.

Эстетизм этот наш был любовью ко всему: к каждой вещи, к каждому звуку, к каждой мысли, к каждому

движению души человеческой. Осторожно, чтобы не вспугнуть, чтобы не сместить случайных черт, все рассматривалось, все описывалось.

Ведь в последний раз — завтра не будет. Завтра все сместится в хаос и мрак.

И, любя все, хотели эстеты наши изобразить все так, чтобы и в будущем, когда ничего не будет, каждая вещь продолжала бы жить, каждую вещь можно было бы почувствовать, потрогать.

В форме совершенной стремились они изобразить умирающий мир, стремились создать своим творчеством «зеркало вещей», двойник мира.

Поэты делали это с напряженной любовью. Критики, учувшие дух этого настроения, но менее, может быть, любовно, доводили такое отношение к миру до крайних пределов.

Мне помнится собрание в редакции «Аполлона»²². Разбирали стихи Ахматовой. Она сама, быть может, больше всех удивлялась тем открытиям, которые делали в ее строках критики. Она впервые узнавала, что здесь-то следует традициям Пушкина, и кстати, именно таким традициям, которым до сих пор ни один поэт не следовал, что такое-то и такое-то сочетание звуков применено ею, чтобы передать такое-то и такое-то чувство, а данный ритм сознательно избран для передачи определенного настроения.

Непосредственное восприятие было заслонено научностью. Может быть, это во многих отношениях и законно, и правильно, но все же создавалось впечатление, что не современник подходит к современному поэту, а ученые-археологи измеряют, классифицируют, упаковывают в ящики и отсылают в музеи произведения древнего искусства.

Эти опять-таки уносили свои светильники в катакомбы. Распределяли их там по полочкам, чтобы сырость не портила, чтобы ветер не развеял, чтобы не рассыпались прахом до того далекого времени, когда придет новый ценитель и сможет по осколкам нашего искусства воссоздать нашу жизнь.

Из общей линии эстетизма выделился акмеизм.

Акме — вершина, острие. Все поэты, примыкавшие к этому течению, могут быть разделены сообразно с этим двойным значением слова «акме».

Одни из них, подобно Гумилеву²³ или Мандельштаму²⁴, приняли слово «акме» как слово, обозначающее вершину — вершину творчества, стремление к творческому совершенству, к включению в свой сотворенный мир всего

мира, видимого с творческой вершины. Для них акмеизм был крайним утверждением эстетизма.

Другие поэты — главным образом Анна Ахматова и потом все ее бесчисленные подражатели — приняли ближе второе значение «акмэ» — острие.

Оставаясь такими же эстетами, любовно культивируя отображение всего мира — хлыстик, перчатка, каждая мелочь, каждая случайная вещь — внимательно ими описывались, бережно консервировались, они все же считали психологически неизбежным для себя среди этого мира милых вещей на самом острие своего произведения, в минуту его творческого разрешения отобразить то жало, которое все время чувствовали в своей душе, которое повышало любовное отношение к миру.

Точно в светлой и уютной комнате, в которой человек прочно и хорошо обжился, — в окне случайно мелькнул ужас и страх, и на минуту всю комнату полонила жуть темной ночи, в которой совершается неведомое.

И это всегдашнее напоминание о жути, всегдашняя оглядка на окно, которое соединяет комнату с внешним миром, придает особую значимость стихам Ахматовой, увеличивает тайну и смысл тех простых и комнатных вещей и чувств, с которыми она имеет дело.

Смело можно сказать, что это еще новое отражение общего — чувство идущей гибели, стремление или спрятаться от нее, или противопоставить ей свой мир, часто с полным пониманием, что противопоставить-то нечего.

А впрочем, может быть, и верно, что описанные Ахматовой перчатки действительно останутся, будут долго, долго жить, когда всей жизни, во время которой они существовали, уже не будет.

Самым, пожалуй, ярким и завершенным представителем группы эстетов был Гумилев.

Когда читаешь его стихи, насыщенные любовью ко всему, о чем он пишет, насыщенные и любовью к тому, как он пишет, не кажется ли, что любовь эта корнем своим имеет желание запечатлеть все, все вобрать в свою память?

И с другой стороны, каждая вещь, каждое чувство, о котором он говорит, заострено, застыло, стало чувством, бывшим давно, когда-то — теперь его можно изучать, смотреть на него, удивляться красоте его, совершенству формы лучших стихов античного мира. И там, и тут знаешь, что это ты читаешь последнее слово; если воспримешь все до конца, то больше в этой области не удивишься ничему, пройдешь мимо всего спокойно.

И вспоминается, как Гумилев убеждал молодого художника рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьяны, жирафы — все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи.

Вопрос не в творчестве новых вещей, а в композиции уже сотворенного.

Будто ясным ему было, что все элементы, которые можно комбинировать, уже созданы и не стоит тратить сил на поиски новых, это неосуществимо — найти новое, хорошо то, что уже устоялось, что будет красочной деталью целого.

Синдик²⁵ цеха поэтов и его создатель, создатель акмеизма...

Ремесло свое, ремесло поэта не понимал ли он как долг некий: в совершенном творении отобразить мир, чтобы мир этот хотя бы только в совершенных стихах мог продолжать жить — другой жизни ему не было суждено.

И из такого понимания значения роли поэта вырастает то, что единственным достойным делом на земле он считал быть поэтом.

Остальное все принадлежит к умирающей современности; остальное все временно, и сроки ему поставлены краткие — поэт же один творит для грядущего, поэту одному дано избавиться современный мир от смерти и вынести осколки его в будущую жизнь.

Но Гумилев был сам, как индивидуальность, слишком живым человеком, слишком борцом, чтобы безропотно принять смерть и работать только для какого-то неведомого будущего ценителя.

Он все время пытался найти путь, пытался влить кровь в дряхлеющую культуру последних дней.

И искал он этих путей везде. Отсюда и «муза дальних странствий», отсюда и путешествия его по Африке, отсюда мечта о Синдбаде-мореходе, о конквистадорах, наконец, отсюда и ясное, героическое отношение к войне, гордость Георгиями своими солдатскими и, может быть, отсюда и смерть его от чекистских пуль.

Чего он искал?

Еще задолго до войны сам он это формулировал так: «Я буду очень благодарен тому, кто меня напугает».

Что это? Молодая бравада? Стремление пококотничать своим бесстрашием? Желанием быть зачисленным в число славных авантюристов, любимых им героев?

Нет, так кажется только с первого взгляда: ему хватается нечем, потому что и действительно трудно чего-нибудь испугаться среди мертвых вещей, не способных воск-

реснуть и создать что-нибудь новое. Закон их мертвого существования изучен, пропорции измерены, свойства определены. Пусть часто они прекрасны. Но живому хочется живого, хочется не смерти — пусть даже прекрасной, — а бури, риска, пытания.

И в этом отношении он гораздо больше видел, чем видели мудрые. Для него иллюзий не было. Слов старых он не сочетал, чтоб добиться чего-нибудь нового, не искал животворящей веры — слишком ясным для него было, что в этом, данном мире все равно такие попытки обречены на неудачу.

В иных мирах искал он дорог, но и они приводили роковым образом назад, к стене.

В комнате его пахло странно — он говорил, что носорожьим жиром, которым натерты абиссинские картины, — на диванах лежали леопардовые шкуры, на стенах висели доспехи и браслеты из Африки.

Это все трофеи из борьбы с главным врагом, которого он определял так: «Седая, незолотая старина...» Старина ли? Не современность ли?

И странно то, что Гумилев, так трезво определивший бесцельность искания путей к обновлению в пределах нашей культуры, мог наивно мечтать, что какая-то маленькая и бессильная духовно Абиссиния или мертвая африканская пустыня со своими львами и одинокими оазисами может что-то изменить, может оказаться полустанком на пути в новый мир.

Всего вероятнее, что по-настоящему у него этой веры не было — было просто стремление уйти, не присутствовать при разложении жизни.

«Я никогда не встретил дамы,
Той, чье сердце непреклонно»²⁶.

Кому же в мире быть верным после этого? Камни рассыпались в песок, жизнь разлагалась на составные свои части.

Потом появился Гумилев в защитной рубашке, с какой-то цветной кистью, принадлежностью того полка, в котором он служил, с несколькими Георгиевскими крестами...

А на самом деле незолотая старина уходящего мира не изменилась, не нашла новых путей, не сумела напугать неожиданностью Гумилева; человеческая кровь — говорил он в стихах своих — «не святей изумрудного сока трав».

Через кровь, значит, тоже ничего не узнавалось, была

она тоже только одним из явлений, изученным, мертвым фактом в мертвой жизни.

Наконец, последний этап в жизни Гумилева. Чекистская пуля.

Страшно себе представить человека, идущего на смерть. Кажется, что наряду с волной душевной смятенности должна где-то в глубинах его обозначиться очевидная, ясная и простая истина, примиряющая все.

И несмотря на то, что не знаю я последних часов жизни Гумилева, думается мне, что и в этот последний свой путь на земле шел он с таким же чувством полной неудовлетворенности, полной невозможности найти подлинный выход, оживить старый мир, сочетать его с грядущим.

Так и ушел он одною из последних глав книги о том, что было: как росла трава, как мечтали люди о колокольчиках в желтом Китае, о высокой пальме в оазисе, о мудром Гуссейне — обо всем, что обещало вывести на дорогу и привело опять все к той же стене.

Пока мне пришлось касаться тех представителей литературного мира, которые еще были тесно связаны со стариной, с прежней культурой. Они чувствовали смерть этой прежней культуры, многие даже понимали, что лежит перед ними не живое существо, а покойник, но все ассоциации были у них не со смертью, а с тем временем, когда этот покойник был живым и животворящим.

Смерть сделала только их восприятие мира более острым. И верилось им, что еще не все кончено, разложение не коснулось любимого лица, старый мир может воскреснуть, может совершиться чудо.

За ними же шли те, кто видел только разложение. Прахом, гнилью, смрадом распадался старый мир, разлагался на простые элементы, терял связь между ними. И в этот недолгий период его разложения пришли новые люди, которые и отобразили его разъятым на части, лишенным гармонии, испепеленным и развеянным. Последними певцами старого мира были футуристы. Злой иронией над ними звучит их наименование — будущего они не знали и не чуяли даже. Пусть они действительно элементарны, как должен быть элементарным всякий художник первого периода эры, но это еще не делает их действительно принадлежащими к первому периоду новой эры, ведь в последние

годы старого мира, в минуты его умирания и он становится элементарным, распадается на части свои, теряет единство сложного существа.

И именно эта элементарность разложения свойственна и понятна футуристам, о ней говорит Маяковский, ею полно все творчество тех квазиновых и квазимолодых, которые так много кричали в первый период большевистской революции о том, что они именно и есть подлинная новая культура, что они именно и выражают собой народные чаяния в искусстве.

Думаю, что во всех областях теперь это самозванство уже разоблачено. Да и трудно было его скрывать. Слишком ясно, что в мире новом трава должна расти особенно буйно — тут же она совсем перестала расти: из футуризма нет выхода в даль.

Описав все части разложившегося тела, сладострастно просмаковав все тление, которое его окружало, он новых тем для себя не выдумал и не мог выдумать.

Теперь с этим покончено, как бы последние эпигоны футуризма не стремились заявлять о том, что они еще живы, и к каким бы вычурам они не прибегали.

И не только покончено. Можно смело утверждать, что последняя страница истории прошлой эры будет посвящена не футуристам, а тем литературным течениям, которые ему предшествовали. Да оно и понятно. Течения предшествовавшие давали подлинный духовный облик своей эры, завершали свою культуру, выявляли ее особенности — футуризм же, конечно, не имел дела с культурой прошлой эры, а только с теми чисто материальными ее составными частями, которые, выпав из цельного организма, перестали носить на себе его характерные черты.

Этим будет определена быстрая и никому не заметная смерть футуризма; этим определится и то, что он не оставит по себе наследников, да и наследовать-то нечему.

КАК Я БЫЛА ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ*

I

В таком маленьком городке, как А., революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений. «Деятели», перед этим наперегонки стремившиеся добиться благоволения старого правительства и при помощи властей изничтожить друг друга, стали в революционном порядке искать новых возможностей и связей и ими пользоваться во взаимной борьбе.

Пока верхи старались, так сказать, «оседлать» события и заставить революцию послужить им на пользу, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе мещан, но и об интеллигенции — учителях, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных делах и принять участие в общем деле революции. Все двигали ее чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома. Митинги шли в курзале, — как бы официальные, — и около электрической станции, — менее людные и носившие более случайный характер.

На фоне этой новой, путаной и сумбурной жизни старая Городская Дума теряла всякий авторитет. Сильная группа гласных, поддерживавших голову Барзинского — человека очень скомпрометированного, — конечно, не могла взять движение в свои руки. Барзинский принужден был подать в отставку. Дума доживала последние дни. А ей на смену спешно выбирался гражданский комитет.

Положения о выборах гражданского комитета были нам присланы из центра. Голосование должно было быть всеобщим, прямым, равным и тайным. Не привыкшие еще к организации граждане валом валили голосовать. Но так как предварительного сговора о кандидатах почти не было, то каждый голосовал за нескольких ему лично хорошо знакомых соседей и приятелей. В результате на 40 мест

* Мне пришлось многие имена заменить псевдонимами, ибо ряд действующих лиц описываемых событий остались в России. (Примеч. автора.)

членов комитета было более тысячи кандидатов, причем большинство их получало 10—20 голосов. А победителями на этих выборах вышли лица, заранее сталкивавшиеся и успевшие отпечатать листки с наименованием кандидатов. Сделала это группа противников бывшего городского головы. Получился такой результат: граждане, получающие список, вычеркивали из него только тех, кто был для них заведомо неприемлем, и вписывали особо желательных на их место. Но так как каждый вычеркивал и вписывал разных лиц, а безразличные кандидаты не вычеркивались, то в общем почти весь список прошел.

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917 г. В то же время начали организовываться партийные группы. Не помню сейчас, имели ли свою организацию немногочисленные наши кадеты, — кажется, что нет, а большинство их вошло в аполитичный, но достаточно по отношению к революции оппозиционный союз домовладельцев. Народных социалистов было в группе 5—6 человек. Несмотря на это, группа имела значительный вес, так как ее членом был депутат первой Думы выборжец Мягков — человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, абсолютно неуживчивый и желчный. Он чужих мнений переносить не мог и выражал свое неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

Меньшевики насчитывали несколько больше членов — человек до 15. Но их слабость заключалась в том, что эти 15 человек делились на плехановцев, интернационалистов и т. д. Кроме того, лидера у них не было, а все принадлежали к средним интеллигентским кругам — представителей народных масс у них тоже не было.

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социал-революционеров. И в то время, как другие партии страдали от безлюдья, эсэры, насчитывавшие 500 членов, этим именно и ослаблялись.

В партию эсэр повалили все. Шла в нее та масса, о которой я уже упоминала, раньше стоявшая далеко от политики, а тут вдруг почувствовавшая известную психологическую необходимость принять участие в общем деле и стремящаяся найти пути к этому делу через партию, шли лица, желающие забронировать свою мещанскую сущность ярлыком партийной принадлежности, шли из-за моды, шли, наконец, потому, что это было самое левое, самое революционное, проникнутое ненавистью к старому

строю и, значит, способное ломать. И ломать — это было то, что постоянно заполняло все мысли.

Конечно, ни о какой партийной идеологии не приходилось говорить. В минуту уж слишком явных уклонений от общей линии поведения партии приходилось ссылаться на постановления ЦК и на партийную дисциплину. Незначительная часть членов группы — старых работников — почувствовала себя в меньшинстве. На них надо остановиться. Учитель Сомов и его жена — очень принципиальные и честные люди, через которых события перехлестнули сразу, инженер или техник — не помню — Малышев, более или менее способный руководитель партийной массой, штукатур Воронов, раньше увлекавшийся террором, исключительно преданный партии человек, единственный, может быть, настоящий эсэр из всей группы, слесарь Мальков, эсэр, скорее, по воспоминаниям, обуржуазившийся и обросший огромной семьей, — это все группа будущих эсэров, примыкающих к партии.

И будущие левые эсэры — Инджеболи, студент, ловкий и беспринципный человек, демагог, провокатор и предатель, и Арнольд, председатель группы, бывший максималист, каторжанин, благодаря своему прошлому абсолютно и непререкаемо авторитетный среди массы, захваченной революцией, мстительный, неорганизованный, бесчестный и демагог.

И после бурных партийных собраний мне иногда становилось страшно. Ведь это было лето 1917 г. Партия эсэров была фактически самой мощной в России. И авторитетность партийного центра, а отчасти и Временного правительства, покоилась на таких вот, как наша, мелких группах, разбросанных по всей России. Из центра не видно, может быть, а на местах совершенно ясно, что все идет хорошо, пока нет ничего более сильного, чем Временное правительство, но в момент любой, самой незначительной неустойки все здание может рухнуть, потому что фактически на поддержку местных людей рассчитывать не приходится. И крушение будет тем сильнее, чем сильнее сейчас переоценка своих сил.

Летом 1917 г. я уже знала, что наша группа может рассчитывать только на единицы. При мало-мальски сильном толчке большинство — мещанское — просто отойдет, а другая половина уклонится в любой вид максимализма — о большевиках мы тогда мало думали, но теперь-то ясно, что именно большевистские элементы составляли значительную часть нашей группы.

И любопытно расценивалось это все интеллигентами из обывателей. Меня, например, не спрашивали, отчего я состою в партии эсэр, а только недоумевали: «Как вы можете состоять в одной группе с Арнольдом». И на самом деле, это было очень трудно и несосно.

В августе была избрана новая Дума. Выборы шли уже по твердым спискам. Большинство получили эсэры. Но так как у нас не было кандидата, который в смысле опытности мог бы конкурировать с Мягковым, то он и был избран городским головой.

А раньше новой Думы был организован Совет солдатских и рабочих депутатов.

Солдат у нас, правда, не было тогда, кроме сотни пограничной стражи, да и рабочих не было, потому что подавляющее количество наших ремесленников были собственниками своих предприятий и наемных служащих не имели.

Но все же Совет организовался. Каждая партийная группа дала в него по три представителя, профессиональные союзы дали представителей пропорционально своей численности. Председателем Совета был избран некий Мережка, человек, истинную сущность которого я не берусь и сейчас установить. Называл он себя с.-д. В выступлениях своих проявлял тот же уклон к анархическому, по профессии он был частным поверенным и владел многими домами на Охте в Петербурге. Когда он у нас появился, я не знаю, только помню, что он нам доверия не внушал с самого начала. Это чувство еще усилилось после одного случая. Дело в том, что наша буржуазия, раздраженная тем, что первыми лицами в городе стали люди типа Арнольда, Мережки и т. д., начала против них поход, и надо сказать, довольно удачный. Виноградарь Клюй предъявил Мягкову письмо Мережки, из которого с очевидностью явствовало, что до революции он занимался освобождением молодых людей от мобилизации, взимая за это немалую мзду. Мягков официально снесся с Советом. Совет фактически был поставлен в необходимость вынести суждение о деятельности своего представителя.

Опять голоса разделились. В меньшинстве остались старые партийные работники, без различия их партийной принадлежности, и, главным образом, люди интеллигентные. Громадное большинство Совета, люди в политике новые, а часто и вообще малограмотные, под предводительством Арнольда постановило не судить Мережку и вообще оставить это дело без последствия.

Мы настаивали только на разборе дела, не предрешая нашего к нему отношения. Этого требовало элементарное желание охранить Совет от всяческих нареканий. Опять подымалось чувство какой-то безнадежности. Очевидно, народная масса, составлявшая большинство Совета, совершенно по-иному, чем мы, воспринимала даже такие бесспорные вещи, как необходимость общественному деятелю себя реабилитировать в случае брошенных ему обвинений. И вывод, который тогда и не делался, пожалуй, потому, что слишком сильна была вера в правду революции,— но вывод ведь напрашивался сам собой — массе с нами не по пути. Придут люди, которые сумеют развязать ей руки, и тогда она полетится по совершенно другому руслу. В этом была неизбежность большевизма. И в нашем городке, как в капле воды, отражалось все, что делалось в России.

К осени, таким образом, в А. были три законные власти — Городская Дума, Гражданский Комитет и Совет. Очень трудно было разграничить компетенцию этих властей, и на этой почве происходили всяческие трения.

В конце августа я уехала по делам в Москву и Петроград. Там были иные настроения. Основное было то, что и раньше казалось мне неизбежным,— полная оторванность от нашей низовой психологии. И оторванность эта не сознавалась: думали, что на низы именно и опираются. Должна сказать, что настолько это заблуждение было сильно, что, пожив некоторое время в центре, я решила, что мои впечатления являются результатом стечения каких-либо особенно неблагоприятных обстоятельств в А. и это не правило, а исключение.

Теперь, оглядываясь назад и часто слыша упреки по адресу правящей тогда революционной демократии, я всегда считаю, что главным пунктом ее защиты от обвинения в том, что довели дело до большевистского восстания, надо было бы выдвинуть общую настроенность русского народа, которую изменить нельзя было. И этот пункт слишком мало использован, потому что, может быть, и до сих пор лидеры и вожди не учитывают в полной мере, над какой пропастью они стояли и каким подвигом было это стояние — пусть подвигом и не осозанным до конца.

II

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекли меня от жизни города, и только на Рождество, отре-

занная от центров России, я вынуждена была осесть и занялась городскими делами. За это время многое изменилось. Расслоились настроения. Многие в первое время революции, захваченные общим течением, совершенно отошли от политики. Общая подавленность чувствовалась во всех. Оторванность от центров сказывалась в полной невозможности понять и оценить события.

Должна только подчеркнуть, что к концу декабря 1917 г. у нас на весь город был только один большевик Костыркин, сиделец казначейства, бывший городской. К нему относились как к чему-то чрезвычайно комическому и нелепому и, несмотря на общую преднастроенность к развалу, все же не могли понять, каким путем этот развал осуществить.

Жизнь замерла. Ждали событий. На Рождество пришел первый эшелон солдат с кавказского фронта. Так как А. лежит далеко от железной дороги, то и солдаты у нас появились только свои — с детства мне известные Васьки и Мишки. Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное.

Апатия, охватившая местных жителей, давала возможность этим солдатам голыми руками взять власть. Но беда в том, что они великолепно понимали, что брать власть у них некому. И на этом основании ограничивались устройством бесконечных митингов.

Надо сказать, что при ближайшем рассмотрении все эти пророки новой эры за малым исключением показывались людьми очень искренними и совершенно невероятно темными, с таким винегретом в мозгах, что просто, бывало, не знаешь, с какого конца начинать с ними спор. И весь винегрет подкреплялся таким авторитетным тоном, такой уверенностью, что именно так думают Ленин и Троцкий, что просто диву приходилось даваться.

Убедившись, что при полной возможности взять власть в свои руки у них не хватает вождей, солдаты послали за варягами в Новороссийск. В конце января оттуда прибыл некий товарищ Протапов, латыш, еще молодой человек, бывший в ссылке, имеющий известный опыт и талантливый диктатор. Этот неведомый нам человек был призван владеть городом.

Первый же митинг, руководимый им, постановил организовать военно-революционный комитет, будущую полную правную власть города. С удивлением узнали мы, что, кро-

ме нескольких большевиков-солдат, в комитет вошел и наш партийный товарищ Инджебели.

Воронов, Малышев и я в экстренном порядке созвали группу для обсуждения поведения Инджебели.

Группа собралась — увы — теперь состав постоянных собраний не превышал человек 20.

Я была главным обвинителем Инджебели. Я цитировала постановления ЦК о том, что члены партии, входящие в состав руководящих большевистских организаций, тем самым исключаются из партии, я предлагала мирно разойтись с тем, чтобы Инджебели заявил себя левым эсэром — и пусть даже за ним пойдет большинство — лишь бы хоть незначительное число осталось в группе, — от прямых ответов он уклонялся, но заявлял, что считает необходимым присутствие в комитете своих людей, что за Учредительное собрание будет сейчас манифестировать только буржуазия и т. д. Группа молчала. Только Воронов, Малышев и Сомов поддержали меня. Да еще один член группы поразил точным определением разницы партий: «Эсэры говорят — пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными, а большевики говорят — пусть вчерашний раб будет сегодня господином, а господин рабом».

Во всяком случае, собрание наше не дало никаких результатов.

На следующий день я встретила на улице Протапова. Он меня остановил и сказал: «Вы имейте в виду, что о вашем вчерашнем выступлении против в.-р. комитета я уже осведомлен и очень вам советую бросить это — для вас же лучше». На мой недоуменный вопрос, о чем идет речь, он ухмыльнулся и заявил: «Вчера в час ночи Инджебели примчался ко мне и рассказал обо всем, что у вас происходило, прося принять меры против вас. Будьте довольны, что он попал ко мне — я доносчиков не люблю».

Картина была, конечно, совершенно ясной. Наша группа не могла дальше существовать, раз она не могла выбросить из своей среды предателя.

А большевики, организовав в.-р. комитет и охранную роту, начали постепенно забирать всю власть в свои руки. Дума еще держалась. Но под ударом был городской голова Мягков, благодаря тому что личное отношение к нему у всех было отвратительное.

Надо было как-то иначе защищать Думу и противопоставить большевистской политике не брюзжание и желчь

Мягкова, а политику защиты тех ценностей, которыми владел город.

Мне предложили выставить свою кандидатуру на пост товарища городского головы. Я согласилась — тем более что в моем владении должны были быть отделы народного здоровья и образования.

После моего избрания — приблизительно в конце февраля — Мягков подал в отставку. Должна сказать, что если бы я эту отставку, да еще так сразу после моего избрания, предвидела, я бы, всего вероятнее, отказалась от выставления своей кандидатуры. С уходом Мягкова я становилась сразу заместителем городского головы. Вся административная работа, все городские финансы ложились на меня. Но это в тот период не должно было пугать, потому что вся практическая часть работы управы постепенно сводилась на нет. Страшнее и ответственнее было то, что я фактически олицетворяла в себе ненавистную большевикам демократическую власть, что я поставлена одна лицом к лицу с ними. Мои товарищи по Управе не были сильной поддержкой. Малышев начинал леветь и приближался к позиции Инджебели, оставаясь по существу просто порядочнее его, а Зубенко был струсивший обыватель. Дума тоже не давала мне прочного большинства, так как партийная наша фракция явно раскалывалась, а беспартийные, которых было порядочно, относились к моему избранию так, что гласный Стадник был прав, когда заявил: «Що мы наробыли. Голову скинули, тай бабу посадыли, та еще молодую бабу». Сознаю, что я сама была с ним в большой степени согласна. Действительно «наробыли».

Приходилось на свой страх и риск вырабатывать линию поведения. Главными моими задачами были — защитить от полного уничтожения культурные ценности города, способствовать возможно нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и пр. Это были достаточно боевые задачи, создававшие иногда совершенно невозможные положения. А за всем этим шла ежедневная жизнь с ее ежедневными заботами, количество которых, правда, постепенно уменьшалось, так как большевики все прочнее захватывали власть и к нам обращалось все меньше народу.

Городская Дума медленно умирала.

В этот период был создан новый, уже большевистский совет с председателем Протаповым.

В ведение в.р. комитета отошли только всякие воен-

ные дела. Гражданский фронт уже обнаружился, и военная работа у большевиков кипела.

Надо только сказать, что наш большевистский совет имел некоторые особенные черты. Все партийные группы, в том числе и большевики, были в нем представлены на равных началах. Большинство голосов большевикам давали представители солдат и профессиональных союзов. Причем многие из них не были ни большевиками, ни даже большевистски настроенными людьми, а просто будто решили, что время требует от них голосования за большевистские резолюции.

Партийные же люди под влиянием оторванности от центра заняли такую позицию — входить на равных началах во все большевистские учреждения невоенного характера и тем самым получать там большинство — так называемое «взрывание изнутри».

III

Недели через две после моего избрания положение Думы стало настолько двусмысленным, что надо было решаться на какие-либо экстренные меры. Надо было выбрать — или испить чашу унижения до конца и влачить свое существование до тех пор, пока его будут терпеть большевики, или вступить с ними в решительную борьбу, не останавливаясь перед возможными жертвами и будучи уверенными в конечном поражении, или, наконец, сделать красивый жест и сложить с себя полномочия.

У Думы хватило мужества отказаться от первого решения. Для второго не было достаточно сил, и, по существу, гласные не представляли из себя однородную массу, без чего вопрос о борьбе сам по себе отпадал. Остановились на третьем решении. Дума вынесла постановление, что ввиду создавшегося положения, ввиду засилия большевиков она считает ниже своего достоинства продолжение своего существования и на этом основании все гласные слагают с себя полномочия, передав их Управе. Основной задачей, завещаемой Думой Управе, является защита материальных и культурных ценностей, находящихся во владении города, и налаживание мало-мальски возможных нормальных условий жизни граждан.

Причин такому решению было много: и стремление оградить Думу, как учреждение демократическое, от насилия советской власти, и желание выйти из двусмысленного положения при помощи красивого жеста, и полное

отсутствие веры в свои силы, и, наконец, личный страх многих гласных оказаться чрезмерно одиозными перед большевиками.

Как бы то ни было, решение было принято единогласно. Управа не протестовала. Отчасти разношерстный состав гласных не давал нам необходимой поддержки, а отчасти, пожалуй, и на самом деле было легче исполнять думскую программу в небольшом управском составе. Мы были гибче и подвижнее. Мы могли решать каждое конкретное дело, не прибегая к шумным и вызывающим резолюциям.

Обычная управская работа постепенно совершенно исчезла. Всегда полные коридоры Думы пустели. Жизнь пробивала себе иное русло. Наши ежедневные управские заседания носили довольно нелепый характер. Сотни дел прошли в них. И вынося резолюции по этим делам, мы великолепно понимали, что, по существу, все этими резолюциями и ограничивается, потому что исполнительный аппарат ускользал из наших рук.

Сначала это положение заставило меня задуматься о целесообразности моего пребывания на посту городского головы. Я было хотела уйти. Но потом количество дел иного порядка, необходимость противопоставить советской власти хоть что-нибудь и определенная потребность у граждан иметь в лице Управы хоть какую-то защиту заставили меня остаться.

Прежде чем говорить о конкретной работе, которую приходилось вести, я хотела бы указать на одно чрезвычайно любопытное явление, отмеченное тогда многими.

Мое положение было достаточно прочным, и я могла многого добиваться, главным образом потому, что я — женщина. Объяснить это можно различно. На мой взгляд, объясняется это тем, что большевистски настроенная масса в самом факте существования городского головы-женщины видела такую явную революционность, такое сильное отречение от привычек старого режима, что как бы до известной степени самым фактом этим покрывались, с большевистской точки зрения, контрреволюционные мои выступления. Я была, так сказать, порождением революции — и потому со мной надо было считаться.

С другой стороны, мне прощалось многое, что большевики не простили бы ни одному мужчине. Между нами шла известная конкуренция. Если я открыто заявляла, что считаю постановление Совета глупым и доказывала, что я права, им было обидно, что женщина оказалась дальновиднее их, и в этой плоскости шла вся борьба.

И наконец, третьим элементом в их отношениях ко мне была просто уверенность, что я достаточно смела. Не берусь утверждать, что на самом деле это так, но фактически это могло так казаться благодаря тому, что только таким образом можно было работать. Если я в результате какого-нибудь спора с Советом чувствовала, что дело идет к моему аресту, я заявляла: «Я добьюсь, что вы меня арестуете», на что горячий и романтический Протапов кричал: «Никогда. Это означало бы, что мы вас боимся».

Чтобы дать представление о моей работе того времени, я ограничусь перечислением дел, в которых приходилось принимать участие. Многие из них полны подлинного трагизма, но большинство давало материал для анекдотов. Ни о каком плане в работе, разумеется, не могло быть и речи. Приходилось отвечать только на потребность каждого дня.

Самым анекдотическим случаем была история с союзом жен запасных. Он насчитывал до трех тысяч человек. Женщины в огромном большинстве были настроены большевистски. Они вообще имели бы большое значение в жизни города, если бы поддавались хоть в какой-нибудь степени организации.

Помню их первое, еще до большевиков, собрание, на которое первоначально не допускались ни мужчины, ни женщины — не жены запасных. Но после двух часов бесплодного крика по поводу выборов президиума пришлось это строгое правило отменить. В качестве варягов были приглашены я — председательствовать и учитель И. — секретарствовать. Помню, что обращались ко мне: «Мадам председательша», и результаты собрания были все же сумбурные. Эти самые жены запасных получали в начале каждого месяца известное пособие в Управе. Сумма пособия по сравнению с растущей дороговизной была ничтожна и колебалась в зависимости от количества членов семьи. Получали по 22 р. 50 к., по 57 р. 25 к. и т. д. А в казначействе, захваченном уже большевиками, мелких денег почти не было и на все мои требования выдавались тысячерублевые бумажки.

Однажды дело с разменом этих билетов приняло такой оборот, что я не на шутку испугалась разгрома всего управского здания. Женщины требовали мелочи и грозили расправой.

Мне пришла в голову мысль использовать их настроение, чтобы получить мелочь из казначейства. Я вышла к ним и предложила им строиться по десяти в ряд, чтобы

идти в в.-р. комитет с требованием мелочи. Моя грандиозная армия только что начала выстраиваться, когда за мной прибежал служащий звать к телефону: в.-р. комитет, оказывается, узнал уже о мобилизации женщин и просит в срочном порядке распустить их, а кассира прислать в казначейство за мелочью. Таким образом, я победила и кроме того убедилась, что есть способы довольно верные, чтобы проводить свою линию...

Перед своим роспуском Дума рассматривала проект раздачи большого количества земли на окраинах по дешевой цене для постройки на них домов. А., благодаря своей курортной известности, росла быстро. Планы мещан скупались дачниками, а местные жители оказывались бездомными. С возвращением с фронта большого количества солдат вопрос о квартирах встал очень остро, и Дума решила с торгов распродать часть городской земли.

Но митинг, организованный советом, к сожалению, нас предупредил. Он вынес резолюцию о необходимости немедленно приступить к землемерным работам и к немедленной раздаче участков в 150 кв. саженей всем, кто не имеет еще в городе плана. В первую очередь бумажки с номерами участков должны тянуть фронтовики, потом все бездомные. Плата за участок — 25 руб. — столько, сколько стоит землемерная работа. Дума должна санкционировать это решение, потому что если что и изменится в будущем — участок должен быть законно приобретенным. Продавать его нельзя, незастроенные в течение десяти лет участки отходят опять к городу. Кажется, это и все правила.

Дума восстала. Во-первых, она считала, что 150 кв. саженей слишком мало для одного плана и что таким образом мы застроим площадь, почти равную всему городу, совершенно малоценными постройками. А. же принадлежит известная будущность как курорту, и потому о ее благоустройстве надо особенно заботиться. Дума предлагала делать в отведенных местах широкие улицы, большие площади для садов, более обширные планы для школ, сами участки увеличить, сразу же приступить к мощению улиц и к проведению электричества, что займет безработных, вернувшихся с фронта, а для проведения этих работ взимать за каждый участок не по 25 рублей, а по разверстке — что они будут стоить. Гласный сам размечтался даже о городе-саде. Но митинг заявил, что широкие улицы, площади и большие планы слишком удалят крайние участки от города, всяческие удобства

являются буржуазным предрассудком и что гражданам совершенно достаточно 150 сажень. Если Дума не согласна с этим постановлением — пусть пеняет на себя. Дума подчинилась. Этот инцидент был, пожалуй, решающим в вопросе ее самоликвидации. Уж очень все нелепо получалось...

Надо сказать, что анекдоты выходили не всегда по инициативе большевиков. В А., как в тихом городе, далеко от всяческих центров, скопилось очень много беженцев с севера. Сначала они получали откуда-то деньги, потом стали проедать свои вещи, наконец, вещей не осталось. Приходилось приниматься за работу. Интеллигентного труда не было. В Управе лежали десятки прошений на должность учителя. Приходили ко мне ежедневно целыми толпами в поисках заработка. Наконец, организовали «союз трудовой интеллигенции». Представители союза пришли ко мне. Они просили участок городской огородной земли на песках — я обещала. Они просили также всяческих сельскохозяйственных орудий и лошадей — я и на это согласилась. Просили еще картошки и других домашних материалов — тоже согласилась. Тогда обратилась с самой неожиданной просьбой — им нужны деньги, чтобы оплачивать поденных рабочих, так как большинство их работать не может. Эту просьбу я, конечно, удовлетворить не могла. Дело рассыпалось. И только потом союз выделил артель чернорабочих, поденно ходивших перекапывать виноградники. Я видела их на работе. Впереди всегда шел нотариус из Николаева, потом наши местные привычные девчата и далеко сзади — артель. Помню, что я обратила внимание на то, что во время работ у девчат из-за виноградных кустов совершенно не видно лопат, а у интеллигентов все время ручки лопат под кустами. Оказывается, девчата суют в землю лопату наклонно, мелко копают и каждый раз переворачивают значительное пространство земли, подвигаясь вперед более, чем на четверть аршина. Интеллигенты же суют лопату перпендикулярно к поверхности, входит она у них глубоко, поэтому они каждым ударом продвигаются не более, чем на один-два вершка...

Эта приезжая масса страдала невероятным паникерством. Помню, устраивали мы в пользу нашей партийной группы лекцию профессора Сеницына. В день лекции прибежал сначала ко мне, а потом и к Сеницыну один при- сяжный поверенный — беженец с предупреждением, что ему достоверно известно, что лекция будет сорвана, а устроители и лектор арестованы.

Я сначала не поверила ему. Но потом с теми же вестями примчались две дамы. Наученная уже опытом, что с большевиками надо действовать напрямик и кроме того сильно разозленная, я пошла в в.-р. комитет. Там было только несколько солдат, его членов. Не давая возражать себе, я накинулась на одного из них. Я возмущалась тем, что при полном отсутствии у нас культурных развлечений такое полезное начинание, как популярная лекция, встречает к себе дикое отношение большевиков.

В ответ на мою длинную речь смущенный солдат заявил, что они действительно виноваты — до сих пор не взяли билета, — но они думали, что это можно сделать при входе, а пойти собираются все. На этот раз я была посрамлена.

Вообще все мои столкновения с интеллигентным беженством создали уверенность, что среди них крепких людей искать не приходится...

В стремлении оградить нормальную жизнь граждан я наткнулась на то, что в поисках всяческой контрреволюции большевики очень часто тревожили учителей, арестовывали их на несколько дней и тем самым останавливали занятия в школах. В подвале одного училища нашли патроны, в библиотечном шкафу другого училища — глупейшую прокламацию. Надо было как-нибудь прекратить эти поиски и дать возможность детям учиться. Я созвала учительский союз, выяснила ему обстановку и мои задачи и предложила им комбинацию, по которой они воздержатся от лишнего фрондерства, а я перед лицом большевиков беру всю ответственность за их благонадежность на себя. Собственно, по существу, я не рисковала, потому что основным настроением нашего учительства в данный момент была обывательская трусость. А с другой стороны, мой жест произвел на большевиков определенное впечатление. Фраза и жест вообще были у них наивысшими добродетелями.

Но все же некоторые осложнения мне пришлось ликвидировать довольно трудно. Помню одно из них. Ко мне в кабинет пришла учительница с просьбой помочь ей. Муж ее, тоже учитель, встретил на улице двух незнакомых матросов, разговорились. Они назвали себя делегатами черноморского украинского флота. Тогда у нас была сильно распространена легенда о грядущем украинском десанте. Учитель, как на беду, оказался ярым украинцем. Распоясавшись, наговорил им с три короба о наших надеждах на освобождение при помощи украинского флота. Выслушав

все его речи, матросы заявили, что пойдут доносить на него в в.-р. комитет.

С этим делом пришлось повозиться основательно, доказывая комитету, что, во-первых, никакого украинского флота не существует, а во-вторых,— сами эти делегаты лица достаточно недостоверные...

В этот приблизительно срок начал у нас действовать революционный трибунал. Как я уже говорила, идея взрывания власти изнутри была у нас широко развита. На этом основании трибунал организовался из представителей всех партий, по 2 человека от каждой. Такой состав обескровил его с самого начала, и действительно ни одного судебного процесса он не довел до конца, так как суд не мог сговориться. Только по одному делу вынесли общественное порицание и арест на один день. Причем ночью в каталажку (тюрьмы у нас не было) члены трибунала принесли арестованному собственные простыни и подушку...

В этот же период случилось событие, которое потом чуть не кончилось для меня катастрофически.

Митинг постановил реквизировать санатории бывшего городского головы доктора Барзинского. Началось там нечто невообразимое. Тогда более благоразумные из граждан предложили передать заведование санаториями Управе, имеющей для этого дела готовый аппарат. Я колебалась. В реквизиции я, конечно, ни за что не стала бы принимать участия, ни лично, ни от имени Управы, которая на это не имела права. Но нас поставили перед совершившимся фактом. С одной стороны, принять имущество в свое ведение напоминало сохранение заведомо краденой вещи, а с другой — общее положение об охране культурных ценностей, находящихся в городе, диктовало необходимость взять и это дело в свои руки, чтобы не дать возможности разграбить ценное медицинское имущество санатории. И хотя за отказ от этого дела говорило кроме всего и то, что при ликвидации большевиков доктор Барзинский не постесняется обвинить меня в чем угодно, я согласилась от имени Управы временно вступить в заведование санаторией. Мы назначили туда врача и сестер милосердия, по описи приняли все имущество и установили минимальный порядок в пользовании им. Несколько меня подбодрила обращенная ко мне просьба аптекаря Н. принять также в ведение города и аптеку, потому что в противном случае она может быть разгромлена по постановлению какого-нибудь митинга. До сих пор не знаю, как бы я поступила теперь в подобном случае, думаю, что пра-

вильно понятое гражданское мужество и точное следование своей программе защиты культурных ценностей подсказали бы мне опять то же решение...

Еще один характерный случай. В городе на электрической станции кончилась нефть. Я решила поехать в Н. и попытаться раздобыть там нефть. Одновременно со мной выехал солдат Литовкин, председатель продовольственной Управы, занимавший какое-то среднее место между нами и советом.

В Н. местные власти согласились нам отпустить нефть только в обмен на пшеницу. Но условия обмена были совершенно безбожные. Я запротестовала. Литовкин сначала тоже не соглашался, потом вдруг хитро мне подмигнул и стал уступчивее. Я продолжала протестовать. Тогда он вытащил свои советские полномочия, заявил, что я являюсь представителем старого режима, и предложил писать договор. Сначала он по поводу каждого слова начинал спорить, потом стал поглядывать на часы, потом попросил распорядиться заранее выдать ордера на нефть, так как надо нам спешить на поезд, а десятский ждет.

Ордера были выданы. Десятский отправился получать нефть. Условия были составлены.

Тогда Литовкин сорвался, заторопил меня и заявил, что нам надо бежать на поезд — иначе мы опоздаем.

На улице я начала ругать его за уступчивость. Он заявил с хохотом: «Ведь условия не подписаны, нефть-то мы даром получили»...

Трудным моментом в работе были взаимоотношения с отдельными служащими, которые в случае каких-либо недоразумений шли в в.-р. комитет и оттуда возвращались ко мне с приказаниями.

Существовал закон, по которому все мобилизованные и замененные другими служащими по возвращению имели право получать свои старые места. В таком положении был городской садовник Иван, человек скромный и знающий. Но за время его отсутствия его место было занято пьяницей и хулиганом — имени не помню. Все мои попытки водворить Ивана на старую службу разбивались о нежелание его заместителя уйти. Тогда я решила прибегнуть к более серьезным мерам, этот человек обратился за защитой в комитет, и тот ультимативно потребовал от меня не увольнять его. А в частной беседе один из членов комитета говорил, что садовник занимался определенным доносительством на меня и что вопрос об оставлении садовника

стал для комитета вопросом принципиальным. Пришлось долго бороться, прежде чем развязать себе руки...

Этот же закон дал в результате одно из самых трагических событий этого периода. У Управы был свой юрист-консульт — помощник присяжного поверенного Дашкевич. Он был мобилизован и поступил в Московское юнкерское училище. Во время большевистского восстания бежал и оказался в А.

Бывший городской голова назначил его начальником милиции. Когда с приходом большевиков положение Дашкевича пошатнулось, гор. гол. Мягков просил его все же оставаться на своем посту и обещал ему полную поддержку и защиту. Авторитет Мягкова был настолько велик, что Дашкевич не только уверовал в свою прочность, но и стал держать себя достаточно агрессивно.

Я видела, что вопрос, в конце концов, идет о жизни Дашкевича и у нас нет никаких сил, чтобы защитить его. Надо было не обострять этого дела. Управа решила его уволить. Он подчинился, но, во-первых, обиделся, во-вторых, попросил содержания за три месяца вперед. Служил же он месяца два.

С трудом удалось уговорить его в интересах личной его безопасности быть умереннее.

Но через несколько дней он опять явился в Управу с требованием назначить его юрисконсультom, ссылаясь на тот же закон, что и садовник Иван. Юрисконсульт получал у нас вознаграждение из процентов от выигранных дел. В это время все судебные дела стояли. Материальной заинтересованности Дашкевич в этом месте не имел. Но, видно, кто-то настраивал его на фрондерски боевой лад. Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении. Надо сказать, что был он далек от политики, веселый, выпивающий, прожигающий жизнь. Жажды геройства мы в нем раньше не замечали.

Я с ним имела долгий разговор наедине. Вместо назначения юрисконсультom предлагала немедленно скрыться, указывая на безопасное место у виноградарей, предлагала денег и подводу. Для него момент был в достаточной степени критическим, и я была в полной мере о том осведомлена, да и от него ничего не скрыла. Но он с непонятным упорством настаивал на своем.

Может быть, все и обошлось бы благополучно, если бы в это время не прибыла из Н. делегация черноморского флота во главе с пьяным матросом Пирожковым.

Начались повальные обыски. Случайно я узнала о су-

ществовании проскрипционного списка, привезенного матросами. В нем предназначались к потоплению все наши бывшие городские головы, среди них и Барзинский и Мягков, потом Дашкевич, потом и другие лица.

Не только граждане, но и совет был окончательно терроризирован.

Матросы потребовали с совета контрибуцию в 20 тысяч рублей. Совет не хотел давать, но и отказываться не решался. Председатель совета решил созвать митинг и тем самым перенести ответственность на безличную массу граждан.

Я пошла на митинг. До начала, походив между нашими стариками-мещанами, я установила, что давать ни у кого нет желания, но что никто об этом не заявит.

Пришли, наконец, матросы и президиум совета. Председатель доложил о требовании «красы и гордости революции». В зале царило молчание.

Я попросила себе слово. Когда я проходила к трибуне мимо председателя, он остановил меня и шепотом сказал: «Вы полегче. Это вам не мы — не постесняются».

Но я твердо была уверена, что при той опереточной активности, которой тогда были охвачены все большевики, есть способ наверняка с ними разговаривать.

Я подошла к кафедре и ударила кулаком по столу: «Я хозяйин города, и ни копейки вы не получите».

В зале стало еще тише. Председатель Протопов опустил голову. А один из матросов заявил: «Ишь, баба».

Я опять стукнула кулаком: «Я вам не баба, а городской голова».

Тот же матрос уже несколько иным тоном заявил: «Ишь, амазонка».

Я чувствовала, что победа на моей стороне.

Тогда я предложила поставить мое предложение — на голосование. Митинг почти единогласно согласился со мной. В контрибуции было отказано. Любопытно, что матросы хохотали.

Я считала, что успех мой кратковременный, и даже подумывала, не уехать ли мне на несколько дней на виноградники.

Но перед вечером пришло ко мне двое гласных. Они только что узнали о проскрипционном списке, и решили просить меня ввиду утренней удачи попытаться еще раз воздействовать на матросов.

Я чувствовала почти полную невозможность что-либо сделать, но была принуждена согласиться.

Вечером, после заседания совета, я попросила това-

рища Воронова помочь мне, так как не хотела оставаться одна с матросами, и мы повели с ними беседу. Я не помню сейчас, что я говорила. Знаю, что среди шуток моих собеседников фигурировала часто «одна, но хорошая морская ванна». Знаю, что у меня были попытки тоже шутить. Я говорила, что когда придет Корнилов (а о нем у нас стали все чаще и чаще поговаривать), то не кто другой, как я буду их всех от виселицы отстаивать. Были и моменты серьезного разговора. Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем, что они дали мне формальное обещание никого из обозначенных в списке не трогать. Я вернулась домой совершенно разбитая.

А утром узнала, что матросы еще не уехали, но успели арестовать нескольких лиц, и среди них Дашкевич.

Двое из арестованных, видимо, просто в последнюю минуту откупились. А Дашкевич и учитель Резский остались на катере.

Потом катер отчалил. Между А. и Новороссийском Дашкевич и Резкий были потоплены. Тел их не удалось разыскать.

Это трагическое событие заставило меня сильно задуматься. Я решила бросить свою неблагодарную работу.

Кроме того, внешние события окончательно определяли наше положение.

IV

Весь наш юг начинал сильно волноваться развивающимся фронтом гражданской войны. Вначале только глухо упоминалось имя Корнилова. Потом о нем забыли и стали говорить о борьбе с Кубанским Краевым Правительством.

К началу марта разговор принял более конкретный характер. Правительство и Рада оставили Екатеринодар. Началась гражданская война.

Большевики шли на эту войну с легким сердцем — подавляющее количество войск обеспечивало им, казалось, быструю победу.

Даже дошедшие до нас сведения о соединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевистским данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях, а у большевиков — до 70 тысяч бойцов и более 30 орудий.

Кроме того, и в смысле расположения сил преимущества были на стороне большевиков. Они все время попол-

нялись приходящими из Трапезунда в Новороссийск частями, с северо-востока пополнения шли к ним из Закавказья по железным дорогам, с севера центральная власть якобы тоже посылала подкрепления.

Несмотря на недоверие к большевистским источникам, у нас всех все же было чувство, что дело Корнилова обречено. Оставалось совершенно загадочным, на что рассчитывают вожди его. Единственным объяснением казалось, что людям все равно нечего терять и идут они в порыве мужества, отчаяния.

Чуть ли не ежедневно приходили сведения, что Корнилов уже убит. Говорили о том, что кадры его — помимо незначительного количества офицеров — исключительно текинцы и горцы. Вылущить хоть крупницу истины из всего вздора, который приходилось слышать, было очень трудно. Единственное, что не подлежало сомнению, — это самый факт существования фронта гражданской войны.

У нас была произведена мобилизация. Шли довольно безразлично. Образовалась шестая рота, заслужившая потом довольно громкую известность. Кажется, под станицей Полтавской она была введена в бой. Не знаю отчего, но вышла она из боя победительницей и скоро вернулась домой. Солдаты были нагружены награбленным добром. Тащили коров, навьюченных подушками и самоварами. Первая удача очень способствовала упрочению воинственного духа у наших мещан. Второй отряд был организован из добровольцев. Бабы гнали своих мужей воевать.

Двинулось на фронт к станице Афинской человек 150. Дня через четыре вернулись. Было около 80 человек раненых. Добычи не везли. Раненых разместили в санатории.

Утверждаю, что среди них был самый незначительный процент большевистски настроенных людей. Общая масса поддавалась какому-то гипнозу, что вот настало время, когда все возможно, когда грабить и убивать позволительно, когда все вообще расхлесталось. И шли на грабеж и убийство с какой-то непонятной наивностью и невиновностью. В сущности, моральным оправданием до известной степени им было то, что большевики вели их, как стадо баранов, на убой. В ротах было очень мало солдат — основного большевистского кадра. Они предпочитали оставаться в А., оберегать город от местных контрреволюционеров.

А наши мобилизованные мещане рассказывали такие чудеса, что у меня впервые мелькнула мысль о том, что дело Корнилова далеко не безнадежно.

Один контуженый рассказывал, как его огромный снаряд прямо в спину ударил — до сих пор болит отчаянно.

Другой повествовал, как где-то в камышах они окружили Корнилова со всех сторон. С вечера навели на середину кольца всю артиллерию и начали палить. Палили до утра, в полной уверенности, что все, находящиеся в кольце, уже убиты. Утром кинулись в атаку, а в кольце никого не оказалось — Корнилов успел незаметно прорваться.

Была я в эти дни однажды в городской школе. На перемене прислушалась к разговору детей. Один повествовал: «У кадетов диты били, били. Наши их як капусту порубили».

Видимо, неудача второго отряда заставила главарей задуматься. Решили мобилизовать офицеров. Ко мне в Управу пришел брат-офицер и встретился с председателем совета Протаповым, который ему с усмешкой заявил, что вот, мол, решили заставить офицеров советскую власть защищать.

Мой брат спокойно заявил, что он не пойдет.

Протапов закипятился и стал грозить расстрелом.

Брат сказал: «Уж это ваше дело. Меня не касается».

Видимо, Протапов поверил в его твердость и вместе с тем не хотел быть принужденным расстреливать. Когда во время регистрации он по алфавитному списку дошел до фамилии моего брата, то остановился и сказал: «Нет, впрочем, достаточно. Остальные свободны».

Все происходящее тупило нервы, приводило в какое-то странное состояние. Терпеть становилось невыносимо. Теперь, пожалуй, ясно, что вся моя программа охраны культурных и материальных ценностей города была не под силу одному человеку. Но тогда при всякой моей попытке бросить дело являлись различные люди — учителя, врачи, беженцы-интеллигенты — и просили меня остаться до конца. Собственно, они переоценивали мое значение и мои силы, но видна была потребность иметь между собой и властью хоть какой-нибудь буфер, рассчитывать хоть на какую-нибудь защиту.

Наконец, этому был положен предел. В середине апреля Совет постановил упразднить Управу, а членов ее сделать комиссарами — таким образом, я должна была стать комиссаром по народному здравью и народному образованию.

Узнав о своем высоком назначении, я отправилась в Совет народных комиссаров и на заседании заявила, что

мои политические убеждения не позволяют мне быть большевистским комиссаром и что на этом основании я прошу считать меня выбывшей.

К моему удивлению, не кто другой, как мой бывший партийный товарищ Инджебели заявил, что мой способ действия называется саботажем и на этом основании он предлагает Совету отставки мне не давать и силком заставить работать.

Я повторила, что работать не буду.

Выходя из заседания (оно происходило в думском помещении), я встретила сына бывшего гор. гол. Барзинского. Он просил меня ввиду тяжелого материального положения их семьи помочь его отцу в следующем деле. Доктор Барзинский в свое время купил дачный участок у города, но сделка до сих пор не была оформлена. В данный момент он имеет возможность неофициально продать этот участок — 400 кв. саж. за 15 тысяч, — для чего необходима подпись городского головы. И доктор Барзинский прислал своего сына просить меня об этой подписи.

Я спросила, знает ли он, что Управа упразднена и чем я рискую, давая подпись по должности, которая фактически не существует. Он ответил, что знает это и что вообще просит дать подпись задним числом.

В конце концов, это входило в мою программу. Я согласилась.

Чтобы отойти от дел, я на несколько дней уехала в сады.

Вернувшись через три дня, чтобы взять в моем управском столе кое-какие бумаги, в Управе на лестнице я встретила Протапова.

Он заявил мне, что за время моего отсутствия пришло на мое имя письмо из Новороссийска. Он его распечатал и узнал, что это приглашение на эсэровскую губернскую конференцию. На этом основании им уже выдано распоряжение меня из города не выпускать. Глумление начиналось самое явное.

Вместе с Протаповым я вошла в бывший кабинет городского головы. Там оказался какой-то мне незнакомый человек. Протапов познакомил нас, назвав его новороссийским комиссаром труда Худаниным, а меня комиссаром просвещения. Таким образом, в глазах Худанина я смело сойла за большевичку.

Протапов вышел.

Я спросила Худанина, когда он едет обратно в Новороссийск. Оказалось, что через полчаса и на своем комис-

сарском автомобиле, я попросила его взять меня с собой. Он согласился.

Провожать знатного гостя вышло все начальство, т. е. все те, кому было дано распоряжение меня не выпускать. Протапов, видимо, не подозревал о моем намерении и спокойно разговаривал с Худаниным.

В последний момент, когда Худанин уже сидел в машине, я вскочила на подножку и на глазах у всех моих сторожей уехала. Впечатление у них было сильное, но, видимо, не хотели подымать истории перед знатным гостем.

На следующий день в Новороссийске, разыскав нужных мне людей и попав на конференцию, я рассказала всю историю своего путешествия. Видимо, в Новороссийске дело было серьезнее и большевистская власть не носила того опереточного характера, как у нас.

На конференции я была избрана делегатом на 8-й совет партии.

Но до поездки в Москву я решила заехать домой. От железнодорожной станции до А.— 30 верст — пришлось ехать со случайным попутчиком, начальником местного гарнизона Волкорезом.

Это, между прочим, одна из любопытнейших фигур большевизма в провинции.

Человек малограмотный, но с железной волей и энергией, он принял большевизм как некое откровение. После двухчасового совместного путешествия я уже имела возможность точно знать, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых — сначала разочароваться, а потом погибнуть.

И несмотря на всю враждебность мою не только к большевизму, но и к большевикам, при встрече с такими людьми я чувствовала жалость.

Приехали в А. вечером. Добираться на виноградники было поздно, и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы, сестры Т. У нее в комнате мы засиделись долго.

Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв, а потом частая трескотня револьверов. Кто-то вошел и заявил, что это начался обстрел знаменитым украинским флотом.

Вскоре сестру вызвали к телефону. Оттуда она пришла бледная и подавленная. Просили, оказывается, прислать санитаря с носилками. Протапов ранен, а с ним и два брата-гимназиста.

Я вышла позднее других. Улица была безлюдна. В од-

ном только месте встретила двух солдат. Не узнала их, но инстинктивно вынула свой револьвер. Один из солдат сделал то же самое, и мы встретились так в упор, а потом еще долго шли, пятась, с наведенными револьверами.

В доме, где лежали раненые, была страшная суета. У них были совершенно зеленые лица — очевидно, таков был состав взрывчатого вещества в брошенной бомбе. С трудом удалось перенести их в санаторию.

Был вызван врач для извлечения пуль. В то время, как он производил операцию, ворвалась шайка пьяных солдат со штыками наперевес. Все мы были в таком нервном состоянии, что я с доктором начала за штыки их выпихивать.

Протапов умер через полчаса, не приходя в сознание. Один гимназист умер на рассвете. Другого надеялись спасти.

Это была самая дикая и страшная ночь за все время. В санаторию врывались ежеминутно пьяные солдаты, кто-то истерически плакал, доктор и медицинский персонал метались в панике.

К утру начали готовиться к торжественному перенесению тел в залу.

Меня отозвал один солдат, Степанов, очень близкий к Протапову, и сообщил совершенно невероятную вещь.

Оказывается, за мое отсутствие Протапов арестовал троих солдат, причастных к грабёжам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был в.-р. комитет и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова. Во время боя он выпустил все заряды из своего парабеллума, но только ранил одного человека.

Теперь идет вопрос о виновниках убийства. Есть две версии, поддерживаемые военно-рев. комитетом, т. е. организаторами убийства. По одной — в убийстве виноваты ранее арестованные три человека, что хотя фактически и немислимо, зато дает возможность главарям сразу избавиться от опасных свидетелей.

Другая версия — увы — поддерживаемая, главным образом, Инджебели, обвиняла в убийстве контрреволюционеров, — то ли в лице буржуазии, то ли в лице разогнанной Управы, то ли в лице меньшевиков и эсэров.

Но так как фактически все три названные группы были достаточно пассивны, то они были персонифицированы

мною. Инджебели выдвигал версию, что я являюсь если не исполнителем, то организатором убийства.

Нужды нет, что приехала из Новороссийска за полчаса до убийства, нужды нет, что у меня с Протаповым хорошие личные отношения.

После этих предупреждений Степанов скрылся. Я прошла в зал, где стояли два гроба с целой стеной красных знамен над ними.

В ту минуту я не знала, на что решиться.

Вечером на заседании совета обсуждалась кандидатура Инджебели на пост председателя. Он разворачивался вовсю.

Профессор Синицын, как человек, бывший со мной в приятельских отношениях, был арестован первым. Сидел он в одной камере с мнимыми убийцами, и допрашивали его, наведя на него пулемет.

Был созван митинг, вынесший авторитетное суждение по вопросу, кого считать убийцами. Он приговорил арестованных грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед Управой. Но эта смерть прошла незаметно: в те дни никого ничем нельзя было удивить.

Мне же делать было больше нечего. Полулегально я выехала в конце апреля.

V

Полгода, проведенные мною в Москве, и та работа, в которой пришлось принимать участие, не входят в план этих воспоминаний.

Для того лишь, чтобы было понятно дальнейшее, я должна сказать, что, возвращаясь из Москвы домой в октябре 1918 г., я думала, что ни у кого не может быть сомнения в активной антибольшевистской работе той организации, членом которой я состояла. Я ни минуты не предполагала, что за добровольческим фронтом мне грозит какая-нибудь опасность и, устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации, сильно подумывала об отдыхе в своей тихой А.

Но все то, что определяло мою антибольшевистскую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом и, во всяком случае с точки зрения добровольцев, чем-то преступным и подозрительным.

В Екатеринодаре люди, знающие обстановку, советовали мне запросить сначала своих, а потом уже ехать.

Большевики были изгнаны из А. 15-го августа. Генерал Покровский, взяв А., поставил сразу перед Управой виселицу. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить. Среди других доносительством занялся бывший городской голова доктор Барзинский, из этого я могла, конечно, заранее сделать соответственный вывод для себя лично.

Казнили Инджебели. После вынесения приговора он, говорят, валялся в ногах пьяного генерала Борисевича и кричал: «Ваше превосходительство, я верный слуга его величества». Генерал отпихнул его сапогом.

Казнен был Мережко за то, что был председателем совета еще при Временном правительстве. Перед смертью он получил записку от жены: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». Когда потом через несколько месяцев тело его откопали, в руке Мережко нашли эту записку, залитую кровью. Жена его взяла ее и носила потом на груди.

Казнили начальника отряда прапорщика Ержа и помощника его Воронкова. Ерж не был большевиком и во время отступления решил перейти к добровольцам. В коляске он подъехал прямо к помещению городской стражи и был сразу арестован. Судили его и Воронкова вместе с эсэром слесарем Мальковым. Говорить не дали и вынесли смертный приговор. Мальков успел спросить, а как же он. Только тогда пьяные судьи-офицеры заметили, что перед ними не два, а три преступника, и отпустили Малькова на свободу.

Казнили винодела Ж. Его вина заключалась в том, что он поступил на службу в реквизированный большевиками подвал акционерного общества «Капитал».

Казнили солдата Михаила Ш. тоже за службу в этом подвале. Дополнительно его обвинили в краже 200 тысяч у «Капитала». Допытываясь, куда он девал эти деньги, избили его так, что он сошел с ума и сам разбил себе голову об угол печки. Везли его на казнь разбитого, лежащего плашмя на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни.

Казнили матроса Редько. Он перед смертью говорил, что сам бросал офицеров в топки.

Арестное помещение при городской страже полно.

Все эти новости произвели на меня удручающее впечатление.

Но, с одной стороны, полугодовая работа против большевиков как будто обеспечивала меня от чрезмерных кар, а с другой — податься было некуда, и я просто устала.

Со станции позвонила домой. Брат долго не мог поверить, что это я с ним говорю. А потом только спросил: «Зачем ты приехала?»

Моя семья жила еще в саду, в 6 верстах от А. Общее настроение домашних было таково, что я решила не томить их ожиданием и на следующий день отправилась в город и прописалась в адресном столе, что по нашим нравам далеко не обязательно. Во всяком случае, я подчеркнула, что не скрываюсь. А после этого зашла еще к сестре Т., которая служила в гарнизонном госпитале. У нее познакомилась с начальником гарнизона полковником Ткачевым. После этого вернулась домой.

Вечером во дворе раздался какой-то шум. Брат вышел из комнаты и через минуту позвал меня.

Оказывается, приехал взвод конных казаков, чтобы меня арестовать.

Было уже темно, и брат предложил мне использовать его офицерское право и отослать казаков с тем, что на следующее утро он сам доставит меня в каталажку.

Я чувствовала, в каком он неприятном положении, и решила ехать сейчас.

Запрягли подводу. Вокруг скакали казаки с винтовками. Брат вызвался меня проводить. Перед городом он сказал мне только: «Если это кончится плохо, я с почтением своего Георгия и погоны отдам Деникину».

Приехали ночью. В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы. Окно было разбито, и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Ш.

Во время умывания — мылись во дворе — познакомилась со всеми обитателями «дворца комиссаров». Священник С., нектати служивший панихиды и бывший уже без меня комиссаром по бракоразводным делам; комиссар финансов Е., чахоточный молодой человек, служивший писарем у податного инспектора; старик какой-то, обвиненный в том, что для сигнализации большевикам спалил свой собственный хутор, а хутор стоял цел и не-

вредим, и не горел даже; а главное — все убийцы Протапова, все большевики уголовные — они не расстреляны и не очень волнуются за свою судьбу.

На свидание ко мне пускали мать, брата и тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных.

Однажды во время свидания мы услышали дикие крики из соседней камеры: пороли одного только что арестованного. Когда я узнала, кто он, то решила, что вообще его часы сочтены, так как для нас не было тайной, что он один из главных организаторов грабежей и убийца Протапова. Но оказалось, что порют его только за то, что он в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Потом его скоро отпустили.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии.

Начальник контрразведки с глазу на глаз в моей камере советовал мне уговорить мою мать продать ему по дешевой цене вино.

Председатель следственной комиссии был более умелым взяточником.

Брату моему он предложил внести 10 тысяч как залог за меня. Но предлагал он это с глазу на глаз, а брат имел наивность принести деньги при свидетелях. Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал. На допросах я выяснила, что главным свидетелем обвинения по моему делу является доктор Барзинский со своими служащими — с одной стороны, и члены правления общества «Капитал» — с другой. Обвиняют, помимо факта моего невольного комиссарства, в том, что я была инициатором реквизиции санатории и подвалов «Капитала». Дело, по существу, дутое, но явно стремление Барзинского до суда продержать меня в каталажке.

Моя тетка сговорилась с защитниками и ездила для этого в Екатеринодар.

Однажды она сообщила мне, что одна дама, очень близкий для Б. человек, просила ее пригласить защищать меня находящегося в А. московского присяжного поверенного Успенского. Он был гласным Московской Думы от п. с.-р., при большевиках у нас держал себя двусмысленно и был близок с Барзинским.

От этого предложения я решила уклониться.

Мое дело не попало в ближайшую сессию чрезвычайного полевого суда. Суд приехал к нам из Темрюка. Накануне начала заседаний председатель суда пришел в ката-

лажку. После нескольких вопросов, обращенных ко мне, он предложил мне озаботиться внесением трех тысяч залога и обещал выпустить меня на свободу.

Брат отнес ему эти деньги, и вечером я была свободна, дав предварительную расписку о невыезде. Было поздно, и я не могла взять с собой матраса и других вещей, которыми обросла за полуторамесячное сидение. Вечером отмылась от грязи и вшей и на следующее утро должна была идти заканчивать каталажные дела.

Брат с утра уехал в сад. А я пошла в Управу, где должен был происходить суд. Там застала подсудимого Саковича, спокойного, в сюртуке. Он был уверен в своем оправдании. Потом я прошла к знакомым.

Через час было там получено сведение, что Сакович приговорен к смертной казни. Мы все этому не поверили.

Я отправилась на извозчике в каталажку за матрасом. В кордегардию посторонних не пускали, но меня пустили, так как там лежали мои вещи. В углу я увидела Саковича. Он был бледен, галстук съехал набок. Вокруг стояли казаки с винтовками. Я подошла к нему. Он начал быстро говорить: через 24 часа его расстреляют — надо сказать жене, что он хочет есть и курить, главное — курить. Я дала ему свои папиросы и побежала к его жене.

Там я застала полную растерянность. Жена была вне себя, одиннадцатилетняя дочь рыдала, какие-то дамы не знали, что делать.

Я передала его просьбу и предложила немедленно отправить телеграмму Мягкову, который был в Екатеринодаре в качестве члена Рады, Сакович, как и Мягков, был н.-с.

Жена просила меня диктовать ей, так как она ничего не соображала.

Я продиктовала: «Муж приговорен к смертной казни»... В соседней комнате раздался страшный крик. Оказывается, она скрывала от дочери приговор и сказала, что отец приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вернувшись домой, я распечатала записку, полученную моим братом от нашего большого друга. Брата звали в Управу.

Мы с матерью решили пойти туда, так как брат был все еще на винограднике.

В Управе была толпа, но тишина царила подавляющая. Когда я вошла в коридор, предо мной люди расступились и смотрели мне вслед, как обреченной.

Я разыскала нашего друга. Он отвел меня в сторону и

стал говорить: «Зачем вы пришли сюда? Разве вы не понимаете, чем вы рискуете? Вы должны этой же ночью скрыться. Я вам помогу. Не будьте ребенком».

Я ничего не понимала.

Он стал уговаривать мою мать, чтобы она повлияла на меня.

Я просила рассказать, что ему известно. Оказывается, его заверили, что из контрразведки выдано три ордера на арест и заранее известно, что арестованные будут при попытке к бегству убиты. Один ордер на мое имя.

В тот сумасшедший день все это казалось очень вероятным.

Я только догадалась спросить его, кто это ему сказал. Оказывается, присяжный поверенный Успенский. Барзинский будто тоже знает и предупреждал.

Это меня успокоило, но все же вопрос не был разрешен.

Из суда я отправилась прямо к коменданту города и начальнику гарнизона полковнику Ткачеву.

Он меня принял. Я ему предложила арестовать меня немедленно, так как я не хочу теряться по дороге.

Он с удивлением смотрел на меня. Ему о моем аресте ничего не известно. Я же настаивала.

Тогда он вызвал князя Трубецкого, а меня отправил к сестре Т., живущей в том же помещении.

Через двадцать минут он пришел к нам и сообщил сведения из контрразведки: Трубецкой получил донос, что я собираюсь бежать, и принял уже меры, чтобы поймать меня на дороге.

— При этом, конечно, возможны всякие случаи,— добавил полковник Ткачев.

Таким образом, я чуть было не стала жертвой самой отчаянной провокации.

На следующий день суд уехал.

Я начала подготавливаться к своему процессу: списалась с защитником. Он в первую очередь перенес мое дело в Екатеринодарский краевой суд. Там было больше законности и гарантий.

Часто являлись ко мне незнакомые люди, предлагали свои услуги в качестве свидетелей. Какие-то две неизвестные дамы случайно слышали мой спор с Инджебели по вопросу о борьбе с большевиками. Один офицер присутствовал при моем разговоре с аптекарем, один молодой человек, недавно пробравшийся из Москвы, случайно знал, чем я там занималась, и т. д.

Барзинский в свою очередь не останавливался на полпути. Он являлся к моим свидетелям, доказывал им, что я виновата, часто грозил. Таким путем ему удалось нескольких запугать.

Во всех этих приготовлениях очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, председатель какого-то окружного суда, живший в А. в качестве беженца. Он чуть ли не ежедневно являлся к нам и устраивал репетицию суда. Он изображал всех: и председателя, и прокурора, и защитника, и всеми силами старался меня сбить, а я должна была защищаться. Он так и входил в комнату с возгласом: «Подсудимая, ваше имя, возраст» и т. д.

Все это было трогательно и забавно.

VII

Наконец настал день суда — 2-е марта 1919 г. Пришлось предварительно основательно поспорить с защитниками: они, во-первых, настаивали, чтобы я не выступала иначе, как по их просьбе. А кроме того требовали, чтобы я не базировала своей защиты на принадлежности к партии с.-р., так как этот факт сам по себе, с точки зрения суда, достаточно предосудительный. В конце концов я настояла на своем. А они, да и другие адвокаты, предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Судилась я по приказу № 10; наказание по моей статье колебалось от смертной казни до трех рублей штрафа.

Персиду к самому процессу. Главным свидетелем обвинения был доктор Барзинский. Не стоит вспоминать всего, что он говорил. Самым характерным в его выступлении было предъявленное им письмо, полученное им в свое время от одного из служащих санатории. Тот, мол, зашел на огонек на заседание Думы, происходившее под председательством городского головы такой-то (т. е. под моим председательством), — она предложила реквизировать санатории, — под ее давлением Дума приняла это предложение.

Суд, видимо, счел это письмо веским показанием против меня, и защитники тоже зашептались. Они мне предложили самой выяснить, в чем тут дело.

Не входя в оценку обвинения по существу, я просила только судей обратить внимание на то, что такое письмо могло быть инспирировано человеком, хорошо знакомым

с законом о старом самоуправлении и совершенно не знающим закона о демократических Думах. Раньше городской голова был и председателем Думы — именно такую практику знал Барзинский, в период своего главинства. По новому же закону власть исполнительная не смешивается с властью законодательной и председательствовать в Думе может любой гласный, только не член Управы и не городской голова. На этом основании совершенно бесспорно, что я председательствовать на собраниях Думы не могла. Утверждение же обратного — не случайное недоразумение, а практика, слишком хорошо известная человеку, которому это письмо понадобилось. Этим разоблачением была сильно подорвана достоверность показаний Барзинского.

Показания свидетелей защиты были очень характерны, так как ярко рисовали ту панику, в которой находились при большевиках обыватели. Из-за этого общий тон показаний делал мою работу гораздо более героической и рискованной, чем она была на самом деле. Совершенно исчезал момент споров и азарта, которым определялись все соприкосновения с тогдашними большевиками. Часто в известных мне фактах я все же не узнавала себя, до такой степени моя роль в них принимала гипертрофические размеры. Во всяком случае приходилось скорее сдерживать свидетелей, чем развивать их показания.

Прокурор произнес довольно сдержанную речь, а о речах защитников не буду много говорить, потому что один из них дошел до того, что начал проводить параллель между ролью Канта в Кенигсберге под Наполеоном и моей ролью в А. под большевиками.

В последнем слове я просила суд обратить внимание на то, что, будучи членом партии с.-р., я считаю для себя обязательными все партийные постановления. Среди них есть постановление об исключении из партии всех, принимающих активное участие в большевистском государственном строительстве.

Но для суда была, конечно, невероятной работа с.-р. против коммунистов. Во всяком случае точного приказа о привлечении к суду за принадлежность к партии с.-р. у них тоже не было.

В результате суд признал меня виновной, но ввиду наличия смягчающих обстоятельств приговорил меня к двум неделям ареста при гауптвахте.

Потом я попала под амнистию.

Делом моим заинтересовались не только екатеринодар-

ские газеты, но и в советской прессе оно имело отклик. В «Известиях» был отчет о моем процессе. Там моя антибольшевистская работа приняла размеры совершенно гипертрофические.

Тем, собственно, и кончился эпизод моего головинства.

Оглядываясь назад, я все же уверена, что была права, стремясь что-то противопоставить большевистскому натиску. Думаю, что по точному смыслу должности городского головы я должна была это сделать — таков был мой гражданский долг. Думаю, что так я поступила бы, если бы и не было даже некоторых благоприятных обстоятельств в нашей обстановке.

Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой А. ничто не может окончательно заслонить человека.

И стоя только на почве защиты человека, я могла рассчитывать найти нечто человеческое у своих врагов.

А в революции, — тем более в гражданской войне, — самое страшное, что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучаемся видеть деревья — отдельных людей.

ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ В ЛИГЕ НАЦИЙ¹

С 18-го по 26-е мая настоящего года при Лиге Наций работала комиссия, имевшая своим назначением подготовить созыв Международной конференции по вопросам сокращения и ограничения вооружений.

Откуда получила начало эта Комиссия, каков ее состав, какими вопросами она занималась и в какой связи эти вопросы находились с прежними работами Лиги Наций по замирению народов? К каким, наконец, выводам пришла эта Комиссия, носившая столь многообещающее название?

На все эти вопросы русский читатель мог найти лишь очень скудные и разрозненные ответы в ежедневной печати.

Впрочем, читатель, если он пессимистически настроен вообще к вопросу об упразднении войны и к идее установления на земле «вечного» мира, с горькой усмешкой встретит и мой очерк; в лучшем случае он скажет про себя: «Праздная затея интересоваться этими вопросами. Жизнь есть непрестанная борьба, и кто хочет вечного мира —

пусть ускорит свой путь к кладбищу. Там обретается вечный покой...»

В своем прямолинейном отрицании возможности — хотя бы в далеком будущем — упразднения войн такой читатель-скептик не заметит, однако, двух обстоятельств, на которые нам следует обратить его внимание. Во-первых, дело вовсе не идет об упразднении жизненной борьбы вообще, но лишь об исключении из нее приемов и способов борьбы «вооруженной», или попросту международной кулачной расправы. Во-вторых же, в отношении к войне этого недоверчивого читателя надо констатировать все же очень серьезную внутреннюю перемену. В прежнее время по адресу поборников мирного разрешения международных конфликтов он непременно бросил бы целый сноп довольно банальных рассуждений об облагораживающем и даже культурном влиянии войны на народы, их ведущие; теперь же он только горько улыбнется над простодушной, по его мнению, верой собеседника-идеалиста, надеющегося обеспечить народам длительный и благодетельный мир. Не следует ли в этой перемене видеть доказательство того крупного переворота, который произошел в психологии современного человека под влиянием только что выстраданной войны?

Восемь с половиной миллионов героев, положивших свою жизнь в период четырехлетней мировой войны! Свыше 20 миллионов таких же героев, вышедших из войны хотя и живыми, но израненными и искалеченными! Семьдесят, наконец, миллионов людей, коих война оторвала от семей и производительной работы на более или менее долгие сроки! Вы все должны находить себе нравственное удовлетворение не только в том, что доблестно сражались за интересы родных вам стран, но и в том, что своею кровью и страданиями вызвали общее отвращение к тем условиям международной жизни, которые вызвали вас на столь высокую жертвенность!..

Кто может говорить теперь об обновлении человеческой природы и культурных достижениях в результате ведения войны? Резкое падение нравов, почти всеобщее разорение народов и новое нагромождение вопросов, готовых служить материалом для дальнейших вооруженных конфликтов. Вот наследие минувшей войны!

После ее опыта должна быть потеряна и самая вера в возможность коренного разрешения войнами международных конфликтов.

Более сложным, конечно, является ответ на вопрос о

том, насколько вообще достижимо упразднение войн и какими путями следует подходить к разрешению этой трудной проблемы.

Среди прошедших лично через опыт минувшей войны или изучавших бедствия, ею причиненные, и отдающих себе отчет в том, во что может вылиться будущая война, наблюдается довольно заметное течение в пользу необходимости энергичной работы над укреплением и развитием в жизни мирных начал, но сохранились люди, продолжающие отрицать возможность устранения вооруженных столкновений.

К сожалению, современная обстановка в Европе носит на себе следы таких грубых несообразностей, с которыми народное самосознание едва ли может примириться. Очень утешительно будет, если правительствам европейских государств удастся выйти путем мирных соглашений, но для этого потребуются и много времени, и много усилий. При неосторожности же возможна и новая вспышка огня, которая по закону «детонации» легко может превратить Европу в общее пожарище. Ведь современная жизнь народов связана между собою самыми разнообразными нитями, и даже наиболее независимая от материка Англия, убедившись в нецелесообразности политики «блестящего одиночества», ангажировалась во многих общеевропейских и общемировых делах.

Таким образом, внешняя обстановка жизни современной Европы представляет малонадежный фундамент для постройки на нем здания мира. И если бы не сдерживающее сознание всех правительств, что ни одно существующее государство в настоящее время не может выдержать, без риска распада, новой войны современного характера,— кто знает, свидетелями каких событий нам пришлось бы быть!..

Европа продолжает оставаться в состоянии вооружения, и это представляет большую опасность для дела мира. Содержимые в ней под ружьем силы значительно больше прежних. Государства несут тяжелое для них бремя расходов и отвлекают молодежь от производительного труда. Все эти жертвы, будем верить, приносятся в интересах обеспечения себя от нападения, но уже начинает закрадываться сомнение — не опасен ли взятый курс? Нельзя ведь вечно держать наготове отточенный нож! Неизвестно, как и откуда приходит время и для его употребления...

Тому же делу утверждения мира грозят опасности и со стороны внутреннего состояния многих европейских

государств. Экономические и социальные вопросы после минувшей войны обострились до крайности, и то здесь, то там создаются условия, благоприятствующие возникновению гражданских междоусобиц.

Таким образом, первым шагам на трудном пути искания всеобщего мира суждено протекать в крайне неблагоприятной обстановке «вооруженного мира». Обстановка эта требует постоянного отвлечения внимания правительств в сторону для временного умиротворения взбудораженных минувшей войной страстей — внешних и внутренних. Она могла бы серьезно измениться к лучшему, но лишь в том случае, если бы представилась возможность, во-первых, сгладить все еще существующую и живо ощущаемую разницу между победителями и побежденными, а во-вторых, смягчить вопросы, вызывающие внутренние неудовольствия и разногласия в различных государствах. Эти задачи и должны явиться ближайшими для достижения более заметных успехов в деле упрочения мира.

Начало примирения между бывшими военными противниками было положено на всем памятной Лондонской конференции. За этим первым шагом последовал второй — в виде привлечения Германии ко вхождению в Лигу Наций. Надо надеяться, что за этими шагами последуют и другие. Что касается умиротворения внутренних разногласий в различных государствах Европы, то это дело вызывает еще более серьезные трудности, особенно принимая во внимание наличие правительств, не считающихся с желаниями народных масс и навязывающих им свою собственную волю.

Вполне уместно при таких условиях поставить вопрос — своевременно ли задаваться теперь же исканием путей для достижения вечного мира и не будет ли этими исканиями скомпрометирована самая идея такого мира?

Думается, что нет. Международная работа идет всегда очень медленно и с большими заминками. Она требует не только пропуска через ряд инстанций, но часто и параллельно обработки общественного мнения. Проходят годы и многие годы, прежде чем какое-либо отдельное мероприятие примет форму международного трактата, соответствующим образом ратифицированного. Важно поэтому начать полезное дело поскорее, но ввиду природы его идти к цели постепенно, задаваясь достижением промежуточных этапов, соответствующих современной

обстановке. Новая война ведь может обрушиться на человечество даже завтра. Возможности этой никто не отрицает, и, напротив, ее опасаются. Насущный поэтому вопрос, как затруднить возникновение такого бедствия и смягчить его формы. Разве в такой постановке задача не будет строго практической и разве приступ к ее разрешению может быть признан несвоевременным?

К тому же, наряду с неблагоприятными факторами, о которых я упомянула выше, есть и им противоположные. Еще не притуплено горе людей, близких к погибшим в минувшей войне. Наши глаза еще не освобождены от мучительного вида искалеченных героев. Еще там и сям торчат одинокие трубы разрушенных заводов и жилищ. Еще пустуют пространства, представляющие из себя бесформенные груды земли, металла и дерева, живо напоминающие об ужасах былых сражений...

Раны, нанесенные войной, еще не залечены и остро говорят о себе. Неужели допустить возможность новых страданий и нового разорения, да еще в более ужасающих размерах ввиду непрекращающихся успехов военной техники? Нет, невозможно. Надо найти теперь же какие-то сдерживающие преграды.

Надо думать, что таковы были, примерно, мысли создателей Лиги Наций, которой соответственным пактом вручено было великое дело замирения народов. Задачу эту она и несет вот уже седьмой год...

Пойдут ли работы по сокращению и ограничению вооружений здесь намеченным путем или иным — решающего значения это обстоятельство иметь не может. Первые наиболее трудные и рискованные шаги уже пройдены. Будем надеяться, что от искания мира человечество более не отступится...

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

ОБ ОТРЕЧЕНИИ

Всякое отречение есть ложь. Отрекаясь, мы утверждаем подлинную реальность того, что почитаем злом, и, таким образом, воплощаем зло в сущее всяким своим отречением.

Отречение всегда есть путь в плоскости, в двух измерениях, и никогда в нем нет преображения в новое измерение, в нем нет глубинности.

Для того, чтобы найти подлинное, человеку надо уметь не отрекаться, а преображать. Все, что суще, может и должно быть преображено. И только постигая возможность преображения, мы до конца отрицаем и уничтожаем зло.

Таким образом, зло является реальностью, поскольку мы его опознаем как реальность и этим самым, даже отрекаясь от него, воплощаем его как один из возможных путей.

В действительности зло — не путь, а состояние не-преображенности. И в этом смысле степени зла могут быть различны, так же, как различны могут быть степени преобращенности.

Все в исходных точках не преобращено.

Все в пределе преобращаемо.

Из этого нет исключений. Утверждение же исключения — это утверждение равной значимости зла и добра, бога и дьявола и равной их подлинной воплощенности.

О ПУТЯХ

К полноте преобращенного бытия есть много путей. И в полноте преобращенного бытия не может быть пути не приводящего. Все истинно сущие пути ведут к Богу.

В этом смысле пути отречения — не истинно сущие. Они только кружение вокруг центра, а не движение к нему по радиусу.

Истинный подвиг не отрекается, а только преобращает, подымается из степени в степень.

Предопределенность человеческой жизни заключается в ее причастности к одному из многих путей. Человек как бы «талантлив» к данному пути и «бездарен» к другому. И в этом отношении каждому отдельному человеку многие удаленные от него пути в сути своей понятны.

Первый шаг — это органическое угадывание predeterminedного пути. В выборе его нет свободы, как нет свободы в выборе талантливости.

Зато полная свобода в достижении степени преобращения своего пути.

Человек волен оставить его в первоначальной тьме. И человек может усилиями свободной воли, свободного подвига преобразить его до предела святости.

В полноте преобращенного бытия все пути необходимы. Миростроительство осуществляется из всех камней, существующих в жизни.

Но в течении времен, в незавершенности есть дороги, никогда не пересекающиеся, и люди, идущие по ним, никогда не могут встретиться — да и встреча эта им не нужна.

Есть дороги одинокие, не связанные с другими дорогами. И наконец, есть дороги, как бы взаимно обуславливающие свое бытие, необходимые, главным образом, по своей взаимной связанности, по вечным взаимным отдам и получаниям.

И если у человека есть «талант» к одной из таких дорог, то в нем неизбежно полное понимание, полная мера любви по отношению к сопричастной ему дороге.

Взаимно связанные дороги — всегда дороги любви и отдачи.

О ЗЕМЛЕ

Один из таких путей, обусловленный наличием другого пути, — это путь земли.

Пусть идут к истине те, кто земли не знает. И нельзя мерить, легок или тяжел их путь. Но надо, чтобы они, не видя и не зная, благословили землю и не думали, что земля — это то, что нужно преодолеть, от чего нужно отречься.

В исходной точке земля — это мрак. В приближении к Богу — Святая земля, преображенная плоть.

В этом смысле она не исключение, а как все подлинно сущее, она может и должна быть преображена.

Но путь, стоящий под знаком Земли, всегда связан с другим путем, он целиком определяет другой, противоположный путь и целиком определяется им.

Тут вечная отдача и вечное восполнение.

В путях земли нельзя всегда, шаг за шагом, подыматься в гору.

В путях земли минуты падения кажутся последними минутами, и во время принесения жертвы кажется, что эти жертвы не могут быть оправданы. В путях земли нет ровного полета, а есть часто падение в пропасти, из которых надо потом выкарабкиваться, потому что крыльев на этих путях не дано.

Тут очень трудно быть зрячим, потому что все отдается в другой путь и все получается с другого пути, и никогда по этому нельзя мерить, сколько придется отдать и сколько можно получить.

В путях земли много труда и пота.

И трудом, и потом, и слепотой, и жалостью свята земля.

О СТЕПЕНЯХ

От темноты до преображения на всяком пути много степеней.

Когда из недр земли прорастает семя, непреобразенная земля несет свою непреобразующую жертву. Слепая родит слепую жизнь и отдает ее в жертву слепым.

Путь рождающих земных недр и путь прозябающего семени — два смежных пути, взаимно неизбежных и противоположных.

Но это в пределах непреобразенности.

На других путях можно проследить степени преображенности.

На отдельном человеческом пути, например, личность воспринимает себя первоначально как некое органическое единство. Человек утверждает себя как сущее, но не как преображенное сущее.

Следующая ступень будет восприятие себя как некоего психического единства.

По отношению к первоначальному состоянию это уже ступень преображения.

Но по отношению к последующему тут духовная тьма не преодолена, надо искать духовного ощущения себя, своего перевоплощения в следующую ступень преображенности.

Можно найти другой пример в единстве многих.

Первоначальная степень, не просвещенная преображением, — это единство в количестве, механическое сочетание коллектива.

Тут могут быть такие утверждения:

— Мы вместе идем на охоту, потому что только десяток рук, а не одна и две руки, способны осилить силу дикого зверя.

И тут не важно индивидуальное лицо того, кто идет, потому что имеет значение счет рук, кому бы они ни принадлежали.

До известной степени коллектив, осуществляемый сейчас в России, основная сущность большевизма — это тоже исчисление количества: не Иван, Петр, Сидор и так далее... а один, два, три, сто, тысяча!!! Не органическое слияние путей, а механическое их сочетание.

В путях преображения Иван, Петр, Сидор начинают

существовать как органически и свободно слитые воли.

Тут «свободное волеизъявление» не всего народа. Тут гармонически осуществленное народоправство. Количество не соединяется механически, а становится единым целым организмом, народом, имеющим свое единое лицо и включающим в себя отдельные индивидуальные лица. Это не горсть песка коллектива, а крепкое единство всех частей каменной глыбы.

В пределах преобразования, в полноте, там — «где двое или трое во имя мое, там и Я посреди них».

Другими словами, двое или трое не слагаются, как отдельные механические единицы коллектива. Двое или трое срастаются как органическое единство творящего волю народа. А слагаясь, сращаясь, они не остаются равными себе, но приобретают от факта сложения, сращения еще нечто, что в них не заключено, нечто, что по существу больше их, что преобразует и вновь определяет их.

В этих линиях можно искать многих путей. Тут пути нации, пути демократии, пути социализма.

Три эти слова определяют большую или подлинную степень преобразования первоначальной тьмы коллектива. Они возможны лишь при достижении значительного совершенства.

Но, конечно, они не завершение, они не окончательное преобразование, не святость, не полнота последней реальности, не момент слияния с Богом.

И в этом отношении движение мыслится бесконечно долгим и трудно определяемым в отрезке времени наших жизней.

Тут важно только утвердить подлинную реальность, подлинную сущность этих путей.

Кто имеет к ним «талант», тот должен и вправе идти по ним, потому что в пределе они ведут к последней полноте божества.

От камня до духа — все суще и все неизбежно в последней полноте.

О МАТЕРИНСТВЕ

Слепая Земля несла в своих недрах слепое семя. Не она выбирала судьбу свою, и не семя волей своей избрало себе недра земли, а так было назначено им.

И в отдаче своего плода миру Земля принесла не своей волей избранную слепую жертву.

Дальнейшая степень преобразования этого пути — опознавшее себя материнство.

Часть себя становится иной жизнью и остается кровно слита с начальной жизнью.

В материнстве есть воплощенное существование в себе и в другом — в другом, отдельном от себя. Мать, оставаясь в сыне, отдает его всем дорогам земным, всем полям земным, всем страданиям и соблазнам. Мать уже не вольна в судьбе сына и вместе с тем неразрывно связана во всех его путях с ним.

В материнстве предельное ощущение гибели, потому что нет никаких сил вмешаться в сыновний путь.

В материнстве самая великая любовь, потому что оно издала и без возможности что-либо изменить влечется за сыновним путем и как бы со-живет в своей раздельности с этим сыновним путем.

Материнство не имеет крыльев, потому что оно не может решать. Оно только разделяет чужое решение. Оно страдает чужим, вольно избранным страданием, и для него это страдание не вольно избрано, а только неизбежно принято.

Материнство не виновато, но ответственно. И вместе с тем даже в ответственности оно не может выбирать своих решений.

Материнский путь в степенях преобразования может иногда стоять неизмеримо ниже сыновнего пути, но даже и это не избавляет его от ответственности и боли за более преобразенную степень.

Тут все не волею избрано, а до конца неизбежно.

Тут в гибели нет сознания преодоления, в страдании нет ощущения достижения, тут земля молчит, а звери воют, а люди исходят мукой от незавершаемой жалости.

Но ничего, ничего изменить нельзя.

Потому что можно не вести и выводить, а только сопутствовать.

О СЫНОВСТВЕ

Сопутствовать — другому. Земной путь, материнский путь сопряжен с существованием сыновнего.

Для матери нужен сын.

Для воплощения материнства — воплощение сыновства.

Важно знать, есть ли обратная необходимость и обратная зависимость.

Или вышло семя из недр земли, принесла земля миру свой плод — и дальше пути не встретятся.

Или, в другой степени, — отдала мать сына всем дорогам жизни, и больше к ней сын не вернется.

Еще точка — нужно ли и неизбежно ли для сына сопутствие матери.

Все люди — сыновья.

Но есть сыновья, не причастные сыновству. Это те, дорога которых иначе намечена, которые имеют крылья иных путей.

Много плодов земных идет в пищу птицам и зверям, и не все вновь обращаются, как семя, в земные недра.

Но есть люди, причастные сыновству. Это те, кто знает и нуждается в вечном следовании за ними матери, не могущей помочь и бессильной что-либо изменить.

Причастны сыновству те, кто, даже и будучи вождями, всегда остаются ведомыми, те, кто идет не в одиночку, а всегда чувствуют за собой идущих и ведомых им.

Это те, перед которыми впереди не прорубленная дорога, а заросшая лесная чаща.

И наконец, главное — причастные сыновству идут не к победе в легкой борьбе, а могут побеждать только принесением себя в жертву. Плоды же победы — не для них.

Сыновство определяет их подвиг как жертву, как защиту собою, своей кровью и мукой тех, кто стоит за ними.

И вот тут ясно, что самый высокий подъем их в степенях преображенности не исключает, а наоборот, предрешает минуты бессилия, минуты звериного воя, минуты такие, когда они падают на землю и ничего не могут, и хотят только, чтобы чья-то, тоже ничего не могущая изменить рука, прикоснулась к ним, чтобы путем прикосновения к матери они осознали, что они не до конца одиноки, что ничего не меняющая связь их с недрами дает передышку, наполняет новыми силами.

Путь сыновства неизменим — это путь вольно выбранной жертвы. Но он осуществим только при наличии матери, в бессилии своем покрывающей силу сына.

Тут важно только знать, что в своей степенности они могут быть не равноценны. Сын может быть в предельных степенях преображения, в приближении к святости. А мать может быть в это время лишь темными земными недрами.

И несмотря на это, их встреча неизбежна и необходима для обоих. Прикоснувшись к темным земным

недрам, сын получает право на свой подвиг и силу для него.

Никакая «косая сажень в плечах» не может казаться матери чем-то, чего она не может покрыть собой.

БОГОМАТЕРЬ

Не знаю, мог бы кто-нибудь понять святость земли и святость материнского пути, если бы мы не имели его перед глазами в полном его преображении.

Преображение и обожение земли, плоти, матери — это Богоматерь.

Путь Богоматери — не Голгофа. Она не могла даже молить, чтобы ее миновала горькая чаша ее пути. Она могла только принять его любовью, жалостью, неизбежностью, обреченностью.

Это не вольные страдания крестной смерти, а заранее предрешенный и неотвратимый обоюдоострый меч, проходящий в сердце.

Сыновство Христа одновременно сыновство не только Богу, но и Богоматери. Сыновство, преображенное до последней полноты. И в этом сыновстве, в этом подвиге жертвы не было возможности щадить мать, сберечь ее от обоюдоострого меча в сердце.

Богоматерь — преображенная плоть, Святая земля. И защищена она, и обожена она, и искуплена она страданиями сына. Для искупления ее, а в ней всех, он пришел в мир. Путь сыновства — путь жертвы за мать. И путь этот вместе с тем есть путь, пронзающий сердце матери обоюдоострым мечом.

Земля свята своим стоянием у креста. Земля искуплена мечом, ее пронзившем. Но земля не на кресте. Земля не волею своей избирает путь свой, а волею сына, жертвы влекома и идет по пути своему.

Но это все в последних вершинах преображения.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

В осуществлении материнского начала вне пределов отдельных человеческих путей, а в общем историческом раскрытии и пути всего человечества есть та же устремленность к последним пределам преображения, к полноте бытия.

Человечество по сути своей сыновно, и путь человеческий — путь сыновний.

В пределе — преображенному человечеству противостоит Святая земля, изначальная мать его, влекущаяся за его крестным путем и предстоящая ему преображающей Голгофе.

И в пределе — нескончаемая человеческая Голгофа заключена в вечном утверждении себя как богочеловечества. В этом последняя степень преображения пути человеческого, до слияния его с полнотой.

Но в каждое данное время воплощение в богочеловечество не является предельным, всегда лишь в становлении.

Сыновству человечества сопутствует материнское начало земли.

Земля как бы усыновляет божественную ипостась сына и Голгофу человечества, определенную божественной ипостасью богочеловечества, воспринимаемой как обоюдоострый меч, неизбежность которого отворотить нельзя.

При всей реальности понятия «человечество» оно реально не узнаваемо.

При всей реальности понятия земли она тоже не дана физическому постижению.

Поэтому в области постигаемых реальностей надо говорить об отдельных лицах, воплощающих в себе частично или сыновний путь человечества, или материнский путь Святой земли. И только так можно познавать эти два начала.

Путь человеческого сыновства, путь вольно избранной жертвы и искупающей смерти, создаваемой как гибель, как последний предел — удел многих, тех, кто является подлинными отобразителями человечества.

И так же как в отдельных людских путях отображен лик Святой земли, бессильной изменить или отворотить что-либо, но принимающей обоюдоострый меч.

На этих путях люди не идут и вольно избирают жертву, а неизбежно предостоят чужой жертве, не страдают, а страдают, не борются, а облегчают борющихся, не побеждают, а стенают от трудности победы.

Путь этот не крылат. Путь этот никуда будто бы и не выводит, потому что преображается только чужим преображением.

Но в общем миростроительстве так же свят и неизбежен, как путь сыновний, потому что нестерпим был бы сыновний путь, если бы у Голгофы не стояло материнство, если бы не было сознания, что Голгофа воспринимается материнством, как меч, пронзающий душу.

И можно утверждать, что в любое время и в любых степенях преображенности люди материнского пути опознают тех, кто на путях сыновних.

Дальнейшее определяется только одним — нужно ли вот сейчас, вот на этот крик броситься к данному сыну данной матери, или (вернее) — действительно ли истинно и неотвратно она влекома сейчас по крестному пути данного сына.

ВО ВРЕМЕННОМ

В историческом раскрытии богочеловечества, в приближении к состоянию, когда все будет едино, — есть эпохи, стоящие под различными знаками, как бы исключительно посвященные одному из начал, входящих в единое человеческое лицо.

Часто в чередовании их противоположной значимости они как бы отрицают друг друга. И истины, найденные на других путях, тогда объявляются ложью. Тут опять утверждение реальности зла путем отрицания истинности одного из путей к человеческому преображению.

Эпохи, стремящиеся к утверждению человеческих начал в постепенно преображающемся богочеловечестве, часто кощунственно отрекаются от предшествующих эпох, когда человеческая мысль была устремлена к постижению своей причастности Богу.

А эпохи, устремленные к Богу, как бы отрекаются от своего человеческого естества и предают его.

Надо иметь любовь, чтобы видеть в пределе преображения святость обоих естеств.

И, может быть, человечество в течении и восхождении своем было бы рассыпано, раздроблено на части, вечно бы отрекалось от своего вчерашнего дня и этим самым предавало бы себя злу, не могло бы иметь единого лица и единого пути — если бы при всех муках этих попыток отречься, предать, раздробиться и рассыпаться, если бы при всевременном предавании себя вольной смерти — человеческому роду не предстояла бы Мать.

Земля не отречется от человечества и не предаст своего материнства. Земля объединит разрозненные времена муки. Земля оправдает и минуты исканий своих человеческих путей, и минуты, когда дух человеческий приближается к слиянию с Богом.

Потому что минута даже величайшего подвига в душе матери как вопль:

— Боже мой, боже мой, все оставил меня?

РОДИНА И НАРОД

Родина — родившая — Мать — родная земля.

Народ — народившийся — Сын.

Для всех нас мать — из всех земель самая Земля, из всех матерей наша мать, Россия.

И сыновнен путь русского народа по отношению к ней.

Надо только понять, что каждый отдельный человек может быть корнями своими более причастен русскому народу и более причастен России.

Русский народ вольно выбрал сыновнюю гибель свою и взошел на Голгофу. Можно и отдельному человеку вместе с ним восходить на Голгофу и вместе с ним вольно избирать крест свой.

Материнский путь России, страны, земли — мука не вольно избранная, а претерпеваемая. И вместе с ней можно отдельным людям разделять меч Голгофского креста, пронзающий сердце.

Материнская мука России, путь ее преобразования. И в ней она как бы утверждает себя как исконно материнский путь, путь по преимуществу материнский.

Среди мира Россия — всего более земля, Святая земля, мать, удел богородицы.

Народам даны разные пути.

России же дан материнский путь, и в этом нельзя не видеть конечную цель ее служения.

Россия сопутствует, со-страдает миру. Россия не вольным хотением берет, и отрекается, и вновь берет свой крест, а силой своего материнства влекома за миром, за народом своим, пронзена мечом крестной муки человечества. И силой материнства своего может она покрыть сильно.

И вместе с тем мир, народ не может пощадить матери.

ДОЛЖНОЕ

Уже века познается истинное имя России и истинное имя ее народа.

Исторически чередуются различные эпохи.

Они могут быть эпохами, стоящими под знаком материнства. Или эпохами, стоящими под знаком сыновства.

А в сыновстве — в пути не родины, а народа — есть всегда воплощаемое человечество.

Другими словами, соборно-единый русский народ в пределе своем может быть преображен в подлинное богочеловечество.

Но эпохи дробятся и дальше. Иногда народ со всей страстью и мукой посылает своих детей на смерть и на гибель, в тюрьмы и на виселицы для утверждения и раскрытия полноты своего человеческого лика.

Дерзновенность человеческого начала определяет себя как должное. Человеческая справедливость говорит о человеческом равенстве и бьется до смерти против рабства.

Материнство, Родина, Россия сопутствует человеческому пути своего народа, благословляет его и стоит у его креста.

И путь этот человеческий в пределах преображенности свят, неотрицаем, необходим как один из частей преображенного богочеловечества.

И если в чередовании эпох за таким поколением идет другое, отрицающее его, и избирает муки духа, очищение мира личной углубленностью, то в отречении народ раскалывает себя, теряет единый путь, утверждает хаос, зло, отсутствие цельности.

В самом себе каждый истинно сущий путь ведет к полноте божества. И поэтому тут вопрос только в том, в каком пути «талантливо» данное поколение.

Но синтез всех путей, цельность разнородных частей народа, собиране всех подвигов в единый народный подвиг дает материнство.

Родина, родившая, Святая земля, Россия — влеклась раньше за сыновним путем своего народа, когда он утверждал свою человеческую свободу. Она же влечется и сейчас за ним, когда, отрекаясь от человеческой борьбы, от боя за свое человеческое право на равенство и на хлеб, начинает народ мукой воплощать заложенную в нем божественную ипостась.

В пути матери соприкоснутся пути народа. Единой материнской мукой сольются в единый лик две ипостаси народа.

И вместе с тем только жертвой народа может быть искуплена мать.

К этому надо только еще добавить, что в историческом процессе эпохи, отрицающие друг друга, конечно, не единственные.

Есть еще эпохи полноты синтеза.

В конечном счете, только они определяют степень воплощенности богочеловечества.

И эта степень воплощенности для каждого исторического момента определяется сочетанием всех творческих достижений в области человеческой с полной постижения божественной истины.

Да оно и не может быть иначе, потому что в богочеловечестве элемент божественный неподвижен и в приближении к нему происходит только его раскрытие.

Человеческий же элемент всегда творим, в человеческом элементе нет данной заранее полноты, а преобразование его идет через творение новых ценностей.

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1. ДОСТОЕВСКИЙ КАК ХУДОЖНИК И ПСИХОЛОГ

Достоевский — это целый мир. Трудно даже только перечислить темы, которых Достоевский касался в своем творчестве. Пути отдельной человеческой души и пути всего человечества были одинаково предметом его глубочайшего анализа. Жизнь ребенка — Илюшечки в «Братьях Карамазовых» или Нелли в «Униженных и оскорбленных», — последние судьбы людей, — последняя борьба добра и зла в «Легенде о Великом Инквизиторе», — одинаково внимательно изучались и наблюдались им. Как будто дети, униженные и оскорбленные люди, потерявшиеся, «инфернальницы», горячие сердца — каждый отдельный человек — преступник или старец Зосима — жизнью своей раскрывает и подтверждает какую-то великую правду, в нем заложенную, несет в себе подобие Божие, неповторимый лик, данный ему Богом, и в своей неповторимости необходим и неизбежен в общем мировом строительстве.

Это вот возвеличение самого униженного и самого маленького, это есть различие в нем Божественного образа — делает Достоевского одним из величайших знатоков души человеческой и пути человеческого. Без превеличения можно сказать, что явление Достоевского было некой гранью в сознании людей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить на две группы: одни — испытали на себе его влияние, прошли через муку и скорбь, которую он открывает в мире, стали «людьми Достоевского». И если они до конца пошли за его мыслью, то так же, как и он, могут говорить: «Через горнило сомнений моя осанна прошла»... И другие люди — не испытав-

шие влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну. Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее через горнило сомнений. Они — всегда наивнее и проще, чем люди Достоевского, они не коснулись какой-то последней тайны в жизни человека, и им, может быть, легче любить человека, но и легче отпадать от этой любви.

Достоевский был великим русским национальным писателем. Он воплотил в своем творчестве мудрость, свойственную русской душе, он не только воплотил эту мудрость, но и раскрыл нам ее содержание, и, может быть, многое можно объяснить в судьбе русского народа, многое понять и оправдать, если подойти к ней от Достоевского. Русский народ по преимуществу «человек Достоевского». В этом тайна его трудного пути, в этом объяснение, что именно в России Достоевский явился, что именно эту русскую душу был призван оправдать.

Как можно определить значение Достоевского? Кто он? Мыслитель, психолог, сердцеведец, писатель-беллетрист, художник? И то, и другое, и третье — все. И конечно, всегда художник. Высокого мастерства и художественной изобразительности достигает он не только, как принято думать, в одних изображениях характеров и поступков людей. Когда по внутреннему содержанию повествования ему это нужно, он показывает нам с убедительнейшей четкостью и внешний мир, окружающий человека.

Вспомним первые главы «Униженных и оскорбленных», морозный, туманный Петербург, Вознесенский проспект, старого Иеремию Смида и его собаку Азорку. В этих немногих страницах Петербург так показан, что их невольно хочется сравнить с «Медным Всадником» Пушкина. И если мы будем брать последующих писателей, раскрывавших нам тайну Петербурга, то в конечном счете нового в этой тайне они после Достоевского уже не могли открыть — Ремизов¹, Белый² — все они писали именно о петербургской тайне, открытой Достоевским.

И самое удивительное, что мир, окружающий человека, всегда дается Достоевским как часть души этого человека, он неразрывно связан с ней, он многое в ней определяет. Внешний мир становится как бы внутренним пейзажем человеческой души, он в большой степени определяет человеческие поступки.

Не мог Иеремиа Сидт простить свою дочь не только по соображениям психологическим, не только потому, что таковы были его правила, с юности привитые ему, а и от того, что вот в таком именно мрачном и неразгадан-

ном, дымном, морозном Петербурге жил он, от того, что жил в чердачной комнате, похожей на сундук, от того, что обрекал его Петербург на жуткое и тоскливое одиночество, от того, что Петербург, так именно воспринятый, стал не только внешним миром старика, но и его душевным пейзажем, в нем действенным, его побуждающим.

Или вспомним дом Рогожина в «Идиоте». В первый же раз, когда мы читаем об этом мрачном доме на Гороховой, мы уже чувствуем, что он связан с каким-то преступлением, бывшим или будущим; он своею мрачной молчаливостью заранее обрекает человека, живущего в нем, на преступление, он один из пособников преступления.

Парк и пруд в Скворешниках так же заранее приготованы для убийства.

Можно сказать так: внешний мир или совсем не существует в творчестве Достоевского, или не только существует, но и является как бы одушевленным действующим лицом его повествования, пособником и сообщником человека.

Более того — можно проследить, что пособником злого и страшного — преступлений, падений, нищеты — почти всегда является город, — и главным образом, — символ всех городов — Петербург. В городе — и непременно осенью — в слякоть и изморозь, в ветер и дождь — страдают, погибают, грешат, иступленно истребляют себя и себе подобных измученные и жалкие люди — образ и подобие Божие.

Правда же и примирение, покаянные слезы и умиленный восторг обычно бывают в человеческой душе, когда частью ее внутреннего пейзажа оказывается земля. Ранняя весенняя земля, которую иступленно целует Алеша Карамазов, земля, которую целует Раскольников, земные, клейкие листочки Ивана и т. д.

Таков внешний мир у Достоевского.

Но, конечно, центром его и последним смыслом его является человеческая душа. И в ее изображении Достоевский не знает равного себе мастера. Любовно и внимательно ведет он нас по таинственным и спутанным путям человеческим, отыскивает скрытые поводы человеческих поступков, объясняет необъяснимые изгибы души, все мерит и взвешивает, проникает в глубину.

Герои Достоевского очень разнообразны.

И каждый из его героев неповторим и вместе с тем несет на себе общую им всем печать — печать «людей Достоевского».

Нельзя думать, что люди являются в творчестве Дос-

тоевского только для того, чтобы доказать каждый раз какой-либо тезис его философского мирозерцания. Зачастую он показывает нам человека вне всякой философской необходимости в нем. Так он поступает, например, в поразительной главе «Братьев Карамазовых», когда Коля Красоткин идет к Илюшечке. Весь разговор его с базарными торговками, беседа с умным и глупым мужиком, история с гусем — все это рассказывается только потому, что Достоевский попросту любит Колю Красоткина и хочет, чтобы и читатель его тоже полюбил.

Таков маленький рассказ о столетней старухе в «Дневнике писателя», таковы все бесконечные вводные лица в его романах — верующие бабы у старца Зосимы, тот же Иеремя Сmidt и т. д.

2. ЧЕЛОВЕК У ДОСТОЕВСКОГО

Но наряду с этим существует и целый ряд других образов — людей, символизирующих различные философские тезисы. Несмотря на это, они все облечены в плоть и кровь, они не только мыслят и диалектически противостоят друг другу — они живут, страдают, падают, каются, погибают, спасаются. В человеческой душе странным образом сочетал Достоевский положения самой отвлеченной мысли с самыми реальными поступками. Мысли и идеи определяют собою человеческую реальную судьбу. Мысли и идеи становятся движущей силой, уплотняются, врываются в вещество, видоизменяют и смещают его.

В большинстве случаев главные герои Достоевского всегда укоренены в нем самом. В каждом из них доводится до предела какая-либо идея, свойственная ему самому, причем берется она в чистом виде, вне зависимости от других смежных идей, уравнивающих ее губительную исключительность.

Носителями таких идей являются три брата Карамазовых, Катерина Ивановна, Грушенька, Смердяков, Ставрогин, Шатов, оба Верховенские, Кириллов, хромоножка, Елизавета Николаевна, Версиков, князь Мышкин, Настасья Филипповна, Аглая, Раскольников и т. д. и т. д.

Н. Н. Страхов³ говорит о Достоевском: «Все внимание его было устремлено на людей, и он охватывал только их природу и характер. Его интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом и образом их жизни, их чувства и мысли». «Его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства...»

А Н. А. Бердяев так определяет подход Достоевского к человеку: «Он берет человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшего из космического порядка, и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы».

Действительно, Достоевский все время восстает против законов даже благодетельной необходимости. Эту мысль точно выразил герой «Записок из подполья».

«Я нисколько не удивлюсь,— говорит он,— если вдруг ни с того, ни с сего среди всеобщего будущего благополучия возникнет какой-нибудь джентльмен с благородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем:

— А что, господа, не столкнуть ли нам все это благополучие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?»

«Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет. Так человек устроен. И все то от самой пустейшей причины, которую бы, кажется, и помнить не стоит. Именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода».

«Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда положительно должно. Свое собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия,— это-то и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту».

«И отчего это впрямь все эти мудрецы думают, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добровольного хотения? Чего это непременно вообразили они, что человеку надо благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо только одного самостоятельного хотения, чего бы это ни стоило и к чему бы ни привело».

«Есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно, чтобы иметь право пожелать себе даже глупейшего и не быть связанным обязанностью желать только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз, в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может

быть выгоднее всех выгод даже и в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

Это определение человеческого хотения приложимо ко всем событиям в романах Достоевского. Герои его совершенно не связаны благоразумно выгодным хотением. Единственно, что определяет их поступки,— это их личность и их индивидуальность. И почти все катастрофы и срывы, почти все падения и все гибели определяются изнутри волящей человеческой личности, только ей подзаконны, движутся правилами ее своеволия, ни с чем не считаются и ни перед чем не умаляют себя.

Да оно для Достоевского и естественно:

«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Человек пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удерживать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши».

«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятия — так, что даже одна возможность предварительного расчета все остановит, и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это и отвечаю за это, потому что все дело-то человеческое кажется и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик».

«Какая же тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре? Дважды два и без моей воли будет четыре. Такая ли своя воля бывает?»

«И не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и завершить создаваемое здание? И кто знает — может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности достижения? Иначе сказать, в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна

быть не иной что, как дважды два четыре, то есть формула, а дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти».

«И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгоде? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие, может быть, он равно на столько же любит страдание, до страсти?.. Я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Да ведь это единственная причина сознания».

Вот законы, которым подчинены все пути людей Достоевского. Все они стремятся «по своей глупой воле пожить», все они не хотят быть фортепьянными клавишами и штифтиками.

В сущности, основная трагедия, являющаяся вечной темой всех романов Достоевского, это даже не трагедия свободы, а трагедия человеческого своеволия. Человеческое своеволие противопоставляется им мировому порядку — таблице логарифмов и конечной цели, которая по неизбежности дважды два четыре.

И это ничем не обуздываемое своеволие вечно казнит человека. Вот князь Мышкин, детски ясный и чистый, будто бы даже не имеющий страсти к своеволию. Но Достоевский и его ставит вне законов необходимости, выводит из общего миропорядка — и он мечется между Аглаей и Настасьей Филипповной, он не может сделать окончательного выбора, он не может решить, потому что вне его внутренних движений, во внешнем мире, не существует ни одного повода для решения.

Иной человек, необузданный и страстно своевольный, Дмитрий Карамазов. Он все время во власти собственного своеволия. Внешний мир влияет на него лишь как побудительная причина к новым и новым актам своеволия. Так он его и воспринимает, так он воспринимает даже красоту этого вне лежащего мира.

«Красота, — говорит он Алеше, — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог создал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут».

«Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердец человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, что уже с идеалом содомским в душе не отрицает идеала

Мадонны и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как в юные беспорочные годы».

«Красота есть не только страшная и таинственная вещь. Тут диавол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Воистину сердца людей у Достоевского — это вечное поле битвы. И нету никаких сил, чтобы определить, кто победит в них — добро или зло, Бог или диавол.

Человек терзаем своею свободой, человек пронзен идеалом Мадонны и соблазнен идеалом содомским.

Борьбою сил, скрещивающихся в нем, он все время влеком и своевольно переходит от одной из них к другой.

Самый, может быть, жуткий из всех героев Достоевского, самый испепеленный и опустошенный, доведший власть своего своеволия до конца, соединивший в себе теоретическую мысль Ивана Карамазова — «все позволено» — со страстной своевольностью Дмитрия, — Ставрогин — в последнем своем письме пишет так:

«Я пробовал везде мою силу. На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельной. Но к чему приложить эту силу, вот чего никогда я не видел, не вижу и теперь. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущать от этого удовольствие. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы, но я не люблю и не хотел разврата».

Таковы странные и причудливые пути человеческой свободы, часто уводящие человека в безграничное и губительное для него своеволие.

Можно сказать так: человеку для его существования абсолютно необходима свобода. Вне свободы он чувствует себя клавишей, штифтиком. Во имя своей свободы он жертвует благоразумием и выгодой, он ничего не жалеет ни из каких благ, чтобы по своей глупой воле пожить.

И на этом правильном и, по существу, благодатном пути ждет его первый и страшный соблазн. От свободы он переходит к своеволию, он лишается способности окончательного выбора и делается игральным противоположных сил, борющихся в нем.

Этот первый соблазн определяется в конце концов слабостью хотения человека. Если он не умеет так сильно и страстно хотеть идеала Мадонны, чтобы уже ничего кроме него не хотеть и не любить, то с неизбежностью он начинает раздираться двумя хотеньями — содомский идеал рождается в нем и терзает его.

И мечется он между подвигом и преступлением, между

святостью и падением, и сам не знает, что одолеет в душе его.

«Такая минутка» вышла — и в «такой минутке» — единственная причина его поступков, и он никогда не знает заранее, какая она будет — эта минутка.

Но это только первый соблазн.

Кто окажется достаточно сильным и достаточно способным к выбору, того поджидает другой соблазн, может быть, более страшный.

Это соблазн исключительности в выборе.

Многие герои Достоевского, совершившие выбор, победившие в себе растерянность и рассыпанность, подпадают под неограниченную власть совершенного ими выбора.

Идея, к которой они свободно и вольно пришли, которую приняли они сознательным хотением, вдруг начинает развивать в себе какие-то динамические вихри, какую-то силу, которой противостоять нельзя.

Свободный человек становится рабом свободно им выбранной идеи. Он как бы одержим ею. Она владеет им абсолютно и отъединяет его не только от мира фактов, от реальной жизни, но и от мира других идей.

У пошлого, трезвого, расчетливого и, по существу, безыдейного Петра Верховенского — даже у него может проявляться эта одержимость идей, доводящая его до иступления.

Он уверовал в своего Ивана-царевича, за владеющей им идеей он не чувствует уже живого Ставрогина, которого сделал отвлеченной величиной какой-то, которому поработил свое своеволие.

Или Смердяков. Ведь, по существу, единственная причина совершенного им преступления была одержимость идеей — «Бога нет, значит, все позволено». Только для того, чтобы окончательно воплотить эту идею, чтобы подчинить ей все свои поступки, идет он на убийство Федора Павловича.

Такая же одержимость руководит Раскольниковым. Все приносится ей в жертву.

И если, по существу, самоубийство Смердякова объясняется тем, что, выполнив свою единственную жизненную задачу — дерзнув во имя идеи на преступление, — он больше не имеет никакой цели в жизни, то у Раскольникова его покаяние объясняется иначе: жизнь вырвала его из-под непобедимой власти идеи. Он освободился от соблазна одержимости.

А вот еще пример: Кириллов, решившийся на самоубийство, чтобы показать себе — даже не другим — абсолютную правильность своей идеи.

«Человек, который решается убить самого себя, которому будет все равно, — станет богом». И в бессмертии он не верит, так что и богом-то будет себя чувствовать одну-единственную секунду — секунду между выполнением своей идеи и смертью, — даже не секунду, а тысячную долю секунды. Но это не важно: идея, владеющая им безраздельно, должна быть выполнена, не может быть не выполнена, он не может быть свободен от этой идеи, стало быть, он вообще не может быть свободен.

Воля к свободному выбору привела его к рабству идее.

У Достоевского есть изумительное описание самого процесса подпадания человека под власть идеи.

Это разговор Шатова со Ставрогиним.

Шатов иступленно говорит Ставрогину о своей вере в богоносность русского народа.

«Ставрогин спрашивает его:

— Веруете ли вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, верую в ее православие, верую в Тело Христово, я верую, что новое пришествие совершится в России.

— Ну, а в Бога, в Бога?

— Я... я буду веровать в Бога».

В этом коротком диалоге показан весь таинственный процесс, которым человек приводится к одержимости.

Воистину, основное значение в нем играет полное перенапряжение воли. Выбор делается страстной силой хотения. И хотение это бросается в одну точку, на одну идею. Его не хватает ни на что больше, кроме этой идеи.

А вот и предварительный этап, на котором находится человек, не пришедший к моменту выбора. Еще идеал содомский борется с идеалом Мадонны, еще неизвестно, выйдет ли человек на широкую дорогу или попадет на тернистую тропу одержимости. Этап поисков.

«Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж? О чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие. А которые в Бога не веруют, — ну, те об социализме и анархизме заговорят, о переделке всего человечества по

новому штату. Так это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца...»

На этом этапе еще очень трудно определить, какая окончательная судьба этих «русских мальчиков». Выплывет ли кто-либо из них, победит ли соблазны, обступающие со всех сторон путь человеческой свободы, или поддастся им,— уйдет ли в своеволие или рабски подчинится одной какой-либо всепобеждающей и властной идее.

3. СРЕДНИЙ ПУТЬ

Как рисуется Достоевскому судьба человека, предоставленного самому себе?

Вот слова Версилова об этой судьбе:

«Я представляю себе, милый мой, что бой уже кончился, и борьба улеглась. После проклятий, комий грязи и свистков, настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то величавое, зовущее солнце на картине Клода Лоррена⁴, но это был уже как бы последний день человечества».

«И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство».

«Милый мой мальчик, я никогда не мог себе вообразить людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее. И весь великий избыток прежней любви к Тому, Кто был Бессмертие, обратился бы у них на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они бы возлюбили и землю, и жизнь неудержимо. И в той мере, в какой постепенно сознавали свою преходимость и конечность, и уже особенной, уже не прежней любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами — взглядом любовника на возлюбленную».

«Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается. Они работали бы друг для друга и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив».

«Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что каждый на земле ему — как отец и мать».

«Пусть завтра последний день мой,— думал бы каждый, смотря на заходящее солнце,— но все равно я умру, но останутся они, а после них дети их».

«И эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

«О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга: каждый трепетал бы за жизнь и счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, а ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

Да не только, когда «бой кончится и борьба уляжется», а и сейчас зачастую уже встречаются эти настроения у людей.

А о чем думает Дмитрий Карамазов?

«Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитя, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитя?»

По внутреннему своему смыслу эти два отрывка, может быть, гораздо страшнее и трагичнее, чем описание преступлений, срывов, падений, так часто встречающихся у Достоевского.

Срыв, падение, преступление — это нечто, что можно воспринимать как несчастье, не всегда и не со всеми встречающееся. Они — это как бы исключение из нормального хода жизни.

Пусть этих исключений много — во всяком случае за ними можно предполагать где-то таящуюся ясную и правильную жизнь.

Не то в этих отрывках: в них и дана норма жизни, неотвратимая судьба природного человека.

Ничто, ничто не спасет его на природных путях от черной беды, ничто не выведет на путь бессмертия.

Что же ему остается перед лицом хаоса и бессмыслицы, в его бессилии и рассыпанности?

Только одна мучительная жалость к себе подобным, какая-то предсмертная нежность к каждой былинке. Все проходит, все не вечно, все бессмысленно крутится в мире,

своеволие никуда не приводит, крылья никуда не уносят — остается жалость, только щемящая жалость к потерянному в мировом хаосе, в свободном круговращении случая брату-человеку.

И это потому, что «без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, а именно — о бессмертной душе человеческой — ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают».

«Самоубийство при потере идеи бессмертия является совершенной и неизбежной необходимостью для каждого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем уровне над скотом».

«Идея бессмертия — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула, главный источник истины и правильного познания для человечества».

Таким образом, вся человеческая судьба целиком определяется идеей бессмертия. Утрачивая ее, человек утрачивает всякий смысл своего существования. И каждую минуту своей жизни он стоит как бы на грани, как бы на лезвие ножа, — потому что окончательных и неопровержимых доказательств осмысленности жизни у него нет. Он должен все заново и заново сильнейшим напряжением воли верить в это бессмертие, потому что иначе неизбежный срыв, хаос, мрак.

Вот как это бывает:

«Иной добрейший человек как-то вдруг может сделать себя омерзительнейшим безобразником и преступником — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни».

«Но зато с такой же силой русский человек спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда идти уже больше некуда».

«И особенно характерно, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее первого порыва, порыва отрицания и саморазрушения».

Дальше нам придется более подробно коснуться взгляда Достоевского на русского человека. Сейчас необходимо только проследить в этих словах путь человеческой души, которая всегда стоит перед хаосом, которая всегда может сделаться «омерзительнейшим безобразником и

преступником, потому что предоставлена свободе сомнений и силе своеволия.

Но не будем даже говорить о безобразниках и преступниках. Посмотрим, куда приводит природный человеческий путь человека, ищущего правду и не желающего безобразия и преступления.

Может быть, наиболее ярким выразителем такого окончательного чисто человеческого пути является Иван Карамазов. Он знает все соблазны, лежащие на нем, он в высшей степени интеллектуален, он доводит все свои положения до последнего вывода, до логического конца. И даже эмоциональное начало, так же свойственное ему, по существу, подогревается и определяется его интеллектом. Мысли и формулы заставляют его волноваться и тревожиться. Логические построения приводят к практическим действиям.

Он не одержим одной какой-либо идеей, как Кириллов.

В нем, напротив, собраны все идеи, которые может вместить человек, он одержим «человечностью», «эвклидовым умом» человечества.

И на нем можно изучать, куда эти идеи приводят человека.

Все взвесив и все поняв, приходит он к выводу:

«В окончательном результате мира этого Божьяго не принимаю, и хотя и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, а мира, им созданного, мира-то Божьяго не принимаю и не могу согласиться принять».

«Оговарюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и изгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусное измышление малосильного, маленького, как атом, человеческого эвклидова ума, что наконец в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится что-то драгоценное, что его хватит на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только можно было бы простить, но и оправдать все, что случилось с людьми,— пусть это все будет и явится, но я-то всего этого не принимаю и не хочу принять».

«Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями своими унавозить какую-то будущую гармонию».

«Если все должны страдать, чтобы страданиями купить

вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем не понятно, для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в матерьял и унавозили для кого-то будущую гармонию?»

«От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы только одного того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами к Боженке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии».

Тут уже у Ивана Карамазова его осанна не смогла пройти через горнило сомнений, не выдержала этих сомнений — почтительнейше вернул он свой билет на Царствие Небесное Богу.

Он принял бунт, отказался от гармонии во имя человеческого хаоса, во имя неискупленной слезинки ребенка.

Иначе — он утвердил бессмыслицу, как смысл, отказался от познания истины.

«Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?»

Тут окончательный предел человеческому пути. Вместе с отказом от добра отказ от зла. Все грани разрушаются, все смещается, все проваливается в хаос.

После этого «все позволено». И вместе с тем самые непомерные дерзания, самые великие подвиги, вольно избранные преступления — Смердяков, Кириллов, Раскольников — в свою очередь никуда не приводят.

Все позволено, но и все бессмысленно. Все позволено, потому что в хаосе любая песчинка может вольно избирать любое направление для своего движения, и это избранное направление ничего не изменит в общем хаосе, никуда ее не выведет и ничего не организует в гармонию.

«Все позволено», потому что никто не в силах изменить первоначальный обидный комизм человеческого существования.

Так приводит Достоевский человечество рассуждениями Ивана Карамазова к последней грани, упирает его в хаос.

Что ж? Теперь, когда раскрыта эта тайна гордого «все позволено», когда обнаружено, что тут проявляется лишь человеческое бессилие и рассыпанность, — что же делать людям? Какую жалостью пожалеть друг друга? Как изменить свое безысходное сиротство?

Тут можно только «встречаясь смотреть друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах этих будет любовь и грусть».

И вот перед лицом этого хаоса, окруженные со всех сторон бессмысленным и враждебным миром, понявшие свое собственное бессилие, потерявшие веру в гармонию и вернувшие свой билет Богу,— люди могут только стремиться к своему человеческому объединению.

Это знает и Великий Инквизитор.

Он говорит:

«Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов и великих историй, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирного единения людей».

«Великие завоеватели, Тимур и Чингисхан, пролетели, как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению».

Раньше человечество делало это бессознательно. Теперь покров с тайны снят. Предоставленное самому себе, человечество поняло, что ему не на кого уповать, оторвалось от Бога, прокляло хаос и бессмыслицу мира — и стремится сплотиться, чтобы вместе смотреть, как потухает солнце вселенной.

Таким образом, последний вывод Достоевского о судьбе человечества, предоставленного самому себе, очень точен: оно не в силах нести проклятия своего своеволия и не в силах жить в бессмыслице вселенной. Оно идет к гибели и проникнуто мучительной жалостью друг к другу перед лицом этой неотвратимой гибели.

4. ПУТИ ИНКВИЗИТОРА

Но на самом деле в эмпирической действительности человечество не предоставлено самому себе. Есть две силы, которые все время ведут за него борьбу, и люди имеют возможность сделать между ними выбор, прибегнуть к помощи одной из них.

В самом начале современной истории произошел первый бой между этими двумя силами:

«Быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской Церкви».

«Но она была гонима, идеал создавался под землю, а над ним поверх земли тоже создалось огромное здание, громадный муравейник, древняя Римская Империя, тоже являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственного стремления древнего мира, являлся человекобог. Империя сама воплощалась, как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нравственным стремлениям древнего мира».

«Но муравейник не заключился,— он был подкопан Церковью. Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые и могли только существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский⁵— Христа».

«Явился компромисс: Империя приняла христианство, а Церковь римское право и государство».

«Малая часть Церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю работу».

В этом столкновении Рима и христианства определились и смешались две новые силы, которым надлежит определить собою пути человечества. За человечество они ведут бой.

И Достоевскому кажется несомненным, что «Рим и его мечта» легче для восприятия измученного человечества, что соблазны его исключительно сильно владеют человеческими умами. Вместе с тем, этот путь есть окончательный путь греховной гибели, утери человечеством своего лица, утверждение власти Антихристовой, попрание заветов Христа.

Вот он, последний и самый страшный соблазн, который подстерегает человечество в его целом.

Меняя свое обличье и видоизменяясь на протяжении веков, это противоборствующее Христу начало остается во внутренней сущности своей неизменно. В веках оно руководствуемо одним и тем же принципом и только разностью своих обличий применяется к различным потребностям людей.

Наиболее точно определил Достоевский этот соблазн в «Легенде о Великом Инквизиторе» — может быть, самой гениальной из всего, что он создал.

Тут он поставил лицом к лицу две силы — Христа и Антихриста, Церковь и Рим.

Рим не в древнем обличии своем, Рим не Аполлона Бельведерского, а средневековый Рим инквизиции и «великолепных аутодафе»⁶. Но сущность его та же, ве-

ковечная, неизменная, сущность его в том, что «мы не с Тобой, а с ним».

И Рим обличает Христа.

Обличая Христа, он говорит о своей языческой, антихристовой правде, он говорит о том, какими путями неуклонно ведет он человечество, какими соблазнами соблазняет его.

На путях этих соблазнов «все будут счастливы,— говорит Великий Инквизитор,— все миллионы людей».

«Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы».

«Мы заставим их и работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором и невинными плясками. О, мы разрешим им и грех — они слабы и бессильны».

«Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех, у нас все будут счастливы. Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей».

Вот тайна соблазна. Свобода, доведенная человечеством до своеволия, стала ему уже непосильным бременем, от которого оно все же отказаться не может. Великий Инквизитор знает это и учит свободе в отказе от нее.

«Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы».

«А видишь ли ты камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее».

«Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться перед тобою бесспорно,— знамя хлеба земного,— и отверг во имя свободы и хлеба небесного».

«Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительней, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».

«Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие, даже смерть, человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?»

«Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам

людям, а потому поступил, как бы не любя их вовсе».

«Ты не сошел с креста, потому что не хотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной, жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим».

«Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо конечно они невольники, хотя и созданные бунтовщиками».

«Столь уважая человека, ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком многого от него потребовал. Уважая его менее, от него и потребовал бы менее. И это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его».

«Он слаб и подл».

«Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов — а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто ж и впрямь приходил Ты к избранным и для избранных?»

«Неужели мы не любим человечество, столь смиренно сознавая его бессилие и любовно облегчив его ношу?»

«Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого — вместе немислимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собой».

«Убедятся тоже, что не могут никогда быть и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики».

«Ты обещал им хлеб небесный. Но может ли он сравняться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного пойдут тысячи, десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?»

«Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных?»

«Нет, — нам дороги — слабые».

«Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня».

«Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобой».

«Свобода их веры Тебе была дороже всего».

«Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея в руководство Твой образ лишь перед собою».

«Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться».

Для Великого Инквизитора кажется несомненным, что «надо уйти от гордых и воротиться к смиренным для счастья этих смиренных».

И для этого существует путь, давно указанный:

«В искушениях предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на земле».

«Ты исполнил бы все, что ищет человек на земле, т. е. — перед кем преклониться, кому вручить совесть, каким образом соединиться наконец всем в бесспорный, общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третья и последнее мучение людей».

Инквизитор точно и до конца определил тот соблазн, которым он хочет вывести человечество из тупика своеволия и подчинить себе.

Отуманенное своеволием человечество должно отказаться не только от него, но вместе с ним и от подлинной свободы, — оно должно вручить свою совесть немногим избранным.

Эти немногие — они поднимут на свои плечи грехи человечества, они будут достаточно сильны, чтобы нести на себе ответственность за судьбу человечества, — и вместе с тем они — и единственно они одни — будут несчастны.

Вся же масса людей, отрекшись от свободы, от выбора и от смысла, получит беспечальное счастье муравейника.

Таким образом, в душе Инквизитора восторжествовал идеал принудительного счастья, некогда начавшего борьбу с вольным путем Христа.

Для самого Инквизитора его путь — уже не природный и естественный путь человечества — это путь человекобога, путь немногих избранных, путь верных слуг антихристовых, которым надлежит победить природное челове-

чество и закрыть перед ним дорогу к благодати Христовой.

Но не только в Инквизиторе, не только в Римском Католичестве Достоевский усматривает воскресшую идею древнего Рима и римского благополучного муравейника.

Вот его мысли о французском социализме его времени, проникнутом идеями коллективизма:

«Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих,— все еще есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих — *liberté, fraternité, égalité ou la mort* — то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать *liberté, égalité, fraternité* — католическую, его слогом, его духом,— настоящим слогом и духом папы средневековья».

«Самый теперешний социализм французский есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое последствие, вырабатывающееся веками».

«Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человека, идея, еще от древнего Рима идущая, а потом всецело в католичестве сохранившаяся».

Таким образом, общее между всеми проявлениями этой антихристовой идеи Достоевским найдено.

Насильственное объединение, т. е. коммуна (*compellege intrare*).

В различных облициях он увидел основное — начало насильственности. Главное противоборствующее Христу начало — это насильственность в противовес свободному избранию.

Продолжим первоначальную схему Достоевского: человечество, в свободе своей пришедшее к своеволию и не сумевшее осуществить правильного выбора, не имеющее дара выбора, утомленное бременем ответственности и свободы, стоит перед соблазном насильственного превращения его в рабство.

«*Ou la mort*» — под таким девизом приводится оно ко всеобщему благополучию.

И для окончательного определения этого пути Достоев-

ский повествует нам о соблазнительной и крайней теории Шигалева.

Теория проста:

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — говорит Шигалев.

Что это? Свойственная всем временам социальная утопия? Фантастический, полунаучный проект устройства человечества по новым штатам?

Достоевский иначе определяет значение таких теорий.

Это «не есть только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю».

Это весьма своеобразная религия, и поэтому не мудрено, что «Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то, что когда-нибудь и по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так эдак послезавтра утром ровно в двадцать пять минут одиннадцатого».

Фанатически, с чисто религиозным пафосом строит Шигалев свою систему. Он доводит дело Великого Инквизитора до конца. Великое уравнение — насильственное и тем спасительное — кажется ему единственным разрешением вопроса.

Петр Верховенский так говорит о его теории:

«Горы сравнять — хорошая мысль; не смешная. Не надо образования — довольно науки. И без науки хватит матерьялу на тысячу лет, но надо устроить послушание».

«Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, — вот уже желанье собственности».

«Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, доносы. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения придушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».

«Необходимо лишь необходимое, — вот девиз земного шара отселе».

«Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители».

«Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все начинают вдруг поедать друг друга до известной черты, единственно,

чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое».

«Каждый принадлежит всем, и все каждому. Все рабы и в рабстве равны».

«Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей».

В виде конечного разрешения вопроса Шигалев предлагает «разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо, безграничным повиновением достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать».

«Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство».

Так продолжает Шигалев идею Великого Инквизитора.

Собственно, у Достоевского тут много вариантов. Может быть много различных комбинаций этих основных элементов.

В корне лежит одно — Достоевский пишет о Чернышевском!

«Вы действительно страдали, — не по бурлаке собственно, — а так сказать по общебурлаке. Любить общечеловека значит наверное уже презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя подлинного человека».

Другими словами — это путь предания человеческой личности, путь измены человеческой свободе.

Что же касается вариантов на этом пути, то вот они: с одной стороны Верховенский и его учение чести:

«— В сущности, наше учение есть отрицание чести. И откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно.

— Право на бесчестие, — восклицает на это Ставрогин, — да это все к нам прибегут, ни один там не останется.

— Самая главная сила, цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила. И кто это работал, кто этот миленький трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают».

А вот другой вариант, по существу более трагический. Разговор того же Ставрогина с Кирилловым.

Кириллов исступленно утверждает:

«— Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно,— жить или не жить,— тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот Бог не будет».

И дальше:

«— Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Время вдруг остановится и будет вечно. Мир закончит человекобог.

— Богочеловек?— переспрашивает Ставрогин.

— Человекобог, в этом разница,— отвечает Кириллов».

Да, в этом разница. В этом смысл всего соблазна. Выход на пути Великого Инквизитора найден — это *уничтожение*.

Собственно, Достоевский до конца проанализировал этот путь. Все возможные извивы его и уклонения, все встречающиеся на нем искушения он показал нам.

Вот оно — «горнило сомнений», через которое он провёл свою осанну.

Какова же эта осанна? Где же правильный и истинный путь, лежащий перед человечеством?

5. ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ. ИСТИННАЯ СВОБОДА

Путь гибели — широк. Не только широк он, но и многими отдельными соблазнами может искушать он человека. Преодолев один какой-нибудь первоначальный соблазн, человек не может еще быть уверен, что преодолеет следующий.

Узок путь спасения и един. Трудно распознать его и пойти по нему.

Достоевский, конечно, знает его и уверен в том, что не ошибается. Но вместе с тем его единственность и какая-то невоплотимость в жизни делает невозможным окончательное определение его. В то время, как о путях соблазна он пишет точными словами, доводит определение их почти до математических формул — путь спасения дается им в более призрачном виде, скорее, в виде лирических излияний, в виде почти невоплощенных образов.

И может быть, еще труднее и невозможнее было бы для него показать этот путь спасения, если бы он с удивительной чуткостью не подметил некоторых почти незаметных переходов между путями гибели и спасения. При всем его резко отрицательном отношении к той *одержимости*, которая губит человека, он все же увидел таящуюся в ней основу и словами старца Зосимы выразил ее:

«Воистину у них мечтательная фантазия более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлечший меч погибнет мечом. Если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле».

В этих словах точно обозначено различие в двух путях — пути гибели и пути спасения. На пути гибели те, кто «отвергнув Христа, мыслят устроиться справедливо». Спасение же только со Христом.

Окончателен ли этот путь гибели? Нету ли с него возврата? Достоевский устами старца Зосимы утверждает, что, несмотря на весь его ужас, он не окончателен. Залог возврата таится в самой душе человеческой, в которой правда не истребима!

«Ибо и отрехшиеся от христианства, и бунтующие против него в существе своем сами того же Христова облика суть, таковыми же и остались».

Эти слова надо раскрыть до конца, потому что в правильном их понимании единственная возможность понять, отчего, несмотря ни на что, осанна Достоевского сумела пройти через горнило испытаний.

В них все соблазны, все падения есть нечто, что претерпевает человеческая душа, есть некоторые внешние факторы, толкающие ее к гибели, закрывающие от нее свет и истину, но никогда, вплоть до самого момента гибели, они не есть внутренние свойства души, окончательно от нее неотделимые. Душа всегда есть и остается Христова облика. Человек всегда есть и остается образом и подобием Божиим. Отвержение же и богохульство кажутся Достоевскому как бы внешними одеждами души, как бы теснинами, через которые проводит ее жизнь.

Никто у него до конца не отвержен, каждый может в какую-то минуту прозреть и обратиться, каждый Савл может стать Павлом.

В этой вере сказалась безграничная любовь Достоевского к человеку. И, пожалуй, всего мучительнее и на-

пряженнее он любит человека именно там, где с особой силой ненавидит искушения, обступившие и побеждающие его.

Иногда он знает даже, что именно грех или порок открывает человеку долю истины.

Вот, например, изумительная характеристика человека:

«Это очень гордый человек, а многие из очень гордых людей верят в Бога, особенно несколько презирающие людей. Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтобы не преклониться перед людьми,— преклониться перед Богом не так обидно».

В этих словах все отношение Достоевского к людям. Он видит человеческий порок — гордость,— рядом с этим он чувствует бессилие и слабость потерявшейся человеческой души,— выражающуюся в потребности преклониться,— и находит для нее выход,— слабость и бессилие указуют этот выход.

Человечество отпадает от Бога, человечество отходит от истинного пути спасения — что ж? Достоевский негодует?

Нет, он не только не негодует — его поражает другое:

«То диво, что такая мысль,— мысль о необходимости Бога,— могла залезть в голову такому дикому и злому животному, каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того делает честь человеку».

Тут тоже многое выявлено до конца: и дикое злое животное,— и тот, кто носит тайну премудрую и делающую ему честь. Последнее всегда перевешивает у Достоевского.

И с этой точки зрения он начинает раскрывать свое учение о правильном пути человеческой жизни.

«Братья, не бойтесь греха людей,— говорит старец Зосима,— любите человека и во грехе его, ибо это есть уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах».

Вот воздвигается подлинно единственное знамя,— не знамя хлеба земного, о котором говорил Великий Инквизитор, а знамя всепобедной и всепоглощающей

любви, за которым в конце концов должно пойти измученное и вечно обманывающееся человечество.

«Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего».

«Омочи землю слезами радости твоей и люби эти слезы твои».

«Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо оно есть дар Божий великий, да и немногим дается, а избранным».

И это не слова, не только требования разума, который нашел единственный выход из всех сомнений и требует во имя своих логических построений исступленной любви к земле и человеку. Если бы это было так, то это было бы нечто невоплотимое, потому что разум не может заставить любить.

Нет, это сама жизнь. И вот как это бывает в жизни:

«Тишина земная как бы сливалась с небесною. Тайна земная соприкасалась со звездною».

«Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не отдавал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю,— но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков».

«И с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея — воцарилась в уме его — и уже на всю жизнь и во веки веков».

«Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом,— и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга».

Вот оно, огненное крещение, которым истребляется соблазн. Тут все существо человеческое как бы преобразуется, сливается со всем творением Божиим.

И если сила соблазна ослабляется тем, что он всегда во вне человеческой души,— то тут сила исступленного восторга усугубляется тем, что он не внешний для души — он ее часть неотрывная.

Шатов спрашивал Ставрогина:

«Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказать вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?»

Что это означает?

Это означает, главным образом, непосредственную сращенность Христовой истины с человеческой душой и вне лежащую силу даже математических доказательств.

Собственно при всей своей бесконечной трудности этот путь спасения в то же время и бесконечно прост!

«В русском христианстве по-настоящему даже и мистцизма нет вовсе,— в нем одно человеколюбие, один Христов образ».

В этом все. И этому ничего противустоять не может.

«Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнуться лбом?»

«Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом».

С народом,— с народной верой,— с верой одного лишь человеколюбия, одного лишь Христова образа.

А если человек найдет наконец этот спасительный путь, то вся его жизнь определится им,— отношение к людям, отношение к миру,— все определится.

Старец Зосима так говорит об этом:

«Когда же познает (инок),— что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за все виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виноват, за всех и за все на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а — единолично, каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле».

«Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения, тогда каждый из нас будет в силах весь мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть».

Все покрывается любовью, все ею оправдывается и преображается.

И высший образ радости Христовой любви, преображающей силы ее,— дан в главе «Братьев Карамазовых» — «Кана Галилейская».

Алеша засыпает в келье старца, около гроба его. Только что перемучился он сомнением и тревогой, только что почти потерял веру, соблазнился. И видит он сон:

«К нему подошел он, сухенький старичок, с маленькими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся».

«Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера

сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют».

«Как же это? Он, стало быть, тоже на пиру, тоже званный на брак в Кане Галилейской?»

«— Пьем вино новое, вино радости новой, великой,— говорит Алеше старец».

Но только ли одно чисто лирическое отображение Христова пути можно найти у Достоевского?

Разработав так точно и логично пути искушения, построив сложную и законченную систему антихристового пути, указав различные облики этого пути,— Рим, Великий Инквизитор, Шигалев,— дает ли Достоевский хоть какую-либо более цельную картину торжества истины, торжества Христова облика?

Дает, конечно. Правда, в ней гораздо меньше подробностей, и она гораздо менее законченна, чем те картины. Может быть, это объясняется тем, что добро в мире реально никогда не торжествовало, и описать его,— как воплощенное,— нельзя,— о нем можно лишь догадываться, его можно лишь предчувствовать. Зло же многократно и в различных обликах торжествовало в мире, и для того, чтобы дать образ его, достаточно только посмотреть и описать то, что увидишь.

Во всяком случае более точные указания о воплощении Христова добра можно найти у Достоевского, и в большинстве случаев говорит о них отец Паисий — друг и наследник старца Зосимы.

Вот одни из точнейших его слов:

«Не Церковь превращается в государство. То Рим и его мечта. А напротив, государство обращается в Церковь, доходит до Церкви и становится Церковью на земле. Что совершенно уже противоположно ультрамонтанству и Риму, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От востока земля сия воссияет».

Тут противоположение насильничеству Рима,— как его понимает Достоевский,— Христовой свободы, свободного единения любви, осуществляемого Церковью. Эта последняя, единственно полная, не своевольничающая подлинная свобода во Христе — предмет последнего чаяния и упования человечества.

«Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков»,— добавляет отец Паисий, потому что только в этом оправдание мира и единственный путь спасения его.

Таково общее, непреложное и единственное решение вопроса.

Попробуем найти и более конкретные черты в этом решении. Их у Достоевского очень мало,— он не только скуп на них, а и как бы боится ошибиться, ничего не утверждает окончательно.

Первое, что нас должно заинтересовать в поисках этих конкретных ответов, это отношение правды Христовой к правде человеческой — хлеба небесного к хлебу земному.

Тут можно привести характерное место из беседы гостей с монахами в келье старца Зосимы.

Миусов говорит о том, как относится какой-то деятель французской полиции к революционерам:

«Мы, собственно, всех этих социалистов, анархистов, безбожников и революционеров не очень-то и опасаемся. Мы за ними следим и ходы их нам известны».

«Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей, это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся. Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника».

Так думает представитель французской власти, охранитель современного,— далеко не христианского,— порядка вещей.

Как же об этом думает сам Достоевский?

О его мыслях можно судить из реплики отца Паисия на слова Миусова.

«— То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов?— прямо и без обиняков спросил отец Паисий».

Тут Достоевский резко обрывает этот разговор. Входит Дмитрий Карамазов, беседа принимает другой характер.

Но намек дан. Необходимо только хотя бы и в другом месте найти ему подтверждение.

6. РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД

Тут возникает и еще один существенный вопрос. Рим и его мечта воплощаются в известных людях, в целых нациях,— католичеством пропитан запад,— даже французский социализм есть последнее выражение чаяний Великого Инквизитора.

Кто же у Достоевского несет противоположную идею, идею правды Христовой?

Как подходит он к народу, исповедующему православие, к своему русскому народу?

Может быть, никто так много не сказал о русском

народе, как Достоевский. Не только устами героев своих,— Шатова, Версилова, Ивана Карамазова,— не только обликом их,— излагает он свои мысли о русском народе, но и сам в «Дневнике писателя» как бы подтверждает правильность высказываний своих героев.

Начнем с противоположения Европы и России.

Вот слова Версилова:

«Они,— (европейцы),— не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен».

«Я во Франции француз, с немцем — немец, с древним греком — грек,— и тем самым наиболее русский, тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль».

«Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия. О, более. Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я. Но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их науки и искусства, вся история их мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим».

«Одна Россия живет не для себя, а для мысли. И знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы».

И почти то же говорит Иван Карамазов:

«Я хочу в Европу съездить. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я,— знаю заранее,— паду на землю и буду целовать эти камни, и плакать над ними,— в то же время убежденный всем сердцем в том, что все это уже давно кладбище и никак не более».

И сам Достоевский присоединяется к этим словам своих героев.

«Европа,— да ведь это страшная и святая вещь,— Европа. О, знаете ли вы, господа, как дороги нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, эта самая Европа, эта страна святых чудес».

В чем тайна этого отношения к чужому миру, к чужой культуре?

«Способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, перевоплощения

почти совершенного... способность эта есть всецело способность русская, национальная».

«Стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и народно,— совпадало вполне со стремлением самого духа народного,— и в конце концов бесспорно имеет и высшую цель».

«Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способен из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви».

Таково направление русской народной души — она стремится проявить себя в мире, во вселенной. И Достоевский знает, что она стремится проявить и во имя чего идет в мир:

«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться,— дешевле он не примирится».

«Назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и вселенское».

«Стать настоящим русским, стать вполне русским,— может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком».

Из всех этих слов уже с точностью можно вывести некоторые особенности русского народного характера, которые, может быть, еще ничего не определяют окончательно, но, во всяком случае, уже показаны. Свойства эти — вселенскость, всемирность, причастность ко всем страданиям, чаяниям и деяниям всего человечества.

А Достоевский считает, что «всякий великий народ должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то и только в нем, одном, заключается спасение мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их всех в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной».

Этим признакам русский народ удовлетворяет вполне,— следовательно, он народ великий и достойный великой миссии.

Какова же она и как же он сам изнутри определяет ее?

В несколько парадоксальной форме, несколько преувеличенно,— говорит об этом Шатов:

«Знаете ли вы, кто теперь во всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова?»

«Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет

своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения».

«Если великий народ не верует, что в нем одна истина, если не верует, что он один способен и призван все воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ».

«Но истина одна, а стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного, хотя остальные народы имели своих особых и великих Богов».

«Единый народ-богоносец — это русский народ».

Нельзя сказать, что Достоевский до конца разделяет эти мысли Шатова. Скорее, в данном случае, свои собственные мысли он испытывает, доводит их до шатовского парадокса. В такой форме и в такой исключительности он их не разделяет. Но вместе с тем, основное отношение к русскому народу у него такое же, как и у Шатова.

В «Дневнике писателя» он много говорит о русском народе. И тут мы находим, помимо признака несколько внешнего, — склонности ко всемирности русской скитальческой народной души, — и самые внутренние признаки ее, — то зерно, которое она должна раскрыть миру.

«Потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, — потому-то он и не забыл своего православного дела».

Этим определяется вся судьба русского народа, потому что «если нации не будут жить высшими бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим интересам, то погибнут эти нации несомненно, окаменеют, обессилеют и умрут».

У русской нации есть эта высшая идея. Она дана ей и исторически:

«Главная школа христианства, которую прошел народ, — это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, попраный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-Утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки и который за то спас от отчаяния его душу».

«Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно».

«В сущности, в народе нашем кроме этой идеи и нет никакой, и все из нее одной и исходит, — по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим».

«Он именно хочет, чтобы все, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и исходит до нелепости не из этой идеи, смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного».

«Но и самые преступник и варвар хоть и грешат, а все-таки молят Бога в высшие минуты духовной жизни своей, чтобы пресекался грех их и смрад и все бы выходило опять из той излюбленной идеи их».

«И может быть, главное предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить в себе этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время,— явить этот образ миру, потерявшему пути свои».

И наконец, еще одна цитата о русском народе, до конца раскрывающая точку зрения Достоевского и производящая сейчас несколько жуткое впечатление.

«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе Церкви».

«Я не про здания церковные теперь говорю и не про причт, а про наш русский социализм теперь говорю (и это обратное противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным) — цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поскольку земля может вместить ее».

«Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово».

«И если нет еще этого единения, если еще не созиждилась Церковь вполне,— уже не в молитве одной, а на деле,— то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует».

«*Не в коммунизме, не в механических формах* заключается социализм народа русского. Он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово».

«Вот наш русский социализм».

И вот ключ к пониманию ранее приведенных слов отца Паисия.

Думается, что это ключ к окончательному пониманию идеала самого Достоевского.

Всем соблазнам мира противопоставляет он «всесвет-

ное единение во имя Христово» и верит, что носителем этой идеи, пророком и глашатаем ее будет русский народ.

Не очень, значит, и Шатов искажил подлинную мысль Достоевского, как он ее уже от собственного имени излагает в «Дневнике писателя».

И собственно, если остановиться на этом и сказать, что этим и заканчивается предвиденье Достоевского о судьбе русского народа, то невольно рождается в душе чувство безграничной горечи.

Мы знаем, что мы знаем. События привели нас к самой последней черте разочарования в русском народе.

«Коммунизм, механическая форма», попрание лика Христова, идея насильственности Великого Инквизитора, торжество мысли Шигалева, ведущего человечество от безграничной свободы к безграничному деспотизму, — вот что осуществилось на деле.

Попран и поруган идеал Достоевского, не оправдалась вера его, не понял он пророчеств своих даже сам.

И существует взгляд, что именно лишь отрицательные пророчества его оправдались.

А так как сам он этим отрицательным образом все время противопоставлял иные, так как этим иным он испуганно говорил: «сие и буди, буди» — то вывод один: горькое чувство о загубленной большой и пламенной вере.

Этих сомнений не знала осанна Достоевского, — а если бы знала, то не выдержала бы.

7. ПРОРОЧЕСКИЙ ДАР ДОСТОЕВСКОГО

Так ли это? Правда ли не знал Достоевский этих сомнений? Верил ли он слепо в какую-то сверхъестественную святость народа русского? Думал ли он, что так-таки без единого срыва придет русский народ к порогу вселенской Церкви и весь мир с собою приведет?

Достоевскому — знатоку человеческой души и сердцеведцу, знающему все глубины падений и восторги покаяния, несмотря ни на что не перестающему любить человека и в грехах его, странно было бы не знать, что такова же судьба народов, как судьба отдельных людей.

Удивительная фраза есть у него: «русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен».

Вот о неправдоподобии этом и надо поговорить.

В чем оно?

За примерами ходить недалеко:

«Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского народа — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого везде и во всем».

Действительно, если это так, то ужасно русский народ неправдоподобен.

Но этого мало:

«Страданиями своими русский народ как бы наслаждается».

«Если он способен восстать из своего унижения, то мстит за прошлое падение ужасно, даже более, чем вымещал на других, в чаду безобразия, свои тайные муки от собственного недовольства собою».

И это не только свойство, вообще характерное для русского народа. Оно усугубляется особым состоянием его в данное время:

«Да, он духовно болен. О, не смертельно. Главная, мощная сердцевина души его здорова. Но все-таки болезнь жестока».

«Какая же она? Как она называется?»

«Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать: жажда правды, но неутоленная».

«Ищет народ правды и выхода к ней непрерывно, но все не находит. С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды».

«Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть и свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной, народ не утратил, упиваясь даже и вином».

«И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяньям и более беззащитен от них, как теперь».

«Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? — искание правды и беспокойство по ней».

Эти слова таковы, что, когда пройдет много лет, и люди начнут изучать русскую революцию с точки зрения исторической, и обратятся к указаниям о ее истоках, о тех настроениях, из которых она создавалась, то приведут их, как верное свидетельство, за 40 лет предвещавшее ее.

Есть у Достоевского и другие указания, тоже точные.

«Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой,

пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие... Если продолжится такой кутеж еще хоть только на 10 лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения».

«Но... в последний момент вся ложь... выскочит из сердца народного и встанет перед ним с неимоверной силой обличения. Во всяком случае он спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение воссияют снизу».

Тут впервые, говоря о судьбе русского народа, Достоевский употребляет будущее время, впервые говорит не о том, что есть, но и о том, что грядет.

Грядет же время, когда надо будет спасать и спасаться.

Важно в этих словах Достоевского понять их истинный смысл: не от штунды какой-нибудь и не от легкости всяческих влияний, не от пьяного моря,— одним словом, не от всех относительных современных ему бед ждет спасения Достоевский. Он все время говорит о двух моментах будущего — грядущий срыв и спасение от него.

И вот слова, точно указующие эти два грядущих события.

«Мир спасется уже после посещения его злым духом. И злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его».

Значит, первое событие — посещение мира злым духом, — которого наши дети узрят. И только второе спасение мира.

А вот еще такое же точное указание:

«Действительно нас, т. е. всю Россию, ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события: могут вдруг наступить великие факты и заставить наши интеллигентные силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?»

«Видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что подготавливалось в мире с самого начала его цивилизации».

Ведь, собственно, если бы люди умели слушать, то эти слова Достоевского звучали бы в ушах их набатом. Теперь, когда мы можем оглядываться назад, мы чувствуем жуткую правду хотя бы первой половины этого пророчества. Мы знаем, что злой дух посетил мир, мы знаем, что свершились сроки вековечному, тысячелетнему.

Он видел, как это подготавливалось. По относительно незначительным признакам он делал выводы.

«Носится как бы дурман повсеместный, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыхан-

ное извращение идей, в повсеместном поклонении материализму».

Не знаю, правильно ли употребил здесь Достоевский настоящее время,— ведь никто из его современников не описывает нам этого «зуда разврата» с повсеместным поклонением материализму. Думается, что и тут вернее было бы говорить о будущем, об этом первом событии, которого он ждет.

Таким образом, в словах самых определенных и не могущих быть истолкованными двусмысленно, это горнило сомнений, это испытание Достоевский знал. Он ждал царства и власти злого духа, он не сомневался в его торжестве на какой-то неопределенный срок.

Но он видел и выход из этого положения, он знал, откуда ждать спасения.

Для тех, кто не выдержал этого соблазна и теряет веру в русский народ, предостерегающе звучат его слова:

«Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает».

Вздыхает и примиряется с пришедшим злым духом,— срок, значит, еще не пришел, а придет,— и народ спасет себя сам.

«Потому что именно народ наш любит правду для правды, а не для красоты. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен,— но приди его срок и начнись дело всеобщей народной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти».

Ничто не в силах поколебать этой веры Достоевского в русский народ. Он требует не только этой веры, он требует преклонения перед русским народом:

«Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего,— и мысли и образа,— преклониться перед правдой народной и признать ее за правду».

И это не только иступленная и слепая любовь народа. Зная все ждущие его падения, Достоевский, как трезвый и зрячий, все же призывает к вере в русский народ.

«С надеждой на народ и на силы его, может, и разовьем когда-нибудь уже в полноте и полном блеске это Христово просвещение наше».

В конце концов если принять эти слова, то тут, пожалуй, и мысль Шатова окажется чем-то недостаточным, не сполна оценивающим идею русского народа.

Не сполна он ее оценивает, потому что не до конца верит в Бога, в единого, вселенского, всемирного Бога. У него все время как бы конкурируют равносильные боги великих народов, и лишь на основании личной симпатии и любви к русскому народу он отдает преимущество и Богу его. Этим он перемещает порядок ценности. Достоевский же сам придерживается до конца правильного и верно-го взаимоотношения ценностей.

Для него всегда и во всем все определяет облик Христов. Вся истина целиком в Нем, и нет в Нем зла, и нет Ему равного в мире.

Тут ключ и его отношения к русскому народу: народ этот тем только и велик, что несет в себе правду Христову.

Поэтому, «для человечества с востока начинается новый день».

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Трудно дать исчерпывающие сведения о мирозерцании Соловьева. Трудно объединить в одно целое все вопросы, которых он касался. По существу, творчество Соловьева не вылилось в законченную и стройную систему. Изучая его, мы имеем лишь разнообразные высказывания по разнообразным предметам, но общей системы его философского мирозерцания, подобно тем, какие зачастую имеются у немецких философов, — нет.

Творчество Соловьева может быть разбито на несколько периодов. Князь Е. Н. Трубецкой насчитывает три таких периода — подготовительный, утопический и завершительный. Н. А. Бердяев считает, что работы Соловьева могут быть разделены на две неразрывные части, — в первую входит большинство его сочинений — она окрашена некоторой чрезмерной увлеченностью схемами и абсолютной верой в возможность воплощения добра на земле. Вторая часть, — эсхатологическая¹, — падает на работы последних лет его жизни. В ней схематичность сильно смягчена и нет уже прежней веры в неперенное торжество добра. Окончательная победа царства Божьего относится тут к временам сверхисторическим. Земное зло побеждается не в пределе земной истории. К этой последней части относятся главным образом «Три разговора» и «Легенда об Антихристе».

Темы, которых касается Соловьев в своих сочинениях, бесконечно разнообразны. Наряду с чисто философскими работами мы встречаем статьи публицистические. Он пишет о мировой истории и о будущем теократии, о поэзии Тютчева и о еврейском вопросе, о позитивизме и о русском расколе, о вселенской Церкви и о талмудизме.

И когда начинаешь разбираться во всем этом бесконечно разнообразном материале, первым желанием является разместить его по разным полкам, разложить творчество Соловьева на составные части и говорить о каждой из них самостоятельно, не пытаясь найти объединяющее их начало.

Но это только первое впечатление. Вчитываясь в статьи Соловьева, каждый раз убеждаешься, что при всем разнообразии затрагиваемых ими тем, они имеют нечто общее, — и это общее лежит в основных задачах соловьевского философствования, в основной цельности его личности, в том, что всегда и везде он, по существу, ищет одного и того же.

В мою задачу входит: 1) показать, чего ищет философия Соловьева, и 2) как она применяет найденное к реальным фактам человеческой истории.

I

Соловьев воспитывался на западной, немецкой философии. На его мышлении особенно сильно сказалось влияние Шеллинга². И восприняв очень многие положения западных философов, он с особенной силой почувствовал основной кризис, к которому приближается Запад, — кризис общего миропонимания, ощущение изначальной распыленности, расщепленности и несобранности мира.

В сущности, западная философия, современная Соловьеву, пришла к полному отрицанию смысла жизни. В ней торжествовал пессимизм, материализм, нигилизм. И Соловьев видел частичную правду во многих утверждениях этих учений.

Но основным свойством творческого гения Соловьева было стремление к идеалу цельности жизни, стремление к преодолению расчлененности мира. И вопрос о подлинном смысле жизни встал перед ним не только как чисто философский вопрос, но и как непосредственная практическая задача жизни. Соловьев поставил перед собой задачу преодоления западной философии, как приведшей к

кризису миропонимания, посредством синтеза, сочетания всего истинного, что она в себе заключает. Он пытался включить в свое учение всю правду, которую находил в пессимизме, материализме и нигилизме, даже правду в самом современном отрицании религии. Синтеза, сочетания, восполнения он ищет во всем и думает преодолеть кризис западной философии, преодолевая оторванность друг от друга богословия, метафизики и положительной науки.

В этом заключается основное значение философии Соловьева. Он, как ни один другой философ, определяет собой грань в истории мировой философии. В значительной степени он является предтечей какой-то новой эпохи. И в этом положении на переломе коренятся и все его ошибки и недостатки. Философия Соловьева во многих отношениях является водоразделом. После него трудно продолжать западную традицию XIX века, после него перед человеческой мыслью во весь рост поставлены задачи найти объединяющее начало, добиться синтеза и целостного миропонимания.

Соловьев ищет всеобщую, не частичную истину везде. В самых отрицательных учениях он пытается найти зерно заключенной в них религиозной истины. Так, например, материалистическое отрицание бестелесной истины кажется ему правильным отрицанием той несовершенной истины, которая не может быть воплощена. Подлинная же и совершенная истина всегда воплощается, всегда в конечном счете приходит к торжеству, всегда побеждает все ложное или полужоное.

Из этих положений с неизбежностью вытекает одна основная черта всей соловьевской философии: в ней, собственно, почти не остается места для зла, лжи и уродства. Для него уродство лишь несовершенная, не воплотившаяся до конца красота, ложь — несовершенная истина, а зло — несовершенное добро. В этом отношении философия Соловьева предельно радостная, предельно оптимистичная, предельно уверенная в правде и Творца и творения, в красоте не только Бога, но и мира, и человека.

Каков же основной предмет философских поисков Соловьева?

Он ищет всегда безусловное или Всеединое, ту подлинную реальность, которая заключает в себе все — истину, жизнь, красоту. Для него идеал познания заключается в синтезе, объединяющем познание в цельном знании. Это

цельное знание является задачей теоретической философии. Соответственно этому этика должна создать идеал цельной жизни, а эстетика должна разработать начала цельного творчества.

Философия Соловьева ставит перед собой трудную задачу найти в расщепленном миропонимании элемент цельной истины, Всеединого. А расщепленность эта сказывается на всем. Вот, например, противоположение Запада и Востока. Истина раскола между ними. Запад характеризуется культом безбожного человека, Восток — бесчеловечного Бога. И тут стоит задача осуществить подлинный синтез, найти основу для целостного понимания Богочеловечества, не отрицая ни человеческую правду Запада, ни Божественную правду Востока.

Или другой пример — отвлеченные начала, являющиеся основным предметом философских умозрений Запада. Все они — обособившиеся элементы всеединства, все они несут на себе отпечаток известной частичности и неполноты, они — не истина, а только часть истины. И чтобы через них прийти к разумению полной истины, к пониманию Безусловного, — надо их привести к их основному источнику, объединить воедино, слить в полноте Всеединства.

Таким образом, частичные элементы истины должны восполнять друг друга. Должен быть найден органический синтез эмпирического мира, рационалистического его постижения и мистического или религиозного осмысливания постигнутого.

Собственно, правильно было бы сказать, что вся философия Соловьева стремится найти основной смысл и стержень бытия в начале божественном и на этом божественном начале укрепить все стороны и все виды и проявления мировой жизни, осмыслить все, как единый мировой Богочеловеческий процесс, охватывающий собой всю вселенную во всех ее проявлениях.

Соловьев сливает в единое творческое всеединство Бога и человека, дух и материю, божественный замысел о мире с его воплощением. Природа и человеческая история являются составными частями единого космического процесса, утверждающего Богочеловеческое Всеединство.

И может быть, этим объясняется то, что до сих пор ведется спор, кто был Соловьев — католик или православный, славянофил или западник, консерватор или либерал. Видя везде частичный элемент истины и стремясь к ее

сочетанию во Всеединство, он на самом деле был всечеловек. Самым характерным свойством его были поиски вселенскости, поиски абсолютного, стремление возвести все относительное к последней правде абсолютного и всеединого.

II

Собственно, почти каждая большая работа Соловьева имеет своей основной задачей раскрытие вселенского всеединства и указание реальных путей к нему.

Таковы «Чтения о Богочеловечестве», такова «История и будущность теократии», таково «Оправдание Добра». Каждая тема является для него путем от расщепленной и рассыпанной эмпирики к центру Абсолютного. Мера всеединства — единственный критерий, с каким он подходит к любым утверждениям.

Может быть, наиболее характерным из всего творчества Соловьева являются «Чтения о Богочеловечестве».

В первом же из двенадцати чтений, опираясь на выявившуюся внерелигиозность современной цивилизации, Соловьев своеобразно определяет ее значение: «Если западная цивилизация имела своим мировым значением осуществить отрицательный переход от религиозного прошлого к религиозному будущему, то положить начало самому этому религиозному будущему суждено другой исторической силе».

В чем тут дело? Отчего необходим такой внерелигиозный переход от религиозного прошлого к религиозному будущему?

В западном мире религиозное прошлое — это католицизм. Он выявил лишь одну часть вселенской истины — веру в Бога. А так как истина не терпит ущерба в своем воплощении, так как она должна всегда заключать в себе полноту, то ущербленность всегда приводит к кризису, к катастрофе, к реакции, к отрицанию даже того элемента истины, который уже нашел себе воплощение.

И реакцией на односторонность выявления истины в католицизме явился период гуманистический, обосновавший права человеческой личности.

Собственно, произошла смена двух ущербленных истин. Католицизм не принял человеческой истины в единой истине Богочеловечества и этим определил односторонний уклон в следующем, гуманистическом периоде истории, который оказался весь посвященным именно этой

забытой части религии Богочеловечества, ущербляя себя в понимании божественного начала.

Для того чтобы преодолеть эти двусторонние ущербленности в развитии исторического процесса, необходимо только понять безусловность и божественность человеческой личности. Тогда следующий исторический период на основе веры в Бога и веры в человека будет осуществлять всецелую истину Богочеловечества.

Другими словами — западная цивилизация, отказавшаяся от религиозного прошлого и всецело построенная на утверждении человеческой личности, нуждается лишь в подведении религиозного фундамента под свои утверждения, и тогда она действительно осуществит религиозное будущее, еще более полное и вселенское, чем это было в прошлом, потому что в нем найдут свое место обе нерасторжимые части Богочеловечества — начало Божественное и начало человеческое.

В этих утверждениях Соловьев вносит в христианство элемент гуманизма и веры в прогресс мировой истории, обогащает религиозное сознание прогрессивным гуманизмом нового времени. С другой же стороны, он просветляет и углубляет современное сознание, стремясь обосновать его на прочном религиозном фундаменте.

Тут опять сказывается изначальное его стремление ко всеобъединяющему синтезу.

Как приходит человек к утверждению существования Бога и существования мира? Первым актом в его утверждениях в одинаковой степени является вера в это существование. Самый факт существования внешней действительности всегда дается недоказуемой верой, и лишь содержание этой действительности, в которую человек уже уверовал, постигается опытом. Это одинаково применимо и к постижению Бога, и к постижению мира. У человека нет, кроме веры, никакой другой возможности утверждать факт существования чего бы то ни было вне себя. А изменения в этом предполагаемом, поддающемся только уверованию, внешнем мире, взаимоотношение его частей, отношение его к человеку дается лишь опытом.

Этим Соловьев хочет показать, что нет никакой принципиальной разницы в постижении Бога и в постижении мира. Если человек помимо веры не может прийти к утверждению существования мира, то нелепо отвергать существование Бога только на том основании, что помимо веры к этому утверждению прийти нельзя.

Тут перед человеком два выхода: или он должен совершенно отказаться от веры в существование чего бы то ни было помимо себя, или же он должен признать одинаковую законность как веры в существование Бога, так и веры в существование внешнего мира.

Вторичный акт в постижении мира, лежащего вне человека, раскрывается в его опыте. Опытю человек познает свойства творения и опытно же познает свойства Творца. Но, конечно, опыты эти разнокачественны и имеют различное содержание. Вместе с тем и научный и религиозный опыт в истории человечества аналогично протекают в устремлении к большему углублению в познаваемый предмет. Опыт становится более дифференцированным, предмет приобретает большее количество свойств, обогащается и усложняется.

Религиозный опыт в истории человечества имеет много ступеней. И существование высших ступеней откровения не говорит о неистинности низших — оно говорит только о их предварительной и неизбежной неполноте. Низшие религиозные ступени дают всегда лишь частичные и неполные данные о полноте истины. Поэтому высшая ступень религиозного развития должна обладать, с одной стороны, общностью и цельностью, с другой — предельной конкретностью, — другими словами, она должна обладать положительной всеобщностью. Таким образом, наибольшее количество положительного содержания определяет совершенную религию. Более того, можно даже утверждать, что совершенная религия должна обладать всем возможным положительным содержанием мира, вне ее не должно быть никакого содержания.

Из этого ясно, что совершенной религией не может быть та религия, которая содержится во всех других религиях. Напротив, она должна содержать в себе все другие религии. Она не отвлечение родовых признаков других религий, а сочетание их истинных видовых признаков в полноте истины.

Тут можно до известной степени провести аналогию с областью научного опыта. В нем мы имеем возможность наблюдать такую же ступенчатость развития. В нем мы так же можем утверждать совершенство лишь в случае, если он охватывает собою все положительное содержание мира. И так же как совершенная религия не может быть отвлечением общих всем религиям признаков, так и знание совершенное не может объединять только эти отвлеченные признаки, а должно обладать полнотой конкретности.

История религии дает нам возможность изучать различные ступени в открытии Божества в мире. На первой стадии божественное откровение скрыто за природным миром, слито с ним, не отдельно от него, — это стадия естественного или непосредственного откровения.

Дальнейшее развитие понятия о Боге переживает много фазисов.

В Буддизме Бог является великим Ничто — Соловьев называет это отрицательным откровением и считает, что, по сравнению с непосредственным откровением предшествующего времени, эта стадия имеет положительное значение, так как вводит момент отделения Творца от творения и способствует более расчлененному знанию о Боге.

У греков Бог — все, всеобщая, нерасчлененная сущность. Их правда в том, что они как бы не предали материю, творение, что они пытались, правда очень несовершенно, найти какое-то единство, вселенскость. Их неправда в том, что за этим единством они совершенно не различали личности.

Другая крайность обнаруживается в иудейском монизме, где Бог — чистое «я», безусловная личность, не имеющая, что противополжить себе.

И наконец, завершительное раскрытие Бога в христианстве. Тут он не только единое, но и все, — Он сущий, — Он и сущность.

Частичные и неполные истины всех предшествующих религий нашли свое окончательное завершение и соединение в христианской религии Богочеловека.

И до христианства древний мир приближался к правильному разумению Бога. Греческий философ Филон учил о Логосе³, а неоплатоники о трех ипостасях Божества. Все фазисы Богопонимания вошли в христианство в том, что было в них истинного. Но христианство, будучи полнотой истины, открыло миру и новое. Это то, что выражено словами: «Я есмь Путь, и Истина, и Живот».

Христианство призвало человечество к сотрудничеству, божественному творчеству. Оно приблизило человечество к божественному замыслу о мире. Являясь религией Богочеловеческой, христианство указало дальнейший путь развития религиозного миропонимания.

В самом деле — если христианское откровение об истине является самой истиной и не может быть дополнено и развито, так как осуществляет в себе всю полноту, то, с другой стороны, оно же вводит в божественное домо-

строительство и человека, с его свободной волей и свободой избрания, со всем его относительным и несовершенным миром, который не только может быть раскрыт и дополнен, но постоянно нуждается в таком раскрытии и приближении к божественной полноте.

И тут Соловьев излагает одну из своеобразнейших частей своей религиозной философии.

Бог, как Сущий, как Логос, как Слово, как действующее Начало, сводит всю множественность мира, всю сущность его, — к единству. И эта множественность, сведенная к единству творческим актом Слова, есть София, воплощенная Премудрость Божия. Таким образом, Логос — это сущий, София — это осуществленная идея. И идея эта достигла своего окончательного осуществления, своего высшего совершенства только в момент соединения с Логосом. София — идеальное воплощение Божественной идеи, достигшая совершенства материя, — в соединении с Логосом, с Божественным Словом, — это Христос-Богочеловек, по божественности своей — Логос, по человечеству своему — София, Премудрость Божия.

Таким образом, человечество является звеном, необходимым, чтобы могло быть соединение Божественного и природного мира. Человечество, однажды достигшее совершенства плоти Христовой, есть вечная душа мира — София. И всечеловеческий организм есть вечное тело Божие, соединенное с Логосом — Богом в единое и нераздельное Богочеловечество. И здесь человеческая мировая душа, душа космоса впервые соединяется с Божественным Логосом в полноту Богочеловечества.

Чем же является это человеческое тело Христово в реальности?

В реальности оно является Вселенской Церковью, сведенной в единство множественностью, собранием, соборностью верующих — или же опять-таки — Софией.

Тут необходимо только очень сильно подчеркнуть принадлежность человечества не только к телу Христову, но и, с другой стороны, — к природно-историческому миру. Человечество корнями своими сочетается со всем космосом и, сочетаясь с Логосом, приводит и весь космос к этому сочетанию. Поэтому Богочеловечество — это предельная полнота, — в нем весь космос обожен и сочтен с Богом.

Для того чтобы разобраться до конца в этой части учения Соловьева, надо указать еще на то, как он подходит к вопросу о человечестве, разбирая идею челове-

чества в философии Огюста Конта⁴— основоположника позитивизма.

Для Конта человечество является живым положительным единством, великим существом, обнимающим собой отдельные человеческие личности и воплощающимся в всемирно-историческом процессе. Как в геометрии целое первее своих частей и предполагается ими, так и здесь целое существо,— человечество,— первее отдельных человеческих личностей и предполагается ими. Отсюда Конт пришел к своеобразной религии человечества, утверждая его как последний смысл и последнюю цель мира. Позитивистическое учение его приобрело черты ярко мистические.

И несмотря на точно выраженное отрицание Божественного начала в контовском учении, Соловьев считает, что многие его утверждения являются правильными даже с христианской точки зрения. Великое существо контовской религии человечества является для Соловьева нераскрытым образом Софии Премудрости Божией, воплощенной идеи Бога, тем именно, что в едином Богочеловеке-Христе соединилось с вечным Логосом Богом.

Частичная истина Конта заключена для Соловьева в правильной оценке значительности и святости божественной Премудрости, а ложь его учения определяется лишь неполнотой его высказываний. Софию он почуял, а божественный Логос остался ему чужд.

Соловьев ищет подтверждения своим мыслям о Софии, о ее значении в православном вероучении и в совершенно другой области. Он обращается к религиозному вдохновению русского народа в одиннадцатом веке. Вне всякой зависимости от Византии, только на русском севере, стали в это время строиться соборы, посвященные святой Софии, и в них стала появляться таинственная икона: крылатая женщина, сидящая на престоле, а по бокам ее Богоматерь и Иоанн Креститель⁵, над нею Христос и мир небесных сил. Эта икона — икона святой Софии, Премудрости Божией,— не совпадающей ни с Богоматерью, ни с Христом, обличает тайное веденье наших предков, не нашедшее себе никакого словесного воплощения. Ведали они истину обожествленной твари, соединенной с Логосом в единое Богочеловечество. Предстоящие крылатой женщине Богоматерь и Иоанн Креститель являются образом совершеннейших вершин творения, истинными представителями всего человечества, всей человеческой единой и соборной Церкви. Именно они были главными звень-

ями, послужившими к соединению Логоса и Софии, они были той вершиной, с которой мог сочетаться нисходящий в мир Логос. И таким образом крылатая София объединила в себе и их для того, чтобы принять Логос в себя, для того, чтобы мог миру быть явлен Богочеловек-Христос.

Все только что изложенное является основным ключом к уразумению Соловьева. Идея Софии и идея Богочеловечества — то, чем проникнуты все его поиски всеединства. Все мистические стихи его полны тайной о Софии. В ней он ищет последнего единства космоса и последнего оправдания его, в ней — тайна вселенскости, долженствующая завершиться тайной Богочеловечества.

И тут необходимо еще указать на то, что в данном случае Соловьев проник в эту тайну путем, о котором говорилось ниже: первоначально он поверил в нее, а потом узнал ее содержание опытным путем, путем личного общения, путем личного видения и осязания.

Зная теперь основное учение Соловьева, нам легко понять, что противопоставляет он современной ему философии и что из нее удерживает как истинное.

Современная философия расщепилась, собственно, между двумя тупиками: с одной стороны, механический материализм, уничтожающий всякий смысл мирового процесса и уводящий все в сочетание косной материи и косной силы, ни в чем не имеющих оправдания и обоснования. Или же, с другой стороны, современная философия неизбежно приводит в тупик идеалистического субъективизма, утверждающего лишь реальность моего познающего «я».

То, что им противопоставляет Соловьев, есть некий религиозный материализм, есть вера в живую душу материи — панпсихизм.

Для него человек не есть ни только натуральное явление, ни дух, заключенный в футляр материи. Он — духовно-телесное, природное существо.

Более того, одушевленная жизнь есть во всякой природе, различаясь только в степенях. И если в наше время наука не хочет этого понимать, то поэзия до сих пор верна правильному пониманию души мира. Соловьев особенно наглядно показал это в статье, посвященной поэзии Тютчева.

Что это? Или в мире существуют в данном случае две истины? Нет, просто природа для естествознания является лишь объектом изучения. Естествознание не стре-

мится познать природу, как сущее. И когда Соловьев, преодолевая общепринятый взгляд, стремится в механизме природы увидеть ее организм,— то в этом мы можем усмотреть центр его метафизики.

Законно ли такое отношение? Думается, что не так трудно доказать его законность, просто ссылаясь на недостаточность чисто научного подхода ко многим явлениям жизни. Попробуйте разобраться в истинном смысле художественного произведения,— какой-нибудь картины, скажем,— разложив ее на составные элементы, которые ей свойственны. Вы можете точно определить состав полотна и состав красок, учесть сочетание различных тонов и взаимоотношение линий и плоскостей на картине, а подлинного ее значения вы таким образом совершенно не определите, хотя, по существу, кроме истины, и даже кроме полноты естественнонаучной истины, вы о ней ничего не сказали.

Природа, как все подлинно сущее, укоренена в Боге — и потому она имеет вневременное и предвечное существование. Человечество, как целый универсальный и индивидуальный организм, есть мировая душа. И эта мировая душа, человечество, воссоединенная через Христа с божественным началом, есть Церковь.

Таким образом, вера Соловьева в человечество, его гуманизм привела его к вере в Богочеловечество. А религиозное утверждение материи, его религиозный материализм — привел его к вере в Богоматерию.

III

Характерное свойство Соловьева, его вера в конечное торжество добра, его творческий оптимизм с особой силой выступает в «Оправдании добра».

Но для того, чтобы правильно понять его оптимизм, необходимо сделать некоторые оговорки.

Оптимизм Соловьева не есть убежденность в добре и благе всего существующего, всего воплощенного в жизни. Он скорее прозревает за оболочкой несовершенных форм воплощения идеальное задание Творца. И однажды поняв это идеальное задание, он ничего другого уже не хочет видеть и различать. Увидев красоту задания, он перестает интересоваться уродством выполненных форм, постигнув истину, отворачивается от лжи. Оптимизм Соловьева — оптимизм творца-художника, прозревающего в глыбе глины идеальные формы своего будущего творения.

С этой точки зрения эмпирическое несовершенство мира и только потенциальное совершенство человеческой души есть лишь та система предварительных материальных условий, которые необходимы для осуществления царства целей — для возможного воплощения Абсолютного. Главным же и окончательным условием для этого является нравственная свобода — свободный выбор человека.

И тут Соловьев приходит опять к одной из своих любимых идей, о которой уже упоминалось.

Так как действительность материального и духовного бытия нераздельны, то и процесс всемирного совершенствования, будучи Богочеловеческим, есть и Богоматериальный.

Процесс совершенствования и приближения к Вседанному, к Богу, захватывает собой все космические явления, всю мировую историю. Собственно, вне этого процесса прихождения к Богу нет ничего. И постепенным совершенствованием, постепенным одухотворением движется мир.

Так мировая история распадается на пять царств, пять периодов. Существовало минеральное царство, уступившее место растительному, которое, имея свои специфические признаки, включило в себя и все специфические признаки предшествующего. Животное царство, в свою очередь, будучи в смысле признаков богаче, чем растительное, включило его в себя, чтобы опять-таки войти частью в природно-человеческое царство, которое было преодолено царством духовно-человеческим или Божьим. Это последнее царство началось с рождества Богочеловека-Христа — первого и главного явления царства Божьего.

В низшем, животном мире последней целью и последним оправданием жизни служит ее родовая бесконечность — дурная бесконечность, не считающаяся с отдельной личностью и строящая жизнь всего на мертвых костях.

Человечеству надлежит иметь иное отношение к смыслу жизни и в ином искать ее оправдания. Через историю человечества воплощается добро. В этом основной метафизический смысл существования истории.

Человечеству необходимо избежать двух соблазнов, двух взаимно исключающих химер: химеры себедовлеющей личности и химеры безличного общества. Для Соловьева «муравейник коммунизма и экономический хаос

мещанского царства одинаково противоречат общественному идеалу, так как в первом упраздняется человек, а во втором упраздняется человечество». На самом деле общество должно дополнять и расширять человеческую личность, а личность дополнять и расширять общество.

Человеческое общество проходит три ступени исторического развития. Эти ступени — родовая, национально-общественная и вселенская. И Христианство, начавшее эпоху вселенскую, не характеризуется как отрицательный космополитизм, а является сверхнародным и всенародным положительным универсализмом.

Утверждение своих конечных целей в семье, в обществе и в человечестве соответствует родовой, национально-политической и духовно-вселенской ступеням.

И наша жизнь получает последний нравственный смысл, лишь когда между ней и совершенным добром устанавливается все время совершенствующаяся связь.

Таким образом, корнем всего творчества Соловьева является образ живого, существенного, абсолютно прекрасного единства, открывающегося ему и во внутреннем опыте, и в космических мировых процессах, и в истории человечества.

Соловьев стремится собрать в единое положительное целое весь сотворенный мир, осмыслить с точки зрения этого его единства все протекающие в нем процессы и, в свою очередь, не противопоставить его Богу, не разделить на Творца и творение, а опять-таки слить в последнем Всеединстве, в великом Абсолюте, в последней правде Богочеловечества.

Единый план мироздания, укорененный в творческой воле Отца и слитый с нею, — вот чего ищет Соловьев в своем творчестве.

IV

Нам надо еще разобраться в том, как осмысливает Соловьев процесс мировой истории и как определяет цель отдельных исторических событий.

Для Соловьева всемирная история есть длительный процесс раскрытия и воплощения идеи вселенской Теократии. Последняя цель человечества есть образование Вселенской Церкви — всемирной организации истинной жизни. По существу, Церковь есть осознавшее себя человечество, мировая душа, София, достойная соединения с Логосом в единое Богочеловечество.

Таков последний смысл исторического процесса.

И в этом отношении для Соловьева живой Бог есть Бог истории не только Тот, Кто есть,— Сущий, но и Тот, Кто будет,— Грядущий. И всемирная история является разумным и наглядным раскрытием Божественной Истины.

Человечество едино, и различные народы являются различными органами в целом теле человечества. Только на этом пути можно искать им заданной идеи, только так определяется особый смысл существования каждого отдельного народа.

Человеческий единый организм растет. Каждую историческую минуту он оказывается перед новыми заданиями.

Дохристианский период, например, имел очень сложные и разнообразные задания. Буддизм освободил понятие о Боге от первоначального приписывания ему чисто натуралистических свойств. Обратный буддизму, эллинский пантеизм сыграл также большую роль в приближении к истинному откровению — освятил божественным началом материю.

Каждый народ и каждый период истории приближает человечество к его последней задаче — к осуществлению Вселенской Церкви.

Но из древних народов наибольшую роль сыграл, конечно, Израиль — народ богоизбранный, в потенции заключавший в своем национальном теле всю Вселенскую Церковь.

Есть факты, играющие решающую роль в судьбе еврейского народа. Первое это то, что Христос по матери был еврей, другими словами, Логос, ставший Богочеловеком, соединился с плотью еврейского народа. Второе, что большинство Его народа отвергло Его, не признало в Нем чаемого Мессию. И наконец, третье, что сейчас центр еврейского народа находится в России.

Израиль — народ Богоизбранный и Богорождающий,— это то, что определяет его исключительное мировое значение.

Конечно, и сейчас судьба Израиля продолжает быть исключительно сложной. Ведь избрание никогда не может быть привилегией, а есть трудная и ответственная обязанность. И может быть, этим сознанием трудной обязанности богоизбранного народа объясняется то, что последней молитвой Соловьева перед смертью была молитва о евреях.

В дальнейшем, с воплощением Христа, судьба челове-

чества приняла сверхнародный характер. Сверхнародный не есть безнародный. Для Соловьева сверхнародность христианского периода определяется тем, что перед всем человечеством было поставлено задание вселенской Церкви, в которой должна была потонуть национальная обособленность народов, чтобы дать место сверхнациональной полноте вселенского Всеединства.

Но благодаря многим историческим причинам, благодаря несовершенству человечества,— единый идеал вселенской Церкви был расколот. И этим объясняется, что вопросы, которые требуют разрешения в данную историческую минуту, есть противостояние Востока и Запада, расколовших между собой единую истину Вселенской Церкви.

Восточная культура, подчиняющая человека сверхчеловеческой силе, противостоит культуре западной, главным принципом которой является самодеятельность человека.

Синтез этих двух культур возможен только в Христе-Богочеловеке.

«Равновесие Богочеловечества заложено в самом начале Церкви. В дальнейшей ее истории равновесие это было нарушено человечеством в обе стороны,— Востоком,— в сторону неподвижного божественного основания Церкви, Западом,— в сторону человеческого ее элемента по обоим его полюсам,— сначала во имя власти,— папизмом,— потом во имя свободы,— протестантизмом».

Символически Запад и Восток выражены в противостоянии первого и второго Рима. Два Рима,— по существу, две части вселенской Церкви, католический Рим и православная Византия. И Западная Европа целиком является наследницей первого Рима, нарушающего равновесие Богочеловечества в сторону человеческого элемента.

Россия же наследница второго Рима — Византии.

«Этот второй Рим пал, потому что, приняв на словах идею христианского царства, отказался от нее на деле, коснея в постоянном и систематическом противоречии своих законов и управления с требованиями высшего нравственного начала».

И вот третий Рим — Россия.

Предстоит ли ей повторить ошибки Византии? Или должна она примирить два враждебных начала, найти пути к подлинному синтезу?

Соловьев думает, что «Россия должна быть третьей-ским судьей в споре». То есть, другими словами,— при-

нимая неподвижную божественную основу Церкви, как она сохранена на Востоке, Россия должна принять и человеческое начало, развитое в двух его формах на Западе — в форме власти и в форме свободы.

Россия должна их синтезировать в единое богочеловеческое начало, завещанное Христом.

Таким образом, третий Рим, в противоположность первому и второму Риму, должен быть синтезом, должен быть Римом Богочеловеческим.

Итак, современные силы, действующие на исторической арене, таковы: Запад — наследник первого Рима, и его религиозное воплощение — католицизм. Восток — воплощенный в православии второй Рим, передавший свое наследие третьему — России.

Будут ли это только противостоящие силы, или третий Рим,— Россия,— найдет в себе мужество быть не только носителем традиции Востока, но и осуществителем подлинного синтеза?

Соловьев верил в последнее, он считал, что в известном смысле России надлежит сыграть решающую роль в восстановлении единого тела Богочеловечества.

К этому выводу его приводили некоторые свойства русского народа и некоторые особенности русской исторической судьбы.

V

Понять внутренний смысл русской истории и из прошлого вывести задания для грядущего можно, если внимательно всмотреться в исторические факты.

Для Соловьева в русской истории существуют два факта, именуемые им национальными подвигами. Это — призвание варягов и реформа Петра Великого.

«Тут Россия была спасена от гибели не национальным самомнением, а национальным самоотречением». И в национальном самоотречении Соловьев вообще видит главный принцип русской истории.

Таким образом, первый из этих актов-подвигов,— призвание варягов,— с одной стороны, положил начало русской государственности, а с другой стороны,— выявил в самом начале русской истории ее основной принцип — христианское смирение и дух самоотречения.

Русский народ — органически христианский народ.

Приняв христианство из Византии, где оно воспринималось формально, где вера нисколько не влияла на

жизнь,— русский народ в лице святого Владимира⁶ сумел избавиться от этого византийского приражения к христианству. Он понял, что истинная вера обязывает переменить правила жизни.

Интересен в этом отношении ответ Владимира греческим священникам, уговаривавшим его казнить преступника.

— Боюсь греха,— говорил он им.

Принцип христианства был им усвоен вопреки византийским толкованиям этого принципа.

Русская изначальная христианская склонность к самоотречению, выразившаяся в призвании варягов, гармонически сочеталась с принятой верой.

На этом истинном христианском пути первым срывом и главным искушением было столкновение с татарами.

«В Московском государстве отношения к хищной монгольской орде были унижительны. Влияние этих отношений было вдвойне вредное: с одной стороны, подчинение низшей расе оказывало уподобляющее воздействие на русских. С другой — так как, несмотря на это, у русских оставалось преимущество христианской и исторической нации, это сознание развивало национальное самомнение».

В 15-м веке самомнение это усилилось гибелью Византии и монголов.

Освободившись от монгольского ига и укрепивши таким путем национальное самосознание, Россия с гибелью Византии почувствовала себя законной преемницей Восточной Империи, третьим Римом, облеченным всемирно-историческими заданиями и всемирно-историческим достоинством. Сочетание этого сознания с наследием принижающей татарщины выразилось в том, что в Московский период все стало подчиняться универсальному значению русской государственности. Христианство же утратило это универсальное значение и стало лишь религиозным атрибутом русской народности. Духовные силы русского народа, представляемые Церковью, были посвящены укреплению и созиданию государственного единства.

Как мы увидим ниже, по существу, это не смущает Соловьева. Он видит в единой державе,— если бы оно было подлинно христианским,— некий провиденциальный смысл русской истории.

Его смущает другое.

Вот, например, христианская безукоризненная монархическая формула Иоанна Грозного:

— Земля правится Божиим милосердием и пречистые Богородицы милостью, и всех святых молитвами, и родите-

лей наших благословением, а последи нами, — государями своими, — а не судьями и воеводы и еже ипаты и стратиги.

Но наряду с этим все царствование Иоанна Грозного является подлинным византийским противоречием словесного исповедывания веры и отрицания ее на деле. Гнилое византийское языческое предание осиливает христианское начало. И это двоедушие царя поддерживается политическим двоеверием русского народа.

Характерно, что в это время на Московской Руси стала распространяться легенда о получении царями власти от Навуходносора — наиболее типичного представителя языческого обожествления начал государственной власти.

В этой легенде говорится о том, как царь спросил своих подданных:

— Кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, руке державу и книжку при них?

Некий Борма-ярыжка вызвался совершить этот подвиг и доставил царю все требуемое. Прося же о награде, сказал:

— Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках.

В этой легенде, как и во всем облике царствования Иоанна Грозного, явно выразился скат русского третьего Рима к тем ошибкам, порокам и преступлениям, которые были гибельны для второго Рима — Византии. Под влиянием самомнения и национальной исключительности укреплялось двоеверие русского народа, затемнялся истинный христианский путь его, построенный на самоотречении, рядом с православной Церковью выдвигалась византийско-языческая вера в государство и в государственную власть, не связанную с божественной властью Христа.

Потом был период некоего равенства государственной и церковной власти, равенство царя и патриарха, — это период Филарета Никитича⁷ и Никона⁸. Но конечно, этот период нельзя назвать временем исправления исторической ошибки московского двоеверия.

Особенно при Никоне выявилось стремление к клерикализму, к созданию особого рода московского папизма, устремленность церкви в дела государственные.

И эта неправильно понятая задача, — приятие царства Кесаря Церковью, — дала два роковых результата: с одной стороны, конкурируя в чисто государственном деле со светской властью, церковная власть открыла себя всем светским ударам и ослабила свою чисто духовную сущность. Таким образом, когда это двоевластие стало неудобным, царская власть отстранила власть патриаршую. И отстрани-

ла не только от государственных дел, но и нанесла ей великий ущерб в чисто церковных делах.

Вторым результатом никоновской клерикальной политики был раскол, видевший в Никоне антихристианское начало и питавший его ошибками свою культурную косность.

Суд над Никоном выявил весь грех, который накопила русская история. Он обвинил Никона в клерикализме, то есть в присвоении духовному авторитету функций светской власти, но, по существу, оправдал в византизме, подчиняющем церковь светской власти, так как, осудив раскольников, обратился за помощью против них к светской власти.

Этими выявившимися и определившимися процессами была облегчена задача Петра — второй подвиг самоотречения, известный в русской истории.

Соловьев не находит достаточно сильных слов, чтобы определить значение петровской реформы. Для него «Петр был историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциальным или теократическим». «В его лице Россия изобличила византийское искажение христианства — самодовлеющий квиетизм». «Петр Великий избавил нас от староверческой китайщины и от запоздалой пародии на средневековое папство». «Упразднение патриаршества и учреждение синода — провиденциальная мудрость преобразователя».

Наряду с этим, — и это надо подчеркнуть, — Соловьев знает, чем с самого начала был синод для русской церкви. Он приводит фразу Петра о необходимости «учинить духовную коллегия под наблюдением из офицеров доброго человека, который бы синодское дело знал и смелость имел». И когда он приводит эту фразу, он, несомненно, чувствует ее кощунственный смысл.

Много и часто он пишет об архиереях, награжденных генерал-адъютантскими аксельбантами, и о том, что в приказах по министерству народного просвещения утверждается, что царь есть духовный глава церкви — цезаропапизм и т. д.

У него есть даже такая фраза: «Сначала, — при Никоне, — духовная власть тянулась за государственной короной, потом крепко схватилась за меч государственный и наконец принуждена была надеть государственный мундир».

И наряду с этим он верит в провиденциальность акта Петра.

Более того, он говорит: «Это и освобождение крестьян является исполнением некоторых условий на пути к христианскому царству».

Думается, что это противоречие у Соловьева может быть понято только при одном допущении: русский народ, выполняя возложенную на него Богом миссию, не мог сознательно выполнять ее. Он являлся слепым орудием в руках Промысла. Реальные требования жизни, которым он отвечал, совершая тот или иной акт, совершенно не совпадали с идеальными заданиями его исторической миссии.

Итак, призывая варягов, он думал об укреплении государства, а не об совершении акта самоотречения.

Совершая реформу Петра, он стремился к реально нужному ему оружию европейского просвещения, а не к идеально заданному акту самоотречения.

Так и только так можно понять Соловьева, особенно если привести следующие его слова:

«Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о достойном существовании».

«Высший идеал русского народа,— святая Русь,— исключает всякое национальное самолюбие. Для России всегда необходим акт национального самоотречения — духовного освобождения ее».

«Ни нормандские завоеватели, ни немецкие мастера не поглотили нашей народности».

«Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам,— этот дух всегда внушал им искать не своего, но хорошего».

Из этих выдержек явствует взгляд Соловьева на «водимость» русского народа.

Собственно, и веру Россия получила в порядке акта самоотречения.

Два другие акта самоотречения дали России сначала государственность, потом просвещение.

И каждый раз, когда русский дух отступал от этого христианского направления самоотречения и возвращался к тем или иным формам язычества, он обнаруживал полную несостоятельность, он кренил заданную историческую линию и не следовал истинному пути.

Так оно было в период самовозношения Московской Руси, так оно есть и теперь (в дни Соловьева), когда ложный патриотизм подменяет законные требования национальности — национализмом. Это все равно что подменить понятие личности — эгоизмом.

Теперь в этом ложном уклоне выявляется все грешное, что свойственно России: православие воспринимается как бытовой атрибут народа, государственная власть утвер-

ждает себя как глава Церкви, национальный эгоизм провозглашается единой разумной политической доктриной.

VI

Вместе с тем Соловьев считает, что национальная задача России существует и ее нетрудно понять.

«Цель России в более прямой и всеобъемляющей службе христианскому делу, для которого и государственность, и мирское просвещение суть только средства. Россия имеет в мире религиозную задачу».

«Для того чтобы понять эту задачу, необходимо отречься от церковной исключительности, необходимо свободное и открытое общение с духовными силами запада».

Значит, вот он — грядущий спасительный акт самоотречения — отречение от своей духовной исключительности.

«Если мы верим во внутреннюю силу восточной Церкви и не допускаем, что она может быть облатынена, то мы должны желать общения с западом».

«Самоотречение — вселенское, православное дело, оно и наше — русское дело. Вселенское дело Божие вполне согласно с лучшими особенностями русского народа. Святая Русь требует святого дела. Оно — духовное примирение Востока и Запада в Богочеловеческом единстве вселенской Церкви».

Для того чтобы понять эту мысль, необходимо усвоить, что в Богочеловеке-Христе соединились три служения — первосвященническое, царское и пророческое.

И еще иное триединство надо помнить — триединство Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.

И то и другое должно иметь разумное воплощение в историческом процессе.

Для Соловьева несомненны первосвященнические права, осуществляемые Римским престолом — престолом Первоапостола Петра, для него несомненен отпад восточной Церкви от этой римской, вселенской, кафалической.

Восстановление этих первосвятительских прав, признание их, отречение от своей обособленности, вхождение в лоно единой кафалической Церкви — вот в чем акт отречения, заданный нам историей.

Правда, наряду с такой определенной постановкой вопроса у Соловьева встречаются слова, совершенно меняющие весь его внутренний смысл.

Так, в одном письме к Штроссмайеру он пишет:

«Если Россия и славянство есть новый дом Давидов в христианском мире, то ведь сам божественный восстановитель Давидова царства принял крещение от Иоанна из рода Ааронова, представителя священства».

В этой фразе сильно умалывается значение священства римско-католической церкви.

Итак, католичество воплощает священство Богочеловека, а идея святой Руси является идеей православного царства. Царское служение Христа выявляется символически в служении русского народа.

Пророческое же служение Христа требует от истории воплощения свободного слова, свободной общественности.

Проверяя эти три краеугольных камня,— первосвященничество Рима, русское православное царство и свободную общественность,— триединством Отца, Сына и Святого Духа,— Соловьев приходит к тем же выводам: Отецеская власть первосвятителя, главы вселенской Церкви, папы Римского, наследника апостола Петра. Глава христианского царства воплощает царскую власть Сына, он должен быть духовным сыном первоиерарха Отца. И Святой Дух должен быть принят в свободной мысли свободного общества.

Таково по Соловьеву историческое задание.

Вот его точное определение:

«Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства,— царственную власть Сына,— авторитету вселенской Церкви,— священству Отца,— и отвести подобающее место общественной свободе,— пророческому действию Духа».

Трудно и даже, может быть, не нужно, критиковать, по существу, «русскую идею» Соловьева. В ней, как во всякой чисто умозрительной схеме, все определяется заданием автора, его потребностью найти ответ на мучащие его вопросы.

Для понимания же его построений важно только одно: важно установить целевой смысл всего мирового исторического процесса. И второе,— понять, что самым существенным в тактике русской истории он считает тактику самоотречения — единственную спасающую и уводящую от гибели русский народ.

И это христианское самоотречение было актом не святых и подвижников, которые зачастую, наоборот, были полны идеей национальной исключительности и национального эгоизма. Оно является бессознательным актом самого народа, имеет иногда обличие грешное и мирское, сопро-

вождается совершенно иными представлениями, чем те, которые, по существу, в нем лежат.

VII

Мы видели, как разнообразны вопросы, которых касается Соловьев. Мы заметили уже, что все они интересуют его главным образом с точки зрения того, как можно найти в них пути к всеединой вселенности. Весь мир и вся история становятся в руках Соловьева служителями последней и абсолютной истины. Все имеет свой смысл и свое задание в божественной архитектонике.

И добро, как последняя цель человека, красота, как совершенный облик, к которому должно стремиться творение, истина, как последний предел познания,— все уже заложено в этом мире и нуждается только в окончательном раскрытии и воплощении.

Почти все жизненное творчество Соловьева окрашено ничем не смущаемым оптимизмом.

В этом, может быть, сила его гениальности, потому что гениальность сама в себе несет тайну воплощения и не смущается косностью окружающего мира, которую ей в этом воплощении подлежит преодолеть. Для гениальности ее творческое задание кажется всегда уже и чем-то воплощенным.

В построениях Соловьева до самых последних лет его жизни как бы нет места для зла, уродства и лжи.

Они не умещаются у него в мироздании, и этим определяется относительность их существования.

Зло есть несовершенное добро.

Уродство — несовершенная красота.

Ложь — несовершенная истина.

Исторический же процесс, иногда отступая и нарушая правильный ход событий, по существу, все же ведет к окончательному воплощению правды и вселенского всеединства.

И только в последние годы у Соловьева наметился резкий душевный сдвиг.

Он как-то неожиданно увидел реальную силу зла и лжи. Он вдруг понял, что именно они являются господствующим началом реального мира и реальной истории, что никакие схемы не могут поглотить этой реальности.

Соловьев ужаснулся подлинному трагизму жизни и эмпирической невозможности преодолеть этот трагизм.

Но и тут он все же остался верен себе: пусть зло и смерть царят в жизни,— творческий взор Соловьева обратился к сверхисторическим временам, захотел проникнуть в тайну последнего сражения между добром и злом, между Христом и Антихристом.

Самое вещее, самое страшное и проникновенное, что написано им, было именно то, что он писал под влиянием наступившего душевного кризиса.

Это легенда об Антихристе.

Мир во зле лежит. Зло торжествует даже под личиной правды и справедливости. Вот основная первоначальная тема легенды.

Всемирный император, всемогущий владыка мира, создатель царства справедливости и внешнего добра,— он,— сын возлюбленный князя тьмы, Сатаны,— он,— предрекаемый в Апокалипсисе⁹ Антихрист.

В этом образе Соловьев показал, в какой степени утерял он веру в возможность осуществления подлинного добра в мире. Антихрист подменил все чаяния человечества собою, окончательно заградил пути человечества к Богу.

И нет в пределе земной истории такой силы, которая могла бы свергнуть его. О нем соблазняются почти все, а несоблазненные,— меньшинство слуг Христовых,— побеждаются им силою.

Магическим колдовством своего помощника Аполлония Антихрист убивает старца Иоанна, представителя православной Церкви, и папу Петра II — последнего папу Римского.

Оставшуюся же горсточку несоблазненных христиан уводит за собой в пустыню доктор Эрнест Паули — представитель протестантизма.

Антихриста Соловьев характеризует так: «Он верил в добро, в Бога, в Мессию, но любил только себя».

Жуткими образами описывает Соловьев момент, когда на последнем вселенском соборе в Иерусалиме Антихрист-император изобличен старцем Иоанном:

«Старец Иоанн в ужасе отпрянул от него и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул: детушки, Антихрист».

Тогда магическими действиями Аполлония он пал мертвым.

Император предложил собору принять постановление, признающее его единственным владыкой мира.

«Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму: «Contradictur». Папа Петр, второй встал и с по-

багровевшим лицом, весь трясаясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору».

Так описывает Соловьев последние дни мира и последнее противостояние Христовой Церкви Антихристу.

И любопытно, что тут Соловьев, даже говоря о том, что истинные представители Церкви объединились, чтобы противостоять Антихристу,— все же считает, что подлинное единение церквей должно наступить уже за гранью эмпирической истории, после того, «как небо распахнулось великою молнией от Востока и до Запада и верные увидели Христа, сходящего к ним в царских одеяниях, с язвами от гвоздей на распростертых руках».

Тут только, во время тысячелетнего царствования праведных оказалось возможным соединение церквей в единую вселенскую Церковь. Тут только наконец признал Израиль своего Мессию.

Для Соловьева «еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана, вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменить не позволено».

Таким образом, Соловьев, перестав верить в возможность воплощения добра в эмпирической истории, перенес все свои чаяния и надежды на момент, когда за гранью времен Христос придет во славе и повержет силу зла.

Легенда об Антихристе была для соловьевского творчества решающим моментом. В предисловии к ней он пишет: «Ощутителен и не так уже далек образ бледной смерти, тихо советующей не откладывать печатанье этой книжки».

А. ХОМЯКОВ

I

Есть ли смысл в наши дни изучать философско-общественные школы XIX века? Не уничтожила ли война и революция старые традиции русской мысли? Не созданы ли сейчас совершенно иные навыки? Не изменена ли жизнь настолько, что никакие старые мерки к ней не приложимы?

Если это так, то к изучению славянофилов можно подходить только с чисто историческим интересом, как к памятнику человеческой мысли, не имеющему влияния на современную жизнь.

Но возможна ли такая точка зрения? Возможно ли

считать, что все события, имевшие место в последние десятилетия, не связаны глубочайшими корнями со всем русским историческим прошлым, и революция, — не помнит родства? Думается, что такой взгляд лишает человека возможности мало-мальски правильно понять все происходящее.

События совершаются в истории не по декрету отдельных исторических деятелей, а по внутренним законам жизни народа, и корни современных процессов лежат глубоко в толще его истории. Поэтому один из ключей к уразумению их надо искать в изучении истории и в изучении истории мысли данного народа.

В самом деле — на наших глазах протекает огромная и совершенно своеобразная русская революция. Чем объяснить, что именно в России она приняла такую небывалую форму? Как понять, что приблизительно одни и те же жизненные обстоятельства — усталость и истощение от войны — и одна и та же общественно-философская доктрина — марксизм — дали такие разительные противоположные результаты в России и в Германии?

Конечно, совершенно законно изучать общие черты в возникновении процесса в этих двух странах. Но незаконно отвергать наличие и противоположных черт, дающих совершенно своеобразную окраску этим двум процессам.

Объективность требует учета двух родов факторов в истории — общих всем одновременно существующим историческим процессам (общая война, существование общепринятых философских построений, общая культура, общие рынки, общие условия хозяйствования и труда); и факторов, свойственных лишь отдельным историческим индивидуальностям (влияние предшествующей истории, национальная и расовая особенности, особые свойства социальных отношений, психологическая восприимчивость к некоторым общественным лозунгам, исторические цели и задачи, географические условия, национальный состав и т. д.).

Несомненна значительная роль и тех и других факторов. И объективность требует одинаково внимательного отношения к ним, с одной, пожалуй, существенной оговоркой: поскольку последнее десятилетие русская общественная мысль особенно упорно останавливалась на факторах первого порядка, постольку теперь совершенно неизбежно обратить особое внимание на факторы второго порядка, характеризующие самобытность исторического процесса в России.

Можно было бы сказать так: изучение той части русского процесса, которая обща России и другим странам, позволяло с большой достоверностью предсказывать русскую революцию. Изучение же русских особенностей позволит понять специфические свойства совершившихся событий и сделать из них правильный вывод.

Таким образом, можно утверждать, что мы стоим сейчас в области русской мысли перед эпохой крайнего историзма, перед необходимостью строгой и внимательной проверки указаний, не только русской истории, но и истории русской общественной мысли.

И на этом пути в первую очередь перед нами встает школа славянофилов, наложившая такой сильный отпечаток на мысль почти всего XIX века и имеющая значительное влияние на многие общественные направления, даже мало сознающие это свое родство со славянофилами.

Основное значение славянофилов заключается именно в том, что они впервые заинтересовались в русском историческом процессе той его стороной, которая делает его своеобразным и не похожим на исторические процессы других народов. Очень вероятно, что в этом увлечении русскими особенностями они зашли слишком далеко, чрезмерно умаляя черты, роднящие Россию с другими странами.

Но поскольку славянофильская мысль была не единственной в России и им противустояла школа западников, грешащая другой крайностью,— общее равновесие в понимании русской истории было соблюдено, а в дальнейшем если и нарушалось, то именно в сторону западничества, в сторону забвения путей русского народа, забвения путей славянофилов.

Славянофилы откликнулись на все основные вопросы современной им России. Все элементы, влияющие на психологию русского народа, были ими так или иначе изучены.

В центре их внимания стояло православие, до них, пожалуй, психологически и философски совершенно не раскрытое русскими мыслителями. Можно смело утверждать, что до Хомякова в России не существовало настоящей православной философской школы, и если православные богословы до него полемизировали с богословами Запада, то делали они это, употребляя в каждом конкретном случае доводы католицизма против протестантизма и доводы протестантизма против католицизма.

Можно даже думать, что в области теоретического богословия работы Хомякова сыграли такую же оформляющую роль для православного сознания, как современный

ему догмат о непогрешимости папы — для сознания католического.

Своеобразие русской истории было так же одним из существеннейших объектов внимания славянофилов. С особым интересом обращались они к Московской Руси, к специфическим особенностям ее политического строя и социальной структуры. Наряду с западниками и после Чаадаева² они впервые, так сказать, «увидели» по-настоящему русскую историю. Впервые именно ими было обращено внимание на значение общины не только в народном хозяйстве, но и в народной психике — вопрос, который имел такое решающее значение для всего дальнейшего хода русской общественной мысли.

Необходимо отметить еще одну специфическую особенность славянофилов: по всему своему психологическому складу они сами по себе, как отдельные люди, были представителями этих особенностей русского психологического типа. На них — на каждом из них в отдельности — можно изучать русское национальное самосознание. В этой их органической сращенности с русским душевным укладом — залог подлинности и цельности их учения.

Особенно легко изучать по славянофильству своеобразие русского христианства. У них мы найдем особый органический демократизм, жажду соборности, преобладание единства любви над единством авторитета, нелюбовь к государственности, к формализму, к внешним гарантиям, преобладание внутренней свободы над внешним оформлением, патриархальное народничество и т. д.

Любопытно, что не только национально-русское христианство можно изучать по ним, но и национально-русское язычество. Они впитали в себя почти все действующие силы русского народа и, может быть, впервые дали им наименование и словесное воплощение.

В этом их значение, и в этом особый смысл изучения их работы.

II

Но прежде чем говорить об учении славянофилов и характеризовать одну из центральных фигур славянофильства — Алексея Степановича Хомякова, — совершенно необходимо нарисовать облик современной им эпохи.

Эпоха Чаадаева, Грановского³, Герцена⁴, Бакунина⁵ Хомякова, Киреевских⁶, Аксаковых⁷ — это какой-то небывалый дотоле период в истории русской мысли.

В самом деле — позади них исчезнувшие традиции Московской Руси, искалеченной и измененной до неузнаваемости реформой Петра. Дороги к ней заказаны, культура ее почти забыта, заслонена, стерта. Непосредственно за их плечами XVIII век — самый странный и неожиданный период русской истории, период великого раскола русской культуры, расцвета западных идей, обычаев, мод, пышный век Екатерины, почти колонизовавшей дикую русскую равнину, прививавшей ей дух законов Монтескье⁸ и западное свободомыслие Дидерота⁹.

Думается, — можно смело утверждать, — если русская революция, в смысле изменения существующих экономических и правовых отношений, — произошла в 1917 году, — то ей предшествовала в области культурных навыков и духовных устремлений — иная революция, — революция первой половины XIX века, — изменившая так прочно привитую Петровскую традицию, отучившая русских мыслителей от вечного созерцания западной жизни, открывшейся им усилиями Петра, обернувшая их «лицом к России». Эта эпоха одна из более интересных и показательных в русской истории, — если мы ее не поймем как следует, — мы ничего не поймем в современности, — так как первоначальные корни большинства учений, современных нам, находятся именно в ней.

С внешней стороны эта эпоха характеризуется царствованием Николая I. Творческое напряжение Петровской ломки давно завершилось. Пышно расцветшая, но, по существу, чуждая русскому народу Екатерининская монархия уже отблестала. Александровские войска обошли Европу и вернулись домой, принеся одновременно и радикальные идеи декабристов, вскормленные философией революционной Франции, и мистику библейского общества, квакеров, франкмасонов, баронессы Крюденер — весь буйный цвет германской романтики, выросшей на протестантских дрожжах.

Русская мысль не только напиталась западными идеями — она была пресыщена ими.

И может быть, основной смысл Николаевского царствования заключался именно в том, что дальше этим путем нельзя было идти, нельзя было жить за счет чужих идей и чужой культуры. Она перестала питать и оживотворять русскую культуру. Поэтому официальная русская культура закаменела, застыла в своем холодном блеске, затянута в мундир, задыхающаяся на пышных парадах.

И органически ей на смену начала расти иная культура,

стремящаяся осмыслить свою связь не с западом, а со своим собственным народом.

Никто, может быть, лучше Герцена не показал мучительности развивающегося процесса. И никто лучше его не определил выходящих на сцену новых сил и их взаимоотношений.

В то время «Россия будущего,— говорит он, существовала исключительно между несколькими мальчиками, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей,— а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси».

Надо сказать, что Герцен был совершенно точен в своей формулировке трех наследий,— эти ничтожные мальчики, ставшие в дальнейшем представителями русской культуры, даже расколовшись и по-разному восприняв дарованное им наследие,— определили собой дальнейшее течение русской мысли и, в противоположность XVIII в., сообщили всей грядущей эпохе русской мысли ее напряженный и в то же время органический характер.

Сейчас трудно учесть и понять тяжесть, которую они приняли на себя,— тяжесть разрыва с чуждыми традициями, созидания на пустом месте русского национального самосознания, закладывания фундамента истории русской интеллигенции.

У того же Герцена есть слова, относящиеся и к нему лично и к его идейным противникам, достаточно ярко характеризующие эту тяжесть:

Вот они:

«За что мы рано проснулись? Спать бы себе, как все около».

«Наше состояние безвыходно, и наше дело отчаянное страдание».

«Мои плечи ломаются, но еще несут. Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания — почки, из которых разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее? Отчего руки не поднимаются на большой труд, отчего в минуты восторга не забывается тоска? Пусть же они остановятся с мыслию и с грустью перед камнем, под которым заснем: мы заслужили их грусть».

И это он говорит не только о своих единомышленниках, а обо всем поколении.

Вот как он характеризует славянофила Киреевского —

своего идейного противника: «Он страдает и знает, что страдает, и хочет страдать, не считая вправе снять крест тяжелый и черный, наложенный фатумом на него».

Этот крест тяжелый и черный давил все поколение: просыпались новые силы, русская мысль пробивалась на новые дороги,— и те, кто начинал этот новый путь,— были заведомо обречены.

И пусть по-разному чувствовали они эту обреченность. Тот же Герцен характеризует разный подход к русскому будущему у Чаадаева и у славянофилов.

«У Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа. У славян ясно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа».

Приведенных слов достаточно, чтобы остро почувствовать напряженность эпохи и трудность, перед которой стояла молодая самостоятельная русская мысль.

Чаадаев был зачинателем. Он первый поставил вопрос об этой трудности.

«Письмо Чаадаева,— говорит Герцен,— было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь. Тонуло ли что и возвещало гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что утра не будет,— все равно,— надобно было проснуться».

Что же возвещало это последнее слово? Что должно было начаться от этого рубежа? И наконец,— утра или то, что утра не будет, возвестил Чаадаев.

Обратимся к нему, потому что он,— в начале эпохи,— как бы задал ей вопрос, на который она потом устами всех своих представителей по-разному отвечала.

«В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол — пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью. Или, может быть, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое».

В этих словах — ирония и боль.

Такой же иронией проникнут диалог Герцена со славянофилами.

Они утверждают: «Москва — столица русского народа, а Петербург — только резиденция русского императора».

А Герцен, соглашаясь с ними, говорит: «И заметьте,

как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту».

Но все эти цитаты касаются главным образом характеристики современного им положения вещей.

Между тем, может быть, не современность, а прошлое является в данном случае основной причиной всех недоумений и страданий Чаадаева. Он как бы не открыл русскую историю, она для него еще запечатана, она вся поглощена и растворена в нерусском XVIII веке.

Конечно, сейчас нам чужды и странны характеристики, даваемые им русскому прошлому. Но если теперь мы видим, что в этих характеристиках он ошибался, то, с другой стороны, они являются для нас непреложным свидетельством, какой глубокой бороздой прошел XVIII век по телу русского народа, как были забыты все старые истоки, как приходилось строить буквально на голом месте.

Необходимо привести его слова о русском прошлом целиком, потому что они нам очень точно покажут все трудности, стоявшие на пути славянофилов, когда они искали корней русской органической жизни. Ведь Чаадаев немногим старше основного славянофильского поколения, а между тем кроме пустыни за своими плечами он ничего еще не мог разобрать.

«Сначала у нас дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное иноземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть,— такова печальная история нашей юности. Эпоха нашей социальной жизни была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство,— вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни грациозных образов в памяти народа, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил вам о прошлом».

«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбия Фотия эта семья народов только что была отвергнута от всемирного братства. В Европе все одушевлял тогда животворящий

принцип единства. Не причастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвой завоевания. И далее новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас».

И потому дело Петра — величайшее благо. «Он понял, что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилизацией, которая есть последнее выражение всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в истории и незачем тащиться чрез хаос национальных предрассудков по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны свободным порывом наших внутренних сил овладеть нашей судьбой. Он передал нам запад сполна, каким его сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее».

И наконец: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-либо важный урок».

Правда, наряду с этим Чаадаев говорит: «Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу. Ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим спор в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, она получила в удел дать в свое время разрешение человеческой загадке».

«Все великое приходит из пустыни».

Конечно, мы теперь очень точно можем разобраться во всех элементах, входящих в эти слова.

И прав Герцен, характеризуя эти настроения так: «И если когда в минуты бесконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый родительский дом, то ведь это одни крепкие на ум не слышали в их проклятиях благословения».

Но не это, не бесконечная боль даже должна нас интересовать в словах Чаадаева.

Самое основное, что в них слышится, — это вызов. Они отнюдь не ответ. Они только беспредельно заостренный вопрос — вопрос о русской судьбе.

И на этот вопрос, поставленный по существу, конечно, не одним Чаадаевым, а всей совокупностью русских исторических условий, всем напряженным и замороженным величием, к которому пришла Россия его времени, нельзя было отмолчаться.

Чаадаевский выстрел раздался — собственно, вся Россия того времени была рубежом — «весть об утре или о том, что утра не будет». «Надобно было проснуться» — проснуться и ответить.

И мы знаем бесконечные ответы, которыми заполнен XIX век. Собственно, основное его содержание — это мука русской мысли о своей русской судьбе, жажда угадать ее тайные знаки, найти указание своего пути, понять себя. И можно было бы просто вести бесконечный регистр таких ответов, попыток самоопределиться. Последние попытки доходят до современности.

Но как бы они ни были разнообразны, в них можно по точным признакам произвести известную классификацию.

Славянофильство и западничество, динамика и статика, историзм и экономизм, народничество и марксизм, неославянофильство и неозападничество — это все известные противоположения, характеризующие русскую мысль на путях ее самоопределения.

И прежде чем перейти к первой попытке целостного положительного ответа на чаадаевский вопрос, к попытке славянофилов и Хомякова в частности, необходимо характеризовать их взаимоотношения с другим течением, в частности, с Герценом, который был, с одной стороны, несомненно гораздо острее славянофилов, а с другой — не имел их пафоса созидания и творчества. У него сильнее пафос отталкивания, критики, разрушения.

Зачастую его взгляд на русскую историю совпадает с чаадаевским:

«Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем. Крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым. Кнут, батоги, плети являются гораздо раньше шпицрутенов и фухтелей».

«Аскольд и Дир¹⁰ были единственные порядочные люди из всех пришедших с ними пешком в Киев. Единственный период в русской истории, который читать не страшно и не скучно, — это Киевский период».

И сам Герцен дает обширный материал для характеристики славянофильства и своего отношения к нему.

В первую очередь, он очень своеобразно устанавливает его родословие:

«Казненное, четвертованное, повешанное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками в виде буйных стрельцов, отравленное в рavelине Петербургской крепости в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре втором, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина — православная немка при прусском голштинце Петре III — как Елизаве-

та, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол. Все раскольники — славянофилы. Все белое и черное духовенство — славянофилы. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей».

И с ними у Герцена образовались странные отношения: они стали друго-врагами.

«Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое страстное чувство — чувство безграничной, обхватывающей все существо любви к русскому народу. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно. Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. В ее комнате было нам душно. Все почернелые лица из-за серебряных окладов... Мы знали, что у нее нет светлых воспоминаний, — мы знали и другое, — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш — это наш младший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».

«Им нужно было предание, прошедшее, — нам хочется оторвать от него Россию».

«Они отправились искать живую Русь в летописях, так, как Мария Магдалина искала Иисуса в гробе».

«Для них русский народ преимущественно православный, т. е. ближайший к веси небесной, для нас он преимущественно социальный, т. е. наиболее близкий к земной веси».

«Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещенно паникадиллом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос».

Но наряду с этим:

«Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, на все подчинение совести рабелепной Византийской церкви. Их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни. Клад их, может быть, и спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Славянизм существовал со времени обриту первой бороды Петром I».

И наконец, последняя цитата:

«История, как движение человечества к освобождению и себяпознанию, для славянофилов не существует. Они говорят, что плод европейской жизни созрел в славянском

мире, что Европа, достигнув науки, негации существующего, наконец провиденья будущего в вопросах социализма и коммунизма, — совершила свое и что славянский мир — почва симпатического, органического развития для будущего. Славянофилы, веря в мечтательную будущность, хотя и понимают настоящее, но, радуясь будущему, мирятся с ним, — их счастье».

Думаю, что приведенных цитат-свидетельств такого крупного современника, друга-врага Герцена достаточно, чтобы почувствовать напряженную атмосферу споров первой половины XIX века.

После долгой спячки, после чуждого периода истории русская мысль проснулась и сначала испугалась окружающего. В самом деле — за спиной — преданное прошлое, от которого отделяет больше века. Действительно никаких воспоминаний. Каждая существующая идея укоренена в западных идеях. Единый лик русской культуры расколот и раскромсан. Жизнь идет по нескольким руслам. Столица, двор и дворянство блюдут прусско-голландские образцы, приправляя их пышностью дореволюционного Версаля, а земщина, деревня, вся русская равнина берегут какие-то уцелевшие корни Московского царства.

Что принять как должное? Что признать своим, подлинным, не только случайно сохранившимся, а жизнеспособным, органически связывающим все стороны русской культуры?

Да и есть ли такое подлинное русское начало, способное дать жизнь дальнейшей истории?

Чаадаев сомневался в этом. И если иногда и приходил к выводу, что перед Россией лежит великий путь, то только на том основании, что все великое приходит из пустыни.

Герцен сначала так же сомневался в русской судьбе и был склонен глядеть на запад. А попав туда, захлебнувшись европейским мещанством, приблизился ко взглядам славянофилов на русскую самобытность.

Но, отталкиваясь от существующего положения вещей, он был слишком революционен, чтобы строить органическую систему взаимоотношений русской жизни.

Первая попытка такого построения принадлежит славянофилам. Думается, что тут Герцен был не прав в их характеристике: именно стремление найти живую Русь в летописях создало то, что во многих отношениях их учение и сейчас несет на себе печать современности.

Но главная и непререкаемая заслуга их в том, что они

основное внимание своих исследований сосредоточили на центре русской духовной жизни — на православии.

III

Одной из центральных фигур славянофильства был Алексей Степанович Хомяков.

Не только в том, что он писал, но и во всем его духовном облике сказалась эта характерная для славянофилов черта: органическая сращенность с русской народной психикой и исключительная целостность миропонимания.

Писал Хомяков много и по очень разнообразным вопросам. Но на всех его работах лежит печать единства основной установки, все они отмечены своеобразием и органической цельностью. Ни время написания, ни тема не нарушают связи с каким-то духовным центром всего его существа.

По количеству большинство его сочинений посвящено вопросам историческим, но самыми интересными и самыми значительными надо считать чисто богословские работы, посвященные вопросу о православном понимании природы Церкви.

Для того, чтобы более наглядно показать цельность миропонимания Хомякова, необходимо сначала остановиться на его философии истории, из которой с неизбежностью вытекают все его другие положения.

Для Хомякова исторический процесс есть развитие живого, конкретного народного организма. Этот народный организм, как и всякий другой, имеет свои индивидуальные особенности и не сливаем с другими организмами.

Движущим фактором в истории народа является его вера. Ею он определяется как психическая индивидуальность, ею ставятся задачи его историческому процессу и выбираются формы осуществления этой задачи. Понять особенности веры данного народа — это понять всю его внутреннюю сущность.

С другой стороны, исторический процесс является всегда противоборством двух начал — свободы и необходимости — иначе — духовности и вещественности. Свободный дух есть творческое начало в истории, которому надлежит побеждать косность вещества и закон необходимости, в котором вещество пребывает.

И тип веры, своеобразие религиозного отношения к миру главным образом опеределается тем, как воспринимает народ эти два начала в историческом процессе.

В соответствии с этим Хомяков делит все религии на *кушитские и иранские*.

Кушитство — это религия необходимости. Она определяет собою силу и власть вещества над свободным творческим духом. Характерным проявлением ее является магизм.

Иранство — религия свободы, религия творческого духа, побеждающего косную материю, преодолевающего необходимость.

Все языческие религии являются главным образом проявлением кушитства. Первым историческим примером иранской религии надо считать иудаизм.

Кушитство, в свою очередь, разветвляется в одной части своей в шиваизм — оно поклоняется царствующему веществу, оно окончательно отходит от познания и приятия духа. Другое направление кушитства — буддизм — это поклонение рабствующему духу, духу, который по неизбежности покорен веществу и не имеет свободы.

Кушитское начало определяет собой не только религии, но и самые разнообразные философские системы. Хомяков усматривает его в финикийской религии, в буддизме, у офитов, в материализме, современном ему, у Гегеля¹¹.

Более того, Хомяков считает, что кушитство восторжествовало в католицизме и тем исказило его христианское начало, которое является предельно иранским началом.

С точки зрения этого критерия и другая сила, имевшая решающее значение в исторических судьбах Европы — германизм, — так же целиком находится во власти кушитского начала. Германский дух — это дух завоеваний. Он расколол европейское общество на завоевателей и завоеванных.

И может быть, нигде в мире так сильно не сказалось подлинное иранское начало, как в основных свойствах русского народа. Отсюда проистекает безгосударственный характер всех вообще славян — носителей иранского духа, — отсюда и органический русский демократизм, отсюда сила общинного начала, начала соборности, построенного на свободе. Русская церковь чужда римскому империализму, русский человек не завоеватель, а мирный земледелец.

Одним словом, если в мире существует наиболее полное воплощение иранского духа, то это именно в русском народе. Природные христианские свойства русской души гармонически сочетаются с учением православной Церкви.

С точки зрения этого иранского начала — торжества свободного духа над косной материей и над законами необходимости — подходит Хомяков и к учению об обществе и государстве. И в отношении русского народа к государственности он опять-таки усматривает его принадлежность к иранству.

Хомяков не только сам антигосударственник — он приписывает антигосударственность психологии всего русского народа.

Государственность для него — мертвый механизм, прикрывающий живой общественный организм народа. А там, где механизм, там всегда неизбежность. Только организму свойственна свобода.

Поэтому героем и главным действующим лицом исторического процесса необходимо считать не государство, а народ. Государство же есть мертвая механическая шелуха, оболочка живого проявления народного духа. Государство есть лишь объект народного творчества, творцом же, субъектом, является народ. Всякое преувеличение значения государства есть преувеличение необходимости и умаление значения свободного творческого духа.

Власть изначально принадлежит народу, и он волен ею распоряжаться по своему усмотрению, так как он подлинный и единственный субъект исторического процесса.

Так, по мнению Хомякова, воспринимает государственность и русский народ. На этом основании он так мало государственен, даже просто анархичен.

Чем же было для русского народа созданное им самодержавие, столь отличное от западного абсолютизма? Оно было для него подлинным духовным освобождением от политики, той сферы жизни, которой он придавал так мало значения.

В самодержавии сказался политический аскетизм народа. Психологически оно связано с безгосударственным анархическим духом народа. В нем он освободил себя от неизбежных, но тяготивших его государственных обязанностей.

Основная формула русской самодержавной монархии такова: «русская самодержавная монархия есть государственность безгосударственного народа».

Но если у русского народа нет государственного в подлинном смысле слова призвания, то призвание общественное в нем очень сильно. Отсутствие одного абсолютно не предполагает отсутствие другого.

К самоустроению, к внутридемократическому разрешению общественных вопросов русский народ имеет очень большую склонность.

Правильно было бы сказать, что призвание русского народа не государственно-политическое, а семейно-бытовое. И тогда основной общественной единицей русского народа надлежало бы считать семью. Да и, по существу, семья должна быть ячейкой органического общества.

Далее, в порядке осуществления своих общественно-экономических интересов, семьи объединены в патриархальные сельские общины, осуществляющие на началах демократических, на началах самоуправления, свое право на землю, на труд, несущие на себе все общественные права и обязанности.

Необходимо отметить, что для Хомякова голос такой общественной соборности представлялся более ценным и отмеченным печатью особой соборной мудрости, по сравнению с голосами и мнениями отдельных людей... «Мир» и решение «мира» для него не только решение отдельных составляющих его лиц, а и решение некоторого соборного тела, являющегося живым организмом и подчиняющегося особым психологическим законам.

Такова вторая общественная ячейка, дающая своеобразный характер русской истории.

Наконец, завершительным общественным организмом является земщина, сливающая в себе все общины. Ей принадлежит голос земли, голос всего народа. Она должна определять народные пути, она в известной степени непогрешима в области разрешения общественных вопросов. И уж во всяком случае она органически не может изменить основному психическому укладу русского народа, потому что органически с ним сращена.

Земщина не разбита на классы, земщина — это всенародная соборность.

Отсюда проистекает идея Земской Думы, Земского Собора.

Не надо думать, что в эти понятия Хомяков вкладывал начала западноевропейского парламентаризма. Нет, в Европе парламент осуществляет стремление народа к участию во власти. Парламент определяет собой народное право на власть.

Хомяковская Дума или Собор в первую очередь основывается на народном отвращении к власти, на народном анархизме. По существу, земщина, говорящая в Думе, есть носительница власти. Но так как народ не имеет никакого

пафоса власти, то фактически он ее уступает самодержавному царю, который обязан — не формально, но в силу самой моральной природы своего служения — считаться с земщиной, с непогрешимо-точным голосом всего народа.

Таким образом, идеальная общественная структура русского государства представляется Хомякову так: народная патриархальная монархия, покоится на широко развитой сельской общине, которая выражает себя и свою волю в Земской Думе.

Собственно, не только государственную власть русский народ делегировал царю. Свою власть в церковных делах он также отдал царю. И царь есть представитель народа в церкви. (Но отнюдь, конечно, не светский глава церкви.)

Церковь и государство связаны в русской истории не цезаропапизмом, как многие ошибочно предполагают, не учитывая подлинного положения вещей, а через народ, который делегировал царю две свои функции — ношение власти и представительство в Церкви.

«Государь есть глава народа в делах церковных, но ни в коем случае не глава Церкви»...

IV

Вот этот-то герой исторического процесса, действующий творец своей истории — русский народ — во всех своих переживаниях и проявлениях главным образом занимает мысль Хомякова.

И в его понимании русского народа любопытно и своеобразно скрещиваются два понятия, игравшие позднее исключительную роль на двух противоположных крыльях русской общественности, — это народничество и национализм.

Обычные классические примеры русского национализма давала всегда правая общественная мысль, и он упирался в крайний шовинизм. Национализм в России покрывал собой наиболее агрессивные государственно-правовые и территориальные притязания русской империи.

Народничество — плод мысли левых, революционных кругов русского общества — мало интересовалось государственными притязаниями империи и расшифровывало себя не в государственном, а в социальном максимализме. Оно искало народную трудовую правду в той же общине,

в тех же своеобразных социальных особенностях русского быта, где искал свою правду Хомяков.

Ни на одном языке нет такой грани между внутренними свойствами слов: нация и народ. Ни на одном языке эти понятия не ведут к противоположным словообразованиям — национализм и народничество.

В России же не только эти понятия, но и правда, заключенная в каждом из них, были резко противоположны друг другу.

Кем был Хомяков, народником или националистом? В том точном смысле, который позднее получили эти слова, он не был ни тем, ни другим. Для националиста ему не хватало государственности, для народника — недоставало социального радикализма.

Но, несомненно, в известной степени в нем эти два понятия перекрещивались и сливались.

И народ, как таковой, был для него носителем какой-то своей подлинной правды, разнообразно отображенной в различных планах народной жизни.

В области религиозной народ исповедовал истинное и не помраченное христианство — православную веру.

В области общественной он строил свое бытие на подлинной соборности «мирского», «общинного» начала.

В области государственно-политической он благоразумно отказался от несносных политических обязанностей и создал самодержавие — эту государственность безгосударственного народа.

Исходя из всех отличительных особенностей русского народа, Хомяков приходит к выводу, что народ этот — народ мессианский, имеющий призвание религиозное и все-ленское. И целью этого призвания ни в коем случае не может почитаться идеал могучей империи. Цель призвания — идеал святой Руси.

Русский народ сознает это свое призвание и в таком смысле чувствует себя первым народом в мире. А наряду с этим он понимает, что это первенство обязывает его и к первенству в смирении. Чтобы осуществить свое национальное религиозное призвание, русский народ должен быть одновременно исполнен дерзновения и покаяния. Он должен бичевать свои грехи, которые главным образом находятся в области политики.

Задача же русского народа, его вселенская и религиозная миссия, смысл его призвания заключается в создании целостной жизни, в осуществлении общечеловеческой, про-никнутой религиозным началом, в уничтожении того

секуляризованного миропонимания, которое разлагает современную культуру Европы.

V

И тут мы подходим к чисто философским и метафизическим построениям славянофилов. В этой области опять-таки наиболее интересны работы Хомякова. Он воспринимал свою философию как начало новой эры в миропонимании. Настало время положить конец отвлеченной философии Запада, настало время преодолеть культ интеллекта, культ отвлеченного рассудка.

В частности, необходимо преодолеть отвлеченный идеализм Гегеля идеализмом конкретным, необходимо раскрыть его основную ошибку, заключающуюся в том, что он принимает рассудок за целостность духа и подменяет понятие целостного духа понятием рассудка. В этом сказывается его кушитство, невозможность иранского, подлинного усвоения велений свободного духа.

Славянофильская философия хочет быть философией целостной жизни духа.

Хомяков считает, что постижение сущего дается лишь в многообразной полноте жизни. И для него естественен срыв германской идеалистической философии, предопределенный тем, что религиозно она является продуктом протестантизма — вероисповедания, лишенного основной и необходимой цельности.

Подлинная духовная цельность, постижение разума, как творческого и волящего Логоса, сохранило только православие. На этом основании лишь на почве православия может быть создана настоящая философия духа.

И славянофильская философия сознательно обратилась к религиозному питанию.

Славянофильская философия мыслит себя православной философией. Славянофильская гносеология есть церковная гносеология¹².

Самыми характерными чертами философских умозрений Хомякова являются, в первую очередь, утверждение единства субъекта и объекта, отрицание того рассечения их, которое так характерно для западной мысли.

Далее — подлинная философия должна быть философией действия, для нее не приемлем интеллектуализм Запада.

Она должна раскрыть тождество знания и веры — двух

форм миропостижения, корнящихся в одинаковой степени в самом целостном духе.

Центр хомяковской гносеологии — это учение о волящем разуме и разумной воле.

Наконец, есть в его философии одно положение, являющееся звеном между всеми его высказываниями историко-общественного характера и чисто богословскими теориями о существе Церкви.

Для него ограниченное индивидуальное сознание бесцельно постигнуть сущее. Оно замкнуто в своей ограниченности и своими средствами не может эту ограниченность расторгнуть. Ему доступно лишь частичное познание сущего. Поэтому всякая философия, базирующаяся на индивидуальном сознании, неизбежно обречена привести в тупик интеллектуализма, субъективного идеализма и т. д.

Подлинное постижение сущего доступно только соборному сознанию людей. Соборное сознание не есть лишь сумма составляющих собор индивидуальных сознаний. Оно больше этой суммы, и оно органически преодолевает их исключительность и замкнутость в своей познавательной ограниченности.

Соборное сознание является сознанием церковным. Таким образом, только Церкви свойственна истинная философия, только Церковь во всех своих разнообразных проявлениях может претендовать на постижение сущего.

В этом положении мы до некоторой степени узнаем прежние его утверждения подлинности и правды голоса «мира», «общины», хорового начала. Поскольку община, обслуживающая житейские и правовые потребности своих членов, обладает большей внутренней значимостью в своих правоощущениях, чем отдельный человек, — постольку же в более высоком плане — в области познания — соборный голос имеет такие же преимущества по сравнению с голосом отдельной индивидуальности.

Весь мир в своем идеале, во всех плоскостях, в которых он проявляется, начиная от простой и бесхитростной плоскости буднично-деловой и рабочей жизни людей и кончая вершинами религиозной жизни духа, — должен быть построен на соборном начале, в корне уничтожающем интеллектуализм и рационализм и открывающем возможность проявлять себя всем способностям и свойствам целостного духа.

Отсюда вытекает и самое основное учение Хомякова — учение о Церкви. Но прежде, чем перейти к нему, необ-

ходимо остановиться на его мнениях о других христианских вероисповеданиях, ущербленных и искаженных, отринувших идею целостного духа.

VI

Какова история раскола? Что произошло между патриархом Фотием и папой Николаем? Что расскло дотоле единством любви Церковь?

Хомяков считает, что не догматические расхождения были центром событий, определивших отпадение Запада от сдиной вселенской Церкви, и не какие-либо исторические факты, сделавшие невозможным дальнейшее общение Запада и Востока.

Центром всего и определяющим началом была измена Христовой любви, происшедшая на Западе. Единение любви было нарушено, и этим определялось все.

Еще задолго до раскола поместная испанская церковь внесла в чтение Символа Веры слово *filioque* (утвердила исхождение святого Духа не только от Отца, но и от Сына — «иже от Отца и Сына — *filioque* — исходящего»). Поместное испанское предание приняло, как должное, это разнотчение, и оно постепенно распространилось и за пределы Испании.

В этом был, конечно, уже залог больших и существенных расхождений в дальнейшем. Но, по существу, Церковь имела верное и испытанное средство не допустить никаких роковых последствий от этого случайного уклонения одной из провинциальных Церквей.

Достаточно было бы предложить вопрос о *filioque* на рассмотрение Вселенского Собора, и он смог бы вполне авторитетно и полно разрешить его, сославшись на тексты Священного Писания и подкрепив свое постановление священным Преданием. Такого разрешения вопроса требовало то единство любви, которое является центральным в живом организме Церкви.

Вместо этого папа Николай присвоил частному западному мнению право на самостоятельное решение догматического вопроса, не считаясь с мнением всей вселенской Церкви — всего Тела Христова.

«Действием своим, т. е. самовольным изменением символа, Римский мир заявил, что в его глазах весь Восток — илот в делах веры. Право решения догматических вопросов присвоилось церкви областной».

Вне любви вселенская Церковь не может общаться с церквями поместными — она не знает иного способа общения.

И этот акт Запада, нарушивший единство любви, отторг его от вселенской Церкви и предопределил неизбежность дальнейшего углубления раскола. Все последующее логически вытекает из этого акта.

«Подлинная вера не может сохраняться там, где оскудела любовь».

Закон любви подменился утилитаризмом и рационализмом.

А по существу, этот акт западной церкви заключал в себе полное узаконение протестантства. «В католицизме зрело зерно реформации. Западная церковь обратила человека себе в раба и вследствие этого нажила в нем себе судью».

В самом деле: раз отказавшись от единой соборной жизни со всею вселенскою Церковью, католицизм отказался от правильного понимания мистической сущности церковного тела, принципиально принял случайный критерий человеческого разума в делах веры и тем самым определил относительность этого критерия.

Католицизму в конечном счете понадобился догмат о непогрешимости папы, чтобы как-либо заполнить место, занимавшееся раньше понятием непогрешимости Церкви в ее целокупности. Догмат этот несколько не менее рационалистичен, чем утверждение протестантства, отрицающего Церковь. Разница тут только в степенях и уклонах.

И в протестантстве и в католицизме с одинаковой силой действует принцип крайнего рационализма, утрата целостного духа. И если в протестантизме рационализм идеалистичен, то в католицизме тот же рационализм материалистичен. Только в этом и разница между ними.

Католицизм начал отрицать догмат, как живое предание всей вселенской Церкви, и заменил его преданием поместной церкви. Протестантизм пошел дальше и в своем отрицании догмата, как живого предания, утвердил предание совсем уже внецерковное и случайное.

Таким образом, первый шаг, приведший к расколу, в дальнейшем предопределил внецерковное одиночество западного человека, сделал даже его молитву юридически рациональной.

Отвернувшись от единой подлинной базы религиозной христианской жизни, от базы единства в любви, и расколовшись на два враждебных лагеря внутри себя — протестантизм и католицизм, — Запад во всей своей междоусобной полемике даже и не касается подлинных корней религиозной жизни и все время бродит на поверхности.

Все споры о значении сверхдолжных заслуг, о силе и смысле молитвы, о взаимоотношении веры и добрых дел — всегда объясняются коренной неправильностью в постановке вопросов, и самые противоположные утверждения в этой области одинаково далеко от истинных положений Церкви, так как насквозь проникнуты рационализмом и юридизмом.

Большинство этих вопросов для Церкви просто не существует, а если и существует, то легко разрешается на основе центрального закона любви, пронизывающей Церковь.

Из неразрывной внутренней связи протестантства и католицизма с неизбежностью явствует, что протестантство не может распространиться за пределы католического мира. Грех протестантства является целиком грехом католичества. В нем сказалась основная ущербленность католической любви и католического единства.

Они взаимно связаны и взаимно неизбежны.

И совершенно ясно, что православие, не болевшее болезнью рационализма и юридизма, не может породить протестантского направления.

Перед тем, как перейти к определению настоящего, вселенского смысла Церкви, даваемого православием, интересно посмотреть, как Хомяков характеризует противоположность взглядов Востока и Запада на некоторые вопросы.

«Мудрость Запада учить о законе любви, юродство Востока — о силе и даре любви».

«Мы знаем, что Церковь не ищет Христа, как ищут Его протестанты, но обладает Им, и обладает, и принимает Его постоянно, внутренним действием любви, не испрашивая себе внешнего признака Христа, созданного верованием Римлян».

«Песчинка не получает нового бытия от груды, в которую забросил ее случай. Таков человек в пространстве.

Кирпич, заложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме.

Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма, и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в Православии».

«Три голоса громче других слышатся в Европе: «Повинуйтесь и веруйте моим декретам» — говорит Рим. «Будьте свободны и постарайтесь создать себе какое-нибудь верование» — это говорят протестанты. А Церковь взывает

к своим: «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы,— Отца и Сына и Святого Духа».

Из этих примеров мы видим, как определяет Хомяков существенную разницу православия и западных исповеданий.

Разница тут в самом понимании духовной жизни, в самом мистическом отношении к Церкви и к пребыванию в ней.

И в том, как он углубляет самую постановку вопроса, и в том ответе, который он дает на него, отобразилась основная черта религиозности Хомякова, позволившая Самарину¹³ назвать его первым русским православным богословом.

VII

Отталкиваясь от Запада и полемизируя с ним, Хомяков обосновывает основное учение об истинной соборности, исповедуемое православной Церковью.

Первоначальным отправным положением служит ему окружное послание Восточных патриархов 1848 года, написанное в качестве ответа папе Пию IX на первые попытки Рима провозгласить догмат о непогрешимости папы.

Это послание заключает в себе следующее определение органа церковной непогрешимости:

«Непогрешимость почит единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью. И неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверена охране не одной иерархии, но и всего народа церковного, который есть Тело Христово».

Хомяков понял, какое решающее значение имеет эта формулировка послания патриархов. Собственно в ней после многовекового перерыва, чуть ли не со времени Вселенских Соборов Восточная Церковь точно и ясно определила свою мистическую сущность.

И в глубинах церковной жизни этот голос православия имел, конечно, такое же огромное значение, как для католического мира провозглашение догмата непогрешимости.

Вчитываясь в послание патриархов, особенно поражаешься какой-то надвременностью: написано оно было по поводу злободневного и современного события и полностью отвечало на него, и вместе с тем точно так же оно могло быть написано в V или VI веке, так как темой его

являлась основная и надвременная истина о Церкви.

Таким образом, в истинной Церкви нет церкви учащей и поучаемой. Истина принадлежит только полноте Христа Тела, а отдельные ее члены, как миряне, так и иерархи, неизбежно могут ошибаться и грешить против истины.

Постижение сущности Церкви невозможно одним разумом. В предисловии к богословским сочинениям Хомякова Самарин выразил это так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь, стало быть, я не верую. Церковь принимает в свое лоно только свободных».

Задача Хомякова — изнутри раскрыть существо Церкви. Но подлинное существо ее в окончательной форме невыразимо. Главное ее свойство заключается в том, что она есть живой организм.

Какими же законами управляется этот живой организм? Что является основным двигающим началом его? Что дает ему жизнь?

В области религиозной основной категорией познания является любовь. Единственным источником познания и единственной гарантией религиозной истины должна быть любовь.

Любовь определяет собой соборность, она неосуществима в индивидуальной замкнутости и отрешенности. Но соборность, в свою очередь, должна быть свободной. Церковь и есть свобода в любви.

«Всякое верование есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования».

И для того, чтобы обрести настоящий источник богословствования, необходимо утвердиться на целостной жизни духа и все подчинить религиозному центру жизни.

«Церковь одна. Церковь — это не множественность лиц, но единство благодати, живущей во множественности творения. Только лишь в отношении человеческого земного восприятия она делится на видимую и невидимую».

На самом деле видимая Церковь живых людей находится в постоянном общении со всем Телом Христовым и главою своим — Самим Христом.

Основными признаками Церкви являются внутренняя святость и внешняя неизменяемость.

«Чем святилась бы земля,— восклицает Хомяков,— если бы Церковь утратила свою святость?»

«Внешнее единство Церкви выявляется в общении таинств, внутреннее — в единении духа». «Авраам спасся тем же Христом, как и мы — будущим Искупителем».

«Когда падает кто из нас, он падает один, но никто

один не спасается — спасающийся спасается в Церкви».

«Выше всего в Церкви любовь и единение. Если они наличествуют, то все творит Божественная благодать».

«Неведение — неизбежный удел каждого лица в отдельности, так же как и грех. Лишь в соборном единении любви возможно преодоление этого неведения».

А с другой стороны: «Дух Божий не доступен одному разуму, а только полноте человеческого духа, под наитием благодати».

«Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни собирательное существо, ни существо отвлеченное — это есть Дух Божий, который знает сам себя и не может не знать».

И настоящая церковная вера есть дар благодати и в то же время акт свободы. «В области веры мир, подлежащий исследованию человека, не есть мир внешний».

«Человек находит в Церкви самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного искреннего единения со своими братьями и со своим Спасителем».

И дальше: «Церковь есть откровение святого Духа, даруемое взаимной любви христиан». «Ее назначение — спасение душ и блюдение истин откровенных тайн в чистоте».

«Связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством, нам не открыты, но мы не можем предполагать строгого осуждения всех, пребывающих вне Церкви».

«Не Христа ли любит тот, кто любит правду? Не его ли ученик тот, чье сердце отперто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю, явившему в Себе совершенство любви и самоотвержения, подражает тот, кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев?»

«Мы свободны, потому что свободу завоевал нам Христос свободой своего жертвоприношения». И «кто отрицает Христианское единство, тот клеветает на христианскую свободу, ибо единство — ее плод и ее проявление».

Попробуем сделать общий вывод из всех этих определений Хомякова сущности Церкви и церковной жизни.

Церковь есть живой организм, объединенный взаимной свободной любовью, составляющий абсолютное единство во Христе живых и мертвых своих членов.

Каждый человек, живущий церковно, приобретает себе ее благодатную жизнь и органически срачивается с нею.

Никакими рационалистическими понятиями сущность

Церкви не исчерпывается. Чтобы ее понять, надо жить в ней.

Она есть жизнь целостного духа и охватывает сущее во всех его проявлениях.

VIII

Церковное учение раскрывается в Священном Писании и в священном Предании. Надо точно понять, чем являются для Церкви эти два источника ее сведения и в чем разница в отношении к ним между западными исповеданиями и православием.

«Дух Божий является в Церкви многообразно: в Писании, в Предании и в деле».

«Не лица хранят Предания и пишут Писания, а Дух Божий, открывающийся в них. Писание, Предание и дело — внешнее, внутреннее же в них — один только Дух Божий».

«Всякое писание, которое Церковь по наущению Духа Божьего признает своим, есть Священное Писание».

«Разница между Писанием и Преданием заключается в том, что Писание есть Предание начертанное, а Предание — живое Писание».

«Вся Церковь в ее целостности начертала священные Писания, она же дает им жизнь в священном Предании».

«И оспариваемое в протестантстве авторство апостолов в Евангелии и Посланиях совершенно не меняет отношения к ним Церкви. Важен не автор, написавший их, а то, что Церковь признает их своими».

«По существу, в православии Писания исходят от нас — то есть от полноты Святой и Вселенской Церкви,— а потому они не могут быть отняты от нас».

«Библия не есть только книга написанная, ибо то, что написано,— есть только видимая оболочка Библии. Библия есть книга мыслимая, книга как разумеваемое начало».

IX

Нам остается разобраться в самом существенном и сложном вопросе хомяковского учения.

Он подробно говорит о Церкви.

Но что же для него является с православной точки зрения критерием подлинной церковности? Какой авторитет может подтвердить эту подлинность? Где гарантия

того, что Церковь не уклонилась от христианского пути, не перестала уже быть Христовой и единой Вселенской Церковью?

Он подробно говорит о Церкви.

У католиков на этот вопрос отвечает догмат о непогрешимости папы. Протестанты ищут ответа на него в свободном исследовании отдельных лиц.

Каков православный ответ?

Он вытекает из самого существа православного понимания Церкви.

«Никакого главы Церкви — ни духовного, ни светского — мы не признаем, Христос ее глава, и другого она не знает».

«Церковь не авторитет, а истина».

«Непогрешимость почитает единственно на вселенскости Церкви, несет ее весь народ церковный — подлинное Тело Христово».

«Истина там, где беспорочная святость, то есть в целостности вселенской Церкви».

И вселенская Церковь больше, чем даже Христовы Апостолы, которые являются лишь частью ее.

«Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе — там Церковь».

Даже авторитет Вселенских Соборов не есть авторитет, или во всяком случае не является авторитетом на основе юридической законности их состава и их работы.

Правильно созванный собор может быть воспринят церковным народом как собор разбойнический, а одинокий голос какого-либо рядового члена его, идущий вразрез с голосами всех, может в церковном сознании быть единственным подлинным выразителем голоса Церкви.

Так это было, когда святой Афанасий Великий в скромном сане диакона противостоял арианствующему собору и воплощал в себе церковную истину. Так это было и во времена св. Максима Исповедника.

Таким образом, Вселенские Соборы не определяют существа Церкви и не несут на себе обязательно церковной непогрешимости.

Авторитетность подлинных Вселенских Соборов определяется тем, что они свободно санкционированы всем церковным народом, причем эта санкция совершенно лишена какого бы то ни было юридического характера.

Последний смысл и последний авторитет лежит в самом церковном организме, живущем целостной жизнью духа. Он — это свободная соборность в любви.

Из всего сказанного ясно, как трудно понять хомяковское учение о Церкви человеку, хоть относительно зараженному юридическими и рационалистическими началами.

Излагая суть хомяковского учения — с неизбежностью в терминах, выработанных секуляризированной человеческой мыслью, — необходимо подчеркнуть, что эти термины абсолютно не исчерпывают содержания, которое вкладывает в них Хомяков.

Только целостному духу доступно проникновение в тайны веры и в тайны жизни.

И хотя достижение этой духовной целостности очень трудно и мало кому дается, но, раз достигнув ее, человек может проецировать основные духовные истины свободной любви и целостной жизни на все отрасли своей мысли и своей воли.

Так проецируется Хомяковым и общественность, в свете этой проекции разрешаются и вопросы исторические, намечается правильное взаимоотношение знания и веры и т. д.

Трудно, конечно, предполагать, что первая попытка в этой области могла бы дать совершенно положительные результаты.

И значение работ Хомякова определяется даже не теми конкретными выводами, которые он делает, а тем, что за каждым его словом, за каждым высказыванием чувствуется основная его цельность.

Собственно, в этой главной задаче, которую он перед собой ставил — в области достижения целостного взгляда на жизнь, — он, пожалуй, достиг очень больших и непрекаемых результатов.

И если уж искать слабых сторон его философии, то делать это надо отнюдь не в этой области, а в том, что у него существуют две разные мерки для определения того, чему он сочувствует и чему он не сочувствует.

Так, стремясь проследить разницу между Западным и Восточным религиозным миром, он рассматривает Запад с точки зрения его эмпирического несовершенства, а к Востоку подходит с точки зрения никогда еще воплощенного им идеала. По существу, такой разницей оценки он главным образом ослабляет свои собственные позиции, которые были бы более убедительны, если бы он в обоих изучаемых областях говорил об одном и том же — или об эмпирическом несовершенстве в достижении идеала, или об заданном, но еще не нашедшем воплощения идеале.

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ ФРАНЦИИ

III. Марсель (город)

У больших портовых городов, особенно южных, есть особая прелесть. Они сочетают легкость жизни с трудом, систематичность и размеренность суши с морским скитальчеством, нарядность больших улиц с захолустностью окраин, деловую шумливость порта с шумливостью припортовых кварталов.

Марсель можно назвать главным и типичнейшим представителем больших портовых городов. В нем не то суша празднует свою победу над морем, пришвартовав к себе крепкими канатами морских гигантов, — не то, наоборот, морская волна далеко выплеснулась на берег, обернулась шумной и гульливой человеческой волной, наполнила собою узкие и отвратительные переулки старого порта, разлилась по кафе на главной улице Канабьер. И не понять уж тут, как связались и слепились две стихии — вода и земля.

Марсель — город красивый. Без всякой предвзятости можно сказать, что географически Марсель красивее Ниццы; берег не такой прямой линией тянется, изрезан он, причудливо изгибается, вдруг за поворотом куда-то совсем в сторону убежит, а то врежется в море высоким выступом. И горизонт не пустынен — четко рисуется на нем громада острова Иф — острова Монте-Кристо — песчаного цвета глыба, и на ней такая же песчаная, охряная крепость-тюрьма, издали окна на башнях, как черные точки.

Самое же замечательное в Марселе — удлинённый четырехугольник порта. Вдоль всей набережной бесчисленные лодки, лодчонки, парусники, баркасы, фелюги — пестрые полосы бортов лениво покачиваются в темно-зеленой воде, снасти переплетаются на огромных и высоко вознесенных крестах мачт. А подалее, с двух сторон, высятся железные прозрачные башни, соединяющие противоположные набережные порта — между ними очень высоко лежит мост из переплетенных рельс, и на нем подвешен железными канатами особый такой воздушный паром — низко скользит он над водой — не то качели медлительные, не то палуба какая-то.

К закату особенно хорошо смотреть на эти железные башни, четким черным кружевом лежат они на алой подкладке зари или легким дымом лиловым затянутся —

поползет через них в город морская сырость, соленый туман средиземноморский.

Есть в Марселе хозяин — ветер морской. В нем-то, наверное, и заключается звено между морем и сушей, он-то и пропитывает все марсельские улицы духом соленым и пряным. Все выметет, все приберет. Всегда в Марселе ветер, всегда в нем особенная ветряная беспокойность, подвижность особая, даже тревожность. Тут, наверное, живет Муза Дальних Странствий, тут томит она многих тайной дали, пространства, скитальчества, вечных поисков нового.

И сюда же приводит она из других стран всяких скитальцев, искателей, бродяг, которых не захотела кормить их родина, которые не понадобились в размеренной жизни их стран.

Марсель — город международный. И не только все народы Европы имеют здесь своих представителей — все страны мира послали сюда своих граждан: есть здесь азиаты, узкоглазые и желтолицые, есть американцы, и южные темные, почти оливковые, и северные, загорающие красным цветом, рыжеватые. Главным же образом много в Марселе африканцев. Можно сказать даже, что в огромной своей части Марсель — город африканский, это двери из Африки в Европу, или африканское окно в Европу. Тут было бы легко себе представить рождение особой философии, философии Еврафрики.

Особенно около порта, на широких и пустынных улицах, у стен огромных пакгаузов много черного африканского люда. И есть такие, что и на негров не похожи — зря негром и черными называют — они на самом деле только коричневые. Тут же настоящие черные, без отметины коричневой, скорее — в синее отдает их кожа, и белки глаз не кофейные, как у негров, а голубые, даже темно-голубые.

Много их в двенадцать часов сбивается у дверей рабочих столовых, портовых, шумных и грязных харчевен. Шумливый народ, но безобидный, скорей.

Хотя безобидность эта тоже относительна. Если посидеть часок в кафе — можно увидеть, как два ажана¹ мимо поведут человека, черного, коричневого, смуглого, во всяком случае — глаза в землю опущены, сам приземистый, низколобый, рабочая блуза порвана, видно, не легко дался, пришлось над ним закону потревожиться и потрудиться. Идет теперь тихо, руки в кандалах — дело кончено.

В старом порту есть кварталы, куда лучше и днем не заходить. А если кто забредет, то с трудом и вырвется. И места-то около самой мэрии — так что все их беспутство будто и узаконено, будто кто-то решил — никакие правила для портового города не писаны, жизнь здесь под другими законами стоит. Бродят тут пьяные и неистовые матросы всех национальностей, затевают драки, ругаются. Громко кричат полуодетые испитые женщины, трепанные, с такими красными губами — будто помидор закусил и держат его зубами. Смех, крики, ругань, слезы — все вместе. И над всем, все покрывая, — бездонное убожество, бездонная нищета, — будто верная тропинка к самой преисподней, верная дорожка к самой глубине ада.

Трудно представить, кому этот убогий и мучительный порок привлекателен. Тут и воздух гнилой и вонючий, тут и люди потерянные. И твердо сливаются во единую крепость бездолие и порок, скорбь и озлобленность, беспутство и каторжный портовый труд.

И если сюда забрести — так захлебнешься самым этим воздухом, пропитанным озлобленной скорбью, дешевым и нудно-будничным развратом, что потом никак не поймешь, откуда у людей смелость берется на свете — мирно спать, сыто есть, нежно любить, радоваться, веселиться, заниматься своими делами, наживать деньги, делать карьеру, — когда врата в преисподнюю открыты и днем, и ночью — и никто их захлопнуть не хочет.

Весь Марсель — портовый, деловой, веселящийся, французский, инородный, скорбящий и развратничающий — весь Марсель надо иметь перед глазами, чтобы правильно понять, как существует в нем особая республика — в самом центре, — между вокзалом PLM и университетскими огромными корпусами.

На этот раз республика не южного какого-нибудь африканского племени, а республика народа голубоглазого и русоволосого — республика народа российского.

Вообще русских в Марселе и в его пригородах много — пять с половиной тысяч. Но главная их часть разбросана на большом пространстве, занята в различных производствах и поэтому не связана никаким общим бытом.

И только несколько сот человек объединены на площади за марсельским вокзалом и живут в странном городе — малом среди огромного Марселя, деревянном среди каменных глыб университета и вокзальных пакгаузов.

Город этот носит название лагеря Виктора Гюго. Часть его населена армянскими беженцами, но и они находятся

под русским управлением, часть же — и главная часть, дающая характер всему этому причудливому образованию, чисто русская, не только русская — чисто беженская.

Уж это одно — явление в полной мере удивительное — длительная сохранность, чуть ли не пятнадцатилетняя — такого временного явления, как беженец — никакого вращивания в местную жизнь, никакого созидания быта, рассчитанного на длительные годы, — ничего этого в лагере не заметно.

Весь он изрезан правильными узкими улицами, которые кажутся еще уже, чем они есть, потому что почти всегда во всю свою длину разделены на узчайшие коридоры бесконечными полотнищами сохнувшего белья. На улицы выходят микроскопические палисадники — с одним подсолнухом или небольшой грядкой петунии. Через них вы проникаете в жилое помещение, которое носит название не комнаты, не квартиры, а кабины. Иногда две кабины соединены вместе для жительства семьи побольше, предваряют их еще навесики для хозяйственного скарба; все это — снятый с колес огромный табор, застывшая волна беженства, странный жизненный кавардак, сгрудившийся маленькими слепившимися домишками или, обратно, разместившийся в бесконечно длинном бараке, переделанном в маленькие, теснейшие стойла.

Население густое. Одних детей шныряет по улицам-щелям без конца. Все знают друг друга до последнего предела, знают, кто что ел сегодня, с кем помирился, с кем поссорился, более того — о чем думает, что предполагает делать — все знают, без единого исключения.

Думается, что жизнь здесь должна быть особенно трудна и несносна именно этим неизбежным и принудительным сиденьем друг у друга на шее.

И особенно это трудно, потому что низкие толевые крыши объединяют воедино людей очень разнообразных — с разной жизненной судьбой, с разными вкусами, разными настроениями.

Тут в кабинке недавно умерла от туберкулеза молодая девушка, родители все свои гроши на нее пролечили — сейчас убиты, не до людей им. Напротив — каждую ночь пьянютя и скандал: холостые ребята у станичника собираются, Кубань поминуют. А дальше — семейный дом, вся забота в воспитании детей, а дальше — ни детей, ни семьи, развал один, начался и, наверное, конца ему не будет. Вот за стеною кто-то поссорился, кричат, а тут человек с ночной работы выпасться хочет; и так все:

каждый — хочет или не хочет — а неизбежно является помехой другому.

Немного вдали от лагеря — церковь, тоже в бараке — чистая, но и по воскресеньям довольно пустынная. Марсельцы не очень свою церковь посещают. Рядом с ней библиотека, книг порядочно, более тысячи томов — только уж очень пестрый состав этой библиотеки, читаются все больше романы.

Ближе к лагерю школа и детский сад. Помещение неплохое, вообще это дело могло бы пойти, но как-то непонятно мало детей и в школе, и в детском саду. Нельзя и предположить, чтобы у русской колонии Марселя детей было бы меньше двух десятков — а между тем в школу только такое количество приходит.

На елках они обнаруживаются — это, между прочим, во всех городах так: по количеству детей на елках совсем нельзя сказать, сколько их в школе будет — приблизительно одна двенадцатая часть.

Жизнь тут требует особого описания. К этому дальше вернемся.

Сейчас же надо помянуть, что лагерь марсельский — еще довольно уютная и оседлая система жизни, если его с инвалидным лагерем сравнить.

Тот к берегу ближе, на крутом скате форта св. Николая — тоже бараки облезлые, только раскинуты они шире, между ними пространства больше. Зато самые постройки французами давно на слом определены (это, впрочем, и о лагере Виктора Гюго говорят). У инвалидов жилища их — кабинки эти — между собою картонными перегородками переделены, говорят, один любопытный человек к соседу своему вилкой такую перегородку расковырял. Живут они здесь на столе казенном. Стол лучше помещения, а помещение и терпимо только потому, что солнца много в Марселе. Часто только на него и надежда одна: печи греют, пока топят, да и в этом деле плохо, потому что против марсельского ветра ни одна печь не устоит.

Надо бы еще, говоря о марсельских жилищах, помянуть про одну католическую ночлежку, чуть не на восемьсот человек. Неделю могут даром, потом по франку в ночь, а дают: суп горячий, душ обязательный или ножная ванна и новому человеку — чистое белье.

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ ФРАНЦИИ

IV. Марсель (люди)

Трудно человеку-одиночке, когда он вечером с работы в свою кабину придет, в этой кабинке высидеть. И нетоплено, и сыро, и пыль развелась, и лампочка электрическая как-то тускло горит. И не только трудно высидеть — просто невозможно. Гораздо легче и естественнее, навесив опять на дверь замок, только через площадь перейти. Кафе-бар. Музыка играет, народу много, приятелей — столик за столиком, тепло, светло, шумно. Не пройдет и десяти минут, как компания набежит: с первым выпьешь, второй поднесет — начнутся разговоры разные, — а там и третий собутыльник налицо — походы помянули; в таком-то году, когда наступали, или в таком-то, когда драпали, — и нет конца этим разговорам, а с ними нет конца и бутылкам.

В этих-то бутылках вообще основное зло нашего обывательского беженского сидения, а в Марселе это зло как-то уж очень наружу.

Боюсь ошибиться, а все же можно сказать, что даже всякие бесчисленные годовщины здесь с бутылками связываются. Годовщине образования — бутылки. Годовщине высадки — бутылки, годовщина посадки, победы, поражения — все бутылки, бутылки без конца. Есть какая-то странная связь воспоминаний и выпивок.

И поэтому, говоря о марсельских встречах, почти всех их тоже с бутылками объединить приходится.

Только заранее сказать надо, что марсельские встречи имеют, помимо этих бутылок, еще одну особенность — очень они невеселые и вместе с тем напряженные. В Марселе люди живут бездельно и с вопрошаниями, неуверенно, с тоскою, с пытливостью какой-то — кто поможет, кто посоветует, кто от тоски средство найдет, организует как-то, внесет тепло и уют в обнаженную, оголтелую, неустроенную жизнь. Будто и опустились люди в Марселе, а вместе с тем как-то особенно доверчивы и даже жадны к словам нового человека — будто и спились многие, а вместе с тем такая человеческая душа в них дышит и не насытится, что как-то нет никакого желания вменять им это их пьянство в вину — горе оно, а не вина.

Так вот, хлебнув марсельского воздуха, порочного, бездельного, едкого, — хочется говорить о марсельских встречах с особою любовною нежностью, с любовной печалью.

Вот живет человек. Инвалид. Кисти руки нет, ноги перебиты, челюсть шрапнельным стаканом снесена, теперь искусственная вставлена. Герой войны, английский военный орден. Живой человек. На мир смотрит своими собственными глазами, много думает, много видит и понимает. И кажется ему, что над всем властвует жестокая, неподкупная, меряющая мерой справедливой природа. По каждому счету человеческих ошибок платит — пусть через века — платит человеческим страданием и кровью сполна. Грешила и падала Россия, и по счету русской истории сейчас плата идет — большевиками расплачиваемся. Более того, человек гордиться может, что по счету русской истории природа расплатилась его кровью, его молодостью, его жизнью. Сдачи мало осталось — искалечен весь, ждать хорошего трудно. И несмотря на всю эту жестокость природы, надо — говорит — принимать ее суд радостно и весело. Такая у него теория.

Правда, критика иная. Как вспомнит, что был молод — стал стар, был красив — стал урод, был богат — стал нищ, был здоров — стал калекой, как вспомнит все это — такая тоска возьмет, что только два выхода из этой тоски: или петля на шею, или соседний кабак. Но петля — грех, за петлю, как за неустойку окончательную, природа свое возьмет, какому-нибудь другому горемыке по шее даст. И начинаются дни и ночи кабацкие, начинается запойная жизнь. И тянется она, пока простреленный пищевод терпит, потом он сузится, глотать нельзя, госпиталь — месяц лежать, искусственное питание, мерзость всякая.

Так пройдет время, и все сначала начинается.

Это одна марсельская встреча.

Есть и попроще люди в Марселе. Есть, например, великан и силач, бывший борец. Парень добродушный — а выпить мастер, говорят, когда сильно его этот запойный червяк засосет, на всякие, даже сложные, предприятия способен, чтобы угостили только. То предложат ему собутыльники соседнего ажана приветствовать, он подойдет к нему, протянет руку для пожатия да так пожмет, что ажан в самом прямом смысле слова на землю сядет; или еще что другое выдумает, лишь бы за ухарство и за силу его кто-нибудь ему литр выставил.

Если этот человек и без собственного понимания жестокой и справедливой природы, если от ухарства его все собутыльники иногда в восторге, то все же, по существу, не веселее его жизнь; чем первого, глупо и мучительно

тратится она по портовым кабакам, тратится добродушная и нелепая русская сила.

Старики, может быть, и не чувствуют права обвинять и обличать — слишком все понятно — наверное, иначе и быть не может. А есть у молодых если и не обличительство прямое, то некоторый отход, некоторая боязнь этой русской жизни.

От старших часто приходится слышать: наши дети — что с ними поделаешь — не русские они уже, русских стыдятся, русским ничем не интересуются, французами стали. И это верно.

К сожалению, не только верно, но и легко объяснимо. Происходит этот уход от русского очень простым и естественным порядком. Что они знают, эти молодые люди, выросшие в Марселе? Они кончают французскую школу, среднюю, некоторые — высшую, они входят в центр французской культуры, они вообще все культуру воспринимают с французской точки зрения.

Кроме того, они знают, что они русские. И русские впечатления получают они двойственного характера. О прошлом — воспоминания родителей, о настоящем — собственные наблюдения, сделанные там, где русских много — где-нибудь возле лагеря Виктора Гюго. Воспоминания — не трудно понять, что чужие воспоминания слабо входят в душу, не срастаются с ней, остаются какими-то отвлеченностями. А впечатления личные — в лучшем случае, можно сказать, что их трудно сопоставить с впечатлениями французскими: школы, семейных домов товарищей, театров, книг и т. д. Так и растет процесс денационализации.

А многие, наиболее вдумчивые из молодежи, говорят, что они понимают — есть еще какая-то Россия, Россия не родительских воспоминаний и не впечатлений лагерских, а Россия, создавшая культуру свою, Россия, жившая своей трагической историей, — понимают, да узнать ее не могут, негде узнавать.

А вернее, что и по обрывкам лагерной и вообще марсельской жизни многое можно было бы об этой русской трагичности и о русском бездолье узнать. Только уж очень оно непринаряженное, неприглядное, плохо поданное, без позы — надо уметь всматриваться, надо уметь разобраться, и тогда многое становится ясным и видимым.

Может быть, самое страшное из всего, что пришлось видеть и слышать в Марселе, — это судьба одного человека, некролога о котором даже в газетах не было.

Мне этого человека уже не пришлось увидеть — умер он в августе прошлого года. А услышала я о нем вот что. Жил он в лагере — тихий, светловолосый, близоручий, мечтательный. И пил довольно много. Пил все в том же баре напротив, редко один, чаще в компании, много у него казаков-приятелей было, хотя сам он не казак, а с севера откуда-то, в эмиграцию попал через Сибирь, с Урала отступая. В прошлом, кажется, в университете учился, офицером был. Но все это было мало известно. В Марселе же, как сказано, вел очень обычную для многих жизнь, пьянствовал, работал в порту, жил в лагерной кабинке. И если его пьянство и отличалось от пьянства других собутыльников, то только тем, что в известную минуту вытаскивал он из карманов какие-то рукописи и читал различные истории собственного сочинения. Говорят, что пьяницы плакали от того, что трогательно, а он плакал от того, что они не понимают.

Сам он своим сочинениям придавал огромное значение, говорят, что даже на Нобелевскую премию рассчитывал.

После какого-то пьяного скандала пришлось ему выехать из лагеря. Поселился он в старом порту, в каморке у армянина. Но и там жил недолго: за каморку не платил, и армянин его выставил, в залог за долг оставил и все пожитки его себе, и целые пачки каких-то исписанных бумаг.

Надо сказать, к этому времени литературные надежды его до некоторой степени начали осуществляться, потому что в одном из толстых эмигрантских журналов появилась его повесть и вся критика очень похвалила, многие даже говорили, что вот, наконец, из молодых талантливый писатель обнаружился.

Но это, конечно, мало изменило его жизненную судьбу. От армянина ушел, а о новой комнате не мог и думать, потому что в это время и работы стало маловато, и почувствовал он себя плохо.

И стал он жить в католической ночлежке, то просто под забором где-нибудь ночевать, благо дни стали теплые, июльские.

Так бы и тянулось, если бы не здоровье. Плохо ему стало, а в госпиталь лечь нельзя было сразу, потому что бумаги не в порядке. Пришлось хлопотать, свидетельство о бедности через консула доставать — много дней еще под забором провести пришлось, пока не попал он, наконец, в госпиталь для бедных.

Там сразу определили — брюшной тиф, наверное, уже

дней двадцать, как он болен, положение серьезное, организм истощен.

И только четыре дня пролежал он там. 8-го августа умер. Родных у него не оказалось, последняя прописка в бумагах — ночлежный дом, друзья если и навещали его, то, конечно, тоже мало почтения внушали они госпитальной администрации, — оказался он как бы ничьим. А раз государство или город о нем последние дни его жизни заботилось и на него тратилось, то и более того — оказалось его тело общественной собственностью, на которую никто другой и не претендует.

Через день после его смерти пришли приятели, ничего не подозревая, навестить его — говорят им: умер. Где похоронили? На таком-то кладбище.

Отправились на кладбище, долго меж могил бродили, не нашли, в бюро объяснились, тоже говорят им: нет такого.

Тогда они назад в госпиталь. Бились, бились, пока не узнали — в госпитальном морге лежит.

Тут бы им и поднять всех марсельских русских на ноги, чтобы из морга его раздобыть. Но они тогда не знали, как это дело обернуться должно (или просто, может быть, по легкомыслию), во всяком случае, сроки какие-то пропустили.

И оказалось мертвое тело не в госпитальном морге, а уже в университетском.

И в этом такая разница, которую мало кто и подозревает.

Из госпитального морга можно мертвое тело официальным путем вытребовать, достойно похоронить.

Из морга университетского никого вытребовать нельзя, потому что там мертвое тело теряет свое человеческое имя, а становится номером только — никто не знает, как его звали раньше. Кроме того, ему в вены впрыскивают какой-то раствор, и он как бы мумифицируется — значит, тратятся на него. Да и надо же на ком-нибудь студентам анатомии учиться. Одним словом, из университетского морга мертвого человека получить нельзя.

Так марсельцы и не получили тело своего согражданина, для многих собутыльников, говорят, милого и тихого человека.

Рукописи пропали у армянина, он даже отрёкся, что они были.

И тут, в этой повести о судьбе эмигрантского молодого писателя многое имеет значение не для одного Марселя только.

ПРАВОСЛАВНОЕ ДЕЛО

Мучительно слушать или читать любые теоретические рассуждения об устройстве жизни. С университетских кафедр, в горячих спорах на различных собраниях люди стараются вместить жизнь в схемы и образцы, вколотить невместимое ее многообразие в заранее определенные формы. И политики, предвидящие, что будет через десятилетие, теряются и путаются в мелочах сегодняшнего дня; экономисты, знающие, как разрешить все конфликты и кризисы, не умеют свести концы с концами в своем скромном бюджете; человеколюбцы, желающие облагодетельствовать вселенную, не замечают рядом с ними живущего человека.

Поистине, только в молодости можно не видеть этой нелепой насмешки, этого кричащего противоречия. С возрастом растет наблюдательность, рождается ирония, возникает абсолютная невозможность воспринять все эти точные диагнозы и рецепты врачей, к которым относятся слова: «Врачу, исцелися сам».

Но если в области политики, экономики — всех видов общественности — это верно, то особенно мучительно сейчас слушать разговоры о христианстве: о Христе и о церкви.

В аудиториях, салонах, кафе с какой-то изумительной безответственностью вырастают теории, мнения, острые парадоксы, кружева мысли. Сегодня мы исповедуем принципы крайнего аскетизма, а завтра, как будто что-то уже приобретено и пережито из этого чисто словесного опыта, ищем новых впечатлений в теориях всеобъемлющего жизненного эксперимента. И повсюду на все лады звучит одно слово — кризис. По существу же, в самом этом дробном, нецелостном ответе на вопросы современности демонстрируется самое главное существо кризиса — кризис целостной жизни, самой сердцевины ее.

Попытаемся, начав с самого большого и абсолютного, перекинуть мост к нашей повседневной жизни. К тому же она еще и эмигрантская — наша жизнь, — а это значит как будто, что ни о каких больших перспективах нам, беспочвенным, случайным, усыхающим, говорить и не приходится.

Однако каждому из нас дана судьба, которая ничуть не меньше и не менее трагична оттого, что дана она нам в Париже, а не в Москве.

Каждому из нас было дано рождение, любовь, дружба,

жажда творчества, чувство сострадания, справедливости, тоска о вечности — и каждому будет дан смертный час. Мы стоим перед правдой и хотим понять ее веление.

А правда говорит нам, что ее не может вместить небо — и вмещают Вифлеемские ясли, что она созидает и держит мир, и падает под тяжестью креста на Голгофском пути, что она больше вселенной — и вместе с тем не гнушается чаши воды, поданной ей сострадательной рукой. Правда Господня упраздняет различие между необъятным и ничтожным.

Попробуем строить нашу маленькую, нашу ничтожную жизнь так же, как великий зодчий строил планетные системы, проводил черту по лику вселенной.

Прежде всего надо строго отмежеваться от предрассудка, свойственного самым разнообразным людям. В среде ортодоксальных богословов мы можем услышать, что строить жизнь — ни к чему. Нам дано единое задание — спасти нашу душу, а социальная правда, художественное творчество, научная работа и т. д. — это все нас не касается, это только «подделка», послушание, не имеющее решающего влияния на нашу внутреннюю жизнь. Видимо, эти ортодоксальные мнения вдохновили Розанова на известные комментарии к христианству. Во Христе мир прогорк — выбирайте между его скорбным ликом и радостью жизни. Розанов же, и это удивительно, для целого ряда людей является чуть ли не единственным экзегетом¹ и комментатором христианства, он как бы некий отец Церкви, определивший собою должное отношение к христианскому учению. Тут сразу же намечается тупик. Все благополучно, пока человек, отрешившийся от скорбного лика Христова во имя радостей жизни, верит в эти радости. Но трагедия начинается с момента, когда обнаруживается, что радости эти не очень радостны. Не дает радостей наш подневольный и механизированный труд, не дают радостей и развлечения, более или менее однообразные, в разной мере треплющие нервы, и только. Не дает радостей и вся современная жизнь, горькая, хотя в ней-то отнюдь и не отражается сейчас горький и скорбный лик Христа. Как будто именно без него мир достиг максимальной горечи — потому что — максимальной бессмысленности.

Тут надо выдать маленькую тайну: Розанов был очень замечательным и талантливым человеком, но решительно ничего не понимал в христианстве, как, впрочем, мало понимали в нем и многочисленные христианские начетчики, сухостью своей высушившие мир.

Христианство — это пасхальная радость, христианство — это со-трудничество с Богом, христианство — это вновь принятое человечеством обязательство возделывать господен рай, однажды отвергнутое грехопадением. И в дебрях этого рая, заросшего многовековым бурьяном греха и колючками нашей сухой и безлюбой жизни, христианство велит нам корчевать, пахать, сеять, полоть, собирать урожай.

Подлинное, богочеловеческое, целостное, соборное, православное христианство зовет нас пасхальной песней: «Любовью друг друга обьемем» и ежедневно учит нас за литургией: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы».

«Возлюбим» — это значит не только единомыслие, но и единодействие, это значит — общая жизнь.

Принято думать, что христианство, обращенное к миру, это какой-то второй сорт христианства. Подлинное же благоговеино обращено к Богу, ищет богообщения, и ничем подменить и заменить сладости богообщения нельзя и не надо.

Может быть, отчасти и верно, что все виды общественного христианства, возникшего на почве католичества и протестантизма, действительно страдали какой-то непреодолимой второсортностью. Но происходило это от того, что они обращались к миру по-мирскому, принимая мирской метод отношения ко всем явлениям жизни, даже к человеку. В них отношение к Богу определялось заповедью о любви к нему, а отношение к человеку — имманентными человечеству законами и правилами. Необходимо отношение к человеку и к миру строить не на законах человеческих и мирских, а на откровенной заповеди божьей, т. е. видеть в человеке образ Божий и в мире — создание Божье.

Необходимо понять, что христианство требует от нас не только мистики богообщения, но и мистики человекообщения, что, по существу, приводит нас к раскрытию богообщения. Только при такой установке исчезает второсортность христианства, обращенного к миру.

Таким образом, начиная с самого категорического отрицания всяких теоретизирований, особенно христианских, о жизни, мы утверждаем необходимость в ответ на все кризисы современности просто строить жизнь.

Теория есть тут только некая рабочая гипотеза, позволяющая правильно и быстро разбираться среди жизненного многообразия, и она необходима лишь постольку,

поскольку мы стремимся это многообразие преобразить (и христианизировать).

Как будто бы законно и само собою разумеется, что журнальная статья ставит своей целью только убедить в известных теоретических положениях, только внушить свои мысли и обосновать их. Мне хочется нарушить такую общепринятую традицию и поставить целью этой статьи не раскрытие известного ряда мыслей, а призыв к общему деланию. В такой постановке есть известная трудность, связанная с предрассудком, общим всем нам. Нам стыдно и неудобно говорить о малых делах.

Мы так привыкли теоретизировать в планетарных масштабах, мы так легко на словах кромсаем границы государств, находим средства от безработицы, оперируем с философскими системами всех эпох и народов, взвешиваем и расцениваем истины религий — и при всем этом ничему не удивляемся и ничему не отдаем нашей жизни,— что звучит почти непростительной и недопустимой наивностью заговорить о чём-то, что не имеет планетарного размаха (а одновременно, может быть, жизни требует). Так вот, заранее принимая упрек в любви к малым делам, я все же хочу именно о них говорить — о нашей маленькой, скудной, нищей нашей жизни.

К каждому читателю этих строк я обращаюсь с вопросом: вы знаете, как трудно, нелепо, одиноко и бесцельно идет наша общая с вами эмигрантская жизнь? Вы испытывали, наверное, на своей собственной судьбе, что значит слово «кризис». Всяческий кризис, не только тот, который сократил или уничтожил ваш заработок, выселил вашего приятеля в другую страну искать счастья. Нет, но и другой кризис, который опустошил вашу душу, опустошил душу человечества, обесмыслил жизнь, вынул из нее какой-то основной стержень. Знаете ли вы, что такое кризис жизни, кризис веры в Бога и в человека, кризис веры в осуществление образа Божьего в себе и к раскрытию его в своем брате? Если вы знаете это, то мы с вами имеем целый огромный запас общих знаний, из которых надо сделать и общие выводы. Вот они: давайте строить новую жизнь.

Давайте преодолеем кризис внутри себя, давайте преодолеем наше эмигрантское захолустное убожество — и со всей серьезностью не только в области теоретических построений, но и в области ежедневного нашего быта попробуем осуществить подлинную христианскую соборность, общую жизнь — «любовью друг друга обьемем».

Может быть, мне было бы гораздо труднее писать такой призыв, если бы я не чувствовала около себя значительную группу лиц, уже сговорившихся и вошедших в общее дело, которое мы называем «православное дело». Мы не только теоретизируем, но по мере наших слабых и очень недостаточных сил стремимся осуществлять наши теории на практике. Мы имеем общежитие, мужское и женское, мы имеем дешевую столовую, мы стараемся обслуживать русских больных, как во французских госпиталях, так и на дому, мы думаем в ближайшее время устроить дом выздоравливающих, мы организуем церковные службы, где их нет, воскресно-четверговые школы, доклады, собрания, конференции. Мы раздаем книги. Мы мечтаем среди огромного и чужого Парижа создать русский, православный городок.

Как все это ничтожно по сравнению с возможностью точно высчитать сроки падения большевиков или пути мирового кризиса. И как это много по сравнению с одиноками, заблудившимися тропами, на которых бродят опустошенные человеческие души!

Мы не хотим быть благодетелями — мы строим общую жизнь. Не наша вина, что это не жизнь огромного государства или всего человечества.

Мы приставлены к малому и хотим в малом быть верными. И мы зовем: помогите нам, — и не только потому, что нам действительно и реально нужна помощь каждого живого человека, но и потому, что и для нас нужно помочь, и этим приобщиться к нашему радостному и братскому делу.

Утопично и наивно звучат мои слова? Может быть. Но вы можете говорить о их наивности и утопичности только в том случае, если у вас есть собственный точный способ победить свое маловерие, равнодушие, отсутствие цельности, заполнить пустоту жизни — и не только заполнить, но и подлинно создать настоящие, реальные ценности. Если же, взглядевшись в себя, вы почувствуете, что душа ваша нища, то придите к нам, чтобы дать нам возможность заполнить ее любовью к таким же душам, из которых каждая подлинный и прекрасный образ Божий.

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

К пятидесятилетию со дня смерти

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло событие, после которого я стала взрослым человеком. За плечами было только 14 лет, но жизнь того времени быстро выросла на нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — Народ. Единственно, что смущало и мучило, это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? Есть ли Бог?

И вот ответ пришел. Пришел с такой трагической неопровержимостью. Я даже сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акаций. Громкое чирикание воробьев. В комнате плач. Умер мой отец. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то, значит, и вообще Бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. Бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что Бога нет и что в мире есть горе, зло и несправедливость.

Так кончилось детство.

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира в Басковом переулке. Гимназия. Утром начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца. Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было еще сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить

далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубино-го стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

В классе моем увлекались Андреевым, Комиссаржевской, Метерлинком. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день жертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия — вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всем мире безнадежно утрачивался смысл. Осенью опять рыжий туман.

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, веселая, умная. Она кончила медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее «декадентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице есть своя провинция, так вот и тут была своя измайловскоротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво — Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор¹, лицо не запомнилось. Еще какие-то, не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгроб-

ного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, очевидно, новые, — «По вечерам, над ресторанами...», «Незнакомка». И еще читает...

В моей душе — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом — это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они воют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе: кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка — молодой поэт вырывается на какие-то просторы. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце выюгам подарил»...² Я не понимаю, но понимаю, что он знает мою тайну. Читайте все, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, еще о тоске и о восторге.

Наконец, все прочитано, многое запомнилось наизусть, навсегда. Знаю, что он мог бы мне сказать почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 14. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету.

На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши своей финской шапки, иду по Невскому. Не застану — дождусь. Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате почему-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли? В кабинете вещей немного, но все большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец, звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, кажется, всего

стыднее, что в конце концов я еще девчонка и он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый — ему, наверное, лет двадцать пять.

Наконец, собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами и почти наверное знаю, что Бога нет. Все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вошли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, прошу помочь.

Он внимателен, почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа.

Через неделю я получаю письмо, конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите передо мной³ <...> Все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что они — умирающие, что ему кажется, я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход в природе, в соприкосновении с народом. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих...» Письмо из Ревеля — уехал гостить к матери.

Не знаю отчего, я негодную. Бежать — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором нет Бога.

Вы умираете, а я буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него никогда.

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так сильна. Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, декадент по самому своему существу, но социал-демократ, большевик⁴. Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьева, милые житейские анекдоты о нем.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер мы с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на башне, куда нельзя приехать раньше 12 часов ночи, в цехе поэтов, или у Городецких и т. д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоту — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философов и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко, беспощадно и губительно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочетались с неизбежным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Помню одно из первых наших посещений башни Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковская кричит своему мужу:

— С кем вы — с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что революция — это раскрытие третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно. Потом Кузьмин⁵ поет под собственный аккомпанемент духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «орхесте», о Дионисе, о православной Церкви. На рассвете поднимаемся на крышу, это тоже в порядке времяпрепровождения на башне. Внизу Таврический сад и купол Государственной Думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно — вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобряют или не одобряют, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую веревку на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко — не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у Него был кровавый пот. Его заушали, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни одного запретного слова. И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна — за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью.

Постепенно происходит деление. Христос, еще не признанный, становится своим. Черта деления всегда углубляется. Петербург, башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция — одно. А другое — огромный, мудрый, мол-

чащий и целомудренный народ, умирающая революция, почему-то Блок, и еще — еще Христос. Христос — это наше... Чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться. Но это не так-то легко. Жизнь идет точною колеєю, по башенным сборищам, а потом по цехам, по Бродячим Собакам⁶.

Цех поэтов только что созидался. В нем было пошкольному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути.

А гроза приближалась. Россия — немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее — как бы оторванный от берега, безумным кораблем мчался в туманы и в гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить. Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета никогда больше не будет.

Таков фон, на котором происходят редкие встречи с Блоком. Вся их серия — второй период нашего знакомства.

Первая встреча — в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, еще кто-то и Блок. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушел. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой да-

мой — и с Блоком. Я не могла прятаться больше — надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, он говорит:

— Мы с вами встречались.

Опять знакомая, понимающая улыбка. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как справилась с Петербургом. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна⁷ приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава Богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у них обедали. По его дневнику⁸ видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На мое счастье, там был еще, кроме нас, очень разговорчивый Аничков с женой⁹. Говорили об Анатоле Франсе. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом, говорил о Наугейме¹⁰, связанном с особыми мистическими переживаниями, спрашивал о моем прежнем. Еще говорили о родных пейзажах, вне которых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее, бурное, почти черное море, песчаные перекаты высоких пустынных дюн, серебристо-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, что, по семейным данным, фамилия Блок немецкого происхождения, но, попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему там все показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о детской склонности к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказала о чудовище, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна.

Встретились мы как знакомые, как приличные люди, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственного нужного моста. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11-й и 12-й. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях.

На башне Блок бывал редко. Он там, как и везде, впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном кратко выраженном мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел — он удивительно умел краснеть от смущения,— серьезно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любовь Дмитриевне старинные кружева, которых у нее была целая коллекция. Идет общий гул. За ужином речи. Я доказываю Блоку, что все хорошо, что все идет так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растет и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей собственной жизни. Помню еще, как мы в компании Пяста¹¹, Нарбута¹² и Моравской¹³ в ресторане «Вена» выбирали короля поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста¹⁴.

Этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях, житейски сблизил нас — скорее, просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать мост, а Анна Ахматова, в ответ на это, как-то по-змеинному выворачивала руки.

И наконец, еще одна встреча. Тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и себе не смела сказать.

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уже не сможете. Надо спешить.

Вскоре он заперся у себя. Это с ним часто бывало. Не снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто

молчит, тоскует и ждет неизбежного. Было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной, вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? Не в народ. Народ было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, башню, философию. Есть там только один заложник. Человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, а может быть и единственное, мукой купленное оправдание его — Александр Блок.

Осенью 13-го года по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме каких-то старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В квартире, около Собачьей площадки, я одна. В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую¹⁵. Она с мужем тоже переехала в Москву, живут близко от меня, на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдавать. Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду в боевом настроении. В конце концов все скажу, объявлю, что я враг, и все тут.

У него на Смоленском все тише и мельче, чем было на башне, он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьи глазки будто острее. Народу как всегда много. Толкуют о Григории Нисском¹⁶, о Пикассо, еще о чем-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропадала, отчего и сейчас я настороже. Ведет к себе в кабинет. Бой начинается. Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О пустословии, о предании самого главного, о пустой жизни. О том, что я с землей, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за гибель Блока.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, я чувствую в его тоне попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе с Толстым у В. Иванова на Смоленском.

Народу мало, против обыкновения. Какой-то мне неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович (потом узнала — Бородаевский¹⁷), с длинной, узкой, черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он спрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т. д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

Но у меня неосознанный, острый протест. Я возражаю, спорю, не зная даже, против чего именно я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. В нелепом, приблизительно споре я вдруг чувствую, что это все не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути, потому что враг из безличного становится личным.

Поздно вечером уходим с Толстым. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто моя декла-

рация о Блоке. Мы уже не домой идем, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых пустых улицах. Я говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие.

У России, у нашего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она. Ну, мать безумна — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем. Как его в обиду не дать — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

1-го декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте. Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений — «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из продолжающегося разговора... «Думайте сейчас обо мне, как и я о вас думаю... Силы уходят на то, чтобы преодолеть самую трудную часть жизни — середину ее... Я перед вами не лгу... Я благодарен вам...»¹⁸

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому, что оно было ответом на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем.

Я ему не ответила. Да и что писать, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? Вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути и предвидении чего-то губительного и страшного, к чему он шел. Да и не только он — все уже смешивалось в общем вихре. Казалось, что стоит голосу какому-нибудь крикнуть — и России настанет конец.

Опять юг.

Весной 14-го года, во время бури, на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбацкими поселками. В это время у нас на Черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи провожали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землею. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори, — не только на востоке и на западе, — весь горизонт

загорался зарею. Выступили на пепельно-зеленом небе бледные звезды. Скот во дворе затревожился: коровы мычали, собаки лаяли, стал кричать петух, куры забралась на насесты спать.

Потом наступили события, о которых все знают,— мобилизация, война.

Душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, с этой войны, в каком-то смысле, начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем решении — идет добровольцем. Двоюродные сестры спешили в Петербург поступать на курсы сестер милосердия. Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела быть,— казалось, надо что-то другое найти и осуществить. Основное — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, чтобы все обдумать, чтобы по-настоящему все понять.

Так проходит мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне,— но после нее все стало тверже и яснее. И особенно твердо сознание, что наступили последние сроки. Война — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преобразования среди нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге — мне пришлось ехать к ней.

Поезд несся по финским болотам среди чахлои осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. И Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока звонить не буду, не напишу и уж, конечно, не пойду. И вообще сейчас надо по своим путям в одиночку идти. Программа зимы — учиться, жить в норе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги. А в три часа дня я уже звоню у блоковских дверей... Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в 6 часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор — это близко. Забываюсь в самый темный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние строки — и над всем Христос, единый, искупающий все.

В 6 часов опять звоню у его дверей. Да, дома, ждет. Комната его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли. Балтийское море. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами — тишина и молчание. Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал еще три часа срока. Говорим мы медленно и скупно. Минутами о самом главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, по углам больших улиц, для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду — все это никому не нужно.

— И Брюсов сейчас говорит о добродетели.

— А вот Маковский¹⁹ оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издают к новому, 15-му году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб воспевает барабаны²⁰. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин». Меня просили послать. Послал. Кончаются так: «Будьте довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней»²¹. И представьте, какая честность, — вернули с извинениями, печатать не могут.

Потом мы опять молчим.

— Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю, что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлен.

— Ах, это Штейнер. С этим давно кончено. На этом

многое оборвалось. У меня его портрет остался, Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное. Блок улыбается.

— Хотите, разорвем?

— Хочу.

Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в грудку бумажек размером в почтовую марку. Всю грудку сыпет в печь.

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России в войне, в труде и в молчании искать своего Христа и в Нем себя найти. Потом о нем, о его пути, о боли за него.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания — слушает, значит.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьезен и прост.

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен Твой мир и какую муку даешь Ты Твоим людям! На следующий день опять иду к Блоку.

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день. Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано. Да и, по существу, это был единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорил о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И все же ускоряет

и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, их нельзя разорвать. И кончает неожиданно:

— Теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока — священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и смотрим молча. Сначала длинные, веселые языки пламени маслянисто и ласково лизут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверху. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые угольки. Вот сноп искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются письмена, и опять бегут алые и черные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зеленые дуги огней далекого порта. На улице молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего. Угли догорают. И начинается наш самый ответственный разговор.

— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить — не можем, а если и могли бы, права не имеем: таково ваше высокое избрание — гореть. Ничем, ничем помочь вам нельзя.

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собою и случится.

А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, что все на волоске над какой-то пропастью. Наконец, все становится ясным. В передней, перед моим уходом говорим о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает мое соучастие. Он предостерегает нас обоих, чтобы это всегда было именно так. Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то неожиданное, новое и по-новому

страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обычного. Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. А. Б.»²²

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти? Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери. Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дожидаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить.

Идут не минуты — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Наконец долгий, протяжный звонок внизу. Зажигается в пролете свет. Слышу — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дожидаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что не хорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, весело. Не знаю, может быть, оно и ненадолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

— Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете вверх. Это все.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда. Знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала.

А в это время мрачней и мрачней становилась петербургская ночь. Все уже, — не только Блок, — чуяли приближение конца. Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как Блок, — может быть,

и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратимо.

И наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока.

«Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-Городского Союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде — скоро кончится их искание. Какой ад напряжения. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок»²³.

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря, как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но о смерти. И я ничего не могу сделать.

А потом мысль: такова судьба, таков путь. Россия умирает — как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней? Скоро, скоро пробьет вещий час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли, в ледовитую мертвую вечность.

ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ

Когда люди живут на родной земле, когда они являются гражданами и подданными какого-либо государства, то, будь они в самой крайней оппозиции его устоям, они продолжают отвечать за него. Иметь какую-либо веру, какие-либо убеждения, будучи внутри некоей государственной системы, это значит нести последствия этого мнения и убеждения. Если оно совпадает с мнением власти, человек достигает общего признания, возможности осуществлять себя. Если эти мнения расходятся с большинством, против человека воздвигаются гонения, он лишается свободы, он может быть даже уничтожен. Такова жизнь всех, не покинувших родины, их мирозерцание становится ответственным. Вера может быть исповедуема под условием готовности к мученичеству за нее. Перед «гражданином» всякий выбор стоит как некая последняя черта, и вместе с тем гражданин всегда не свободен, всегда чувствует на себе всю тяжесть давления власти, общественного мнения, традиций, быта, истории страны.

Что меняется, когда люди становятся эмигрантами? В первую очередь, это значит, что они получают свободу. Это значит некое абсолютное выпадение из закономернос-

ти, некое окончательное освобождение от всякой внешней ответственности, мучительное и одновременно блаженное пребывание вне влияния власти, общественного мнения, традиций, быта и истории страны. Мы как бы теряем весомость, теряем телесность, приобретаем огромную удобоподвижность, легкость, расковываемся и ни за что ни перед кем не отвечаем. Если мы верим, никому до этого нет дела. Наше собственное общественное мнение не имеет над нами никакой власти. Никогда и никто не бывает так вне жизненного процесса, как человек, потерявший все свои гражданские права и обязанности, как человек, становящийся в полном смысле безответственным, — как эмигрант. Гражданин имеет возможность осуществлять себя, неся невероятные накладные расходы по этому осуществлению. Он все время должен преодолевать трение среды, общественного мнения, традиций.

Мы никаких трений преодолевать не должны, но мы почти лишены возможности осуществлять себя, потому что лишены телесности, не имеем никакой точки приложения своих сил. К чему нас призывает это полное отсутствие косности, эта развоплощенность, эта безграничная свобода от внешнего принуждения?

Посмотрим на церковное дело с точки зрения нашей свободы, которая и здесь, как нигде, обязывает. Было время, когда церковь была в плену у государства. Символ этого времени — огромные храмы с таким резонансом, что слова не звучат отчетливо, а переливаются и тают, с закованными в золото многопудовыми Евангелиями, с ризами на иконах.

В то время пути церковного человека, если он был жив, определялись лишь внутренним его подвигом и смиренным претерпеванием этого плена. Не было слышно Божьего голоса, зовущего на борьбу. Пассивность и терпение были законны, потому что вынужденны. Церковная история дремала и выжидала. Церковный организм костенел. Но время изменилось. Церковь стала гонимой в России. Всему церковному миру приходится отстаивать себя от нового рабства, от нового насилия. Тут не до внутренних перемен в церковной жизни. Тут все под ударом внешним. Безбожие не разбирается, кого оно ссылает и гонит. Оно гонит всякого, кто так или иначе исповедует свою церковность. И это общее гонение объединяет в лагерь гонимых всех без различия их понимания церковной жизни.

Там, где люди гонимы, там ясно, что одновременно с этим они не могут быть призваны к какому бы то ни было

строительству и созиданию. Не нам мерить высоту и ценность призваний. Мы знаем только, что их призвание — претерпевать эти внешние гонения. И вот мы — церковная эмиграция. К чему нас обязывает данный нам дар церковной свободы, данный впервые за 2000-летнее существование церкви? Мы вне досягаемости гонителей, мы можем писать, говорить, открывать школы, ни на кого не оглядываясь. С другой стороны, мы освобождены и от вековых традиций. У нас нет ни огромных соборов, ни закованных евангелий, ни монастырских стен. Мы безбытны. Что это — случай? Что это — наша житейская неудача? В такую, мол, несчастную эпоху родились? В духовной жизни нет случая и нет удачных и неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы призваны к великой свободе. В каком-то смысле слова мы призваны к первохристианству. Мы имеем возможность для нашей православной жизни не преодолевать никаких трений и все силы отдавать главному.

Если на нашем пути встает необходимость борьбы, то самое удивительное то, что силы наших противников ничтожны. Было бы предельным малодушием испугаться их. Но как бы ни была слаба сопротивляемость окружающей среды, мы можем и должны быть терпимы по отношению к людям, и вместе с тем мы должны быть безусловно нетерпимы к одушевляющим их идеям. В наше ответственное время, при ответственной задаче, упавшей на наши плечи, терпимость к враждебным идеям есть предательство собственной веры. Мы можем кормить голодных, утешать несчастных, вести беседу с инакомыслящими, но никогда и ни в чем, даже в самых мелких подробностях, мы не имеем права служить чужому пониманию православия. И главное и центральное — мы не должны позволять затемнять Христа никаким правилам и уставам, никакому быту, никаким традициям, никакой эстетике, никакому благочестию.

Христос дал нам две заповеди — о любви к богу и о любви к человеку. Нечего их усложнять, а подчас и подменять начетническими правилами. И Христос испытывает нас теперь не лишениями, не изгнанием, не утратой привычных норм жизни. Он испытывает нас тем, сумеем ли мы вне прежних условий, вне быта, в нашей страшной свободе найти его там, где раньше мы и не думали его искать. Не жизнь делает нас ответственными, мы сами свободно выбираем и принимаем ответственность на плечи.

И в этом смысле свобода призвала нас юродствовать и строить церковное дело так, как его всего труднее строить.

Вместе с тем мы обязаны трезво оценивать, к чему нас уже привело наше двадцатилетнее пребывание в свободе.

Во-первых, надо признать, что для огромного большинства наша судьба оказалась совершенно невыносимой. Люди, очутившиеся вне всяких внешних принуждений и рамок, в случае, если ими не владела какая-либо огромная идея, какая-либо всепоглощающая вера, просто как бы таяли в воздухе. Какой-то процент эмиграции медленно и не очень успешно вклинивался в чужой быт. Это все те, кто поставил своей основной задачей устроиться, получить свое маленькое место в чужой жизни. Они усиленно стремятся воплотиться в чужую плоть, стать гражданами второго сорта стран, их приютивших. Для них вся пережитая катастрофа — некое жизненное, не очень понятное недоразумение. Никаких духовных открытий она им не дала. В большом нашем и мучительном деле на них рассчитывать не приходится. Они скинуты со счетов. И еще менее выносимой оказалась наша судьба для следующей категории лиц — для тех, кто не имел достаточной силы животного инстинкта, чтобы приспособиться, чтобы перевоплотиться в новую жизнь, а вместе с тем не обладает верой в какие-либо прочные вечные ценности. Старые временные идеалы обветшали, и вместо них ничего не осталось. Одна лишь пустая свобода и своя собственная ненужность. Люди не только спиваются и задыхаются от тоски, они физически заболевают и умирают. И этот процесс развивается все быстрее и быстрее. Есть еще одна группа неких хранителей, если не заветов, то традиций, группа, с невероятной настойчивостью старающаяся воссоздать осколки старого быта, основной лозунг которой — «это полагается, а это не полагается». Они создают союзы и общества, служат молебны и панихиды, устраивают банкеты, организуют приходы, они меряют чужое благочестие, судят за ереси, обличают вольнодумство, не чувствуют ни русской, ни мировой современности, они озлоблены и самодовольны, они высокомерны, потому что они единственные носители истины, и мертвы, потому что у них нет ни настоящего, ни будущего.

Если бы вопрос исчерпывался наличием только этих слоев эмиграции, то нам пришлось бы сказать, что мы не вынесли испытания свободой. Но если нам это испытание дано и если у нас есть воля принять его, то мы надеемся, что нам будет дана сила и вынести его.

ПИСЬМА А. БЛОКУ

1

24 апреля 1912
Германия

Мне хочется написать Вам, что в Наугейме¹ сейчас на каштанах цветы, как свечи, зажглись, что около Градинеру воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает: даже больные в к/залах забыли обо всем. Я сидела целый час на башне во Фризбурге. Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. Мне кажется, что много в Ваших стихах я люблю даже больше, чем раньше любила; думала об этом и смотрела с югапписбурга на город, на старое кладбище и буро-красные крыши около него, на парк и серые крыши виллы.

Знаете ли Вы здесь среди полей и яблонь Hollar's Carpell'у?

Я же нашла и обрадовалась. Кажется, что тишина, как облако, неподвижна, и в мыслях моих неподвижными крыльями облако распласталось. И не верю, что этому конец будет. И усталость, которая была и которая есть, только радуга, как радугой туманит иногда.

Я думаю, что полюбила здесь, может быть, не то, что Вы нашли и полюбили, но во всяком случае рада, что полюбила и что могу Вам это написать.

Если смогу, то хотела бы Вас порадовать, написав о том, что Вы здесь знаете: как оно живет и старится.

Если смогу ответить, то спросите. На озере лебеди плавают. А на маленьком острове на яйцах белая птица сидит и при мне лебедят выведет.

Мои окна выходит на югапписбург, и по ночам там белые фонари горят, а внизу каштаны свечами мерцают. Я не верю, что в Фризбурге (неразб.) таков, и красные крыши, и душный сироп воздуха, и серые дорожки, и белые с черными ветками яблони.

Тишина звенит, и покой, как колокол вечерний.

В Фризбурге — знаю — был кто-то печальный и тихий и взбирался на башню, где всегда ветренно и где полосы озимой внизу дугами стелются.

Очень, очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любите.

Не знаю, увижу ли это, знаю ли, что уже увидела и была там. Если захотите спросить и я поверить, что смогу дать ответ, напишите.

Мой адрес: Bad Nauheim, Britaniastrasse. Villa Fontana.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева.

2

Москва, Собачья площадь.

Дурновский переулок, д. 4, кв. 13.

28 ноября 1913

Не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам н е о б х о д и м о. А отчего и для кого — не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы д о л ж н ы понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла, как спираль. И снова, и снова — вниз — но на том же самом месте бывала я. О себе не хочу писать, потому что не д л я с е б я пишу. Буду только собой объяснять. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам.

Ведь и не первый раз я не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась чего-то, что не может быть определено сознанием. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали. Только теперь я не имею силы верить, что это Вам нужно. Пусть не я, но это неизбежно. В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести после этого. Иногда любовь к другим, большая настоящая любовь заграждала Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что — вот Вы есть. Когда я была в Наугейме — это был самый большой перелом, самая большая борьба, из нее вышла с Вашим именем. А потом были годы совершенного одиночества, дом в глуши на берегу Черного моря. (Вот не хочется описывать всего, потому что знаю, что и так Вам все ясно будет.) И были Вы, Вы. Потом к земле как-то приблизилась и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь месяц тому назад у меня дочь родилась — ее назвала Гайана — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неведомо — это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а

что дальше будет — не знаю, но чувствую и не могу объяснить, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно. Забыть о Вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для Вас вошедшей в круг жизни. А я сама ни при чем тут.

Теперь о другом: не надо чуда, потому что тогда конец миру придет. Христос искупил мир, дав нам всем крестную муку, которую только чудо уничтожит, и тогда мы будем мертвы. И судить людей нельзя. Недавно слышала о Шлетнере² и испугалась, вспомнила Вас: потом стыдно своего страха стало, потому что Верю, Верю и Верю, что это не нужно Вам. И Верю, что Вы должны принять мое знание, и тогда будет все иначе, потому что Вы больше человека и больше поэта; Вы несете не свою человеческую тяжесть; и потому что чувствую и всегда и везде чувствую, что избрана я, может быть, случайно я, чтобы Вы узнали и поверили искупленью мукой и последней, тоже нечеловеческой любовью.

Боюсь я, что письмо до Вас не дойдет, потому что адреса Вашего не знаю; уже 2 года, как узнать его мне не от кого, но почему-то кажется мне, что я верный адрес пишу. Слишком было бы нелепо и глупо, если это письмо пропало. Хотя, может быть, время еще не пришло — и не исполнилась мера радости и страданий.

Ведь Вы все это знаете? Всякие пересказы были бы слабой верой.

Если же Вы не хотите понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без перемены, а от того, что мало муки моей, которая была, что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Во всяком случае я почувствую, где бы я ни была, что Вам не это нужно стало. Хорошо что — самый близкий — Вы вечно далеко и теперь всегда.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Если бы я надеялась осмелиться, я бы издала 2-ю книжку, чтобы выбить на ней типографски: «Каждый душой разбил пополам и поставил двойные замки».

Е. К.-К.

Пошлю письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили.

19.1.1914

Месяц тому назад я решила издать вторую книгу стихов³; тогда мне уже приходила в голову мысль попросить Вас просмотреть книгу до того, как я отдам ее в печать. Но по очень запутанным соображениям я решила, что этого делать не надо: дело в том, я не знаю, как отдам Вам ее на просмотр: с тем чтобы потом напечатать ее, принимая во внимание Ваши указания, или чтобы только узнать Ваше мнение и уже не печатать книги. Все это у меня очень запутанно в письме выходит, и мне важно узнать, но яснее я не умею сказать.

Теперь я виделась на днях с Толстым, который указал, что в своих же стихах я не умею разбираться, и он мне сказал, что видел Вас, что он Вам говорил о моей новой книге и Вы ничего не имеете против, если я Вам ее пришлю в рукописи.

В книгу эту, как я ее Вам посылаю, вошла четвертая часть написанного за это время.

Если Вы мне скажете, что издавать ее можно, то мне хотелось бы это сделать до конца марта, потому что потом мне придется уехать, и я думаю, что не вернусь в большой город несколько лет.

Есть два пути: один — он ясно выражен в отделе... (неразб.), а другой, более долгий и трудный, но приводимый к целям первого — определить тот порядок, в котором распределены отделы книги.

Чтобы видеть, верить, главным образом, мне надо отречься от непосредственного, постороннего, так мне кажется. Если человек может, но не делает — он дважды может. И обратно. А потому я хочу на долгое время уйти от самой себя, от того пути, который мне близок. Надо еще научиться ненавидеть, надо мне научиться не только не бояться греха, но и преодолеть его, совершать. Не умею я все это точно сказать, но, может быть, по стихам моим это будет яснее.

Сегодня же пошлю Вам мою книгу и буду ждать Вашего ответа. Если же Вас это почему-либо затруднит или Вы просто не расположены высказаться, пришлите рукопись без всяких пояснений.

Я много думаю о Вас.

Елиз. Кузьмина-Караваева.

15.II.1914

Уже давно хотела написать Вам, чтобы поблагодарить за просмотр стихов; но все это время дочь была при смерти больна.

Прежде чем писать о чем-либо другом, хочу сказать Вам, что мои письма к Вам — вот уже третье — каждый раз неожиданны для меня; каждый раз я думаю, что пишу Вам последнее письмо или, вернее, последнее сейчас, потому что совершенно ясно знаю, что когда-нибудь, через долгий промежуток, будут новые письма к Вам.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи, и за ясными и определенными словами, почти всегда техническими, я узнавала то, что заставило меня написать Вам тогда, осенью, заставляет меня много раз, п о ч т и всегда, думать о Вас.

Я знаю, что в моей жизни пути только намечаются, но даже и по этому так ясно, что все двойственно. Вы писали мне: жар души и хлеб ума — есть в человеке ум и жар души, не знаю, как это иначе выразить, но потому, что он есть, я узнала, что не только свободно создаю свою жизнь, но и свободно выявляю душу Вам, ту, которая будет в минуту смерти. И для ее жизни надо, чтобы было много б е з д о л ь н о с т и , греха и падений.

И еще Вам о чем хотела написать: самое радостное событие — о д и н о ч е с т в о ; но одиночество, когда нет никаких привязанностей, когда сознаешь его только в минуты спокойного рассуждения; и есть другое одиночество, неправильно так названное; с первой привязанностью к кому-нибудь, мира какого-то пустота, и одиночество становится мучительно. Хорошо сознавать человека, любить, чувствовать его, не боясь потери, — чтобы потеря была невозможной.

И потому, когда я мучаюсь тем, что кто-нибудь забыл или забыт мною, или когда радуюсь чувству, которое нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас.

Вы знаете, я бы не могла и Гаяну свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня.

И так же твердо знаю я, что это Вам необходимо: не сейчас и н е м о е отношение; не мое, если понимать это как мое отношение к другим — к отцу моего ребенка и к остальным людям.

У меня сейчас опять — всю зиму — перепутье. Но это мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу и попытаться переработать ее соответственно Вашим указаниям, и издать.

Вот и теперь я опять уверена, что это последнее на данное время письмо. И опять ответа ждать не буду. Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду,— и думать о Вас.

И так будет очень долго.

Елиз. Кузьмина-Караваева

5

<Без даты (Предположительно — между 15/II—21/XII 1914)>.

Я сегодня с самого утра засуетилась, может быть, поэтому мне кажется, что произошло что-то скверное. Дело было так: мои родные, от которых я звоню к Вам, знают, что есть такой номер телефона; шутки ради они хотели узнать, чей он. Все это, может быть, слишком просто и глупо, чтобы огорчаться; но мне хочется объяснить Вам сейчас же.

А огорчилась я потому, что у меня слишком бережливое отношение к нашему; много нежности и поэтому застенчивости (даже не перед Вами, а перед собою, скорее).

Мне и хорошо — очень хорошо,— и тяжело. Как смешно быть одновременно уверенной и сомневаться в пустяках.

Я очень хочу Вас видеть, но это не значит, что это нужно, потому что теперь, так выходит, что я буду хотеть Вас видеть и сегодня, и завтра, и уезжая от Вас, и не видя Вас несколько лет. Но это тоже хорошо, потому что является доказательством уверенности, что все идет, как необходимо, и все верно — никакой лжи нет. Вы с этим моим желанием не считайтесь никак.

В субботу позвоню.

Ваша Елиз. Кузьмина-Караваева

Милый Александр Александрович,

Ведь ничего скверного не произошло? Мне, наверное, так кажется, и по моей глупости?

21.XII.1914

Дорогой Александр Александрович,
мне надо Вам написать, потому что я правю на это опять

чувствую, и не только право, но и необходимость. Весь этот месяц шла борьба.

Вожжи, о которых я Вам говорила в последний раз по телефону, были отпущены совсем. А у меня это всегда соединялось с чувством гибели — определенной, моей гибели — потому что вне того пути, о котором Вы уже знаете, я начинаю как-то расклеиваться, теряюсь в днях, в событиях. Если Вы верите, что Вы тесно связаны в моих мыслях с тем путем, который все другое уничтожает, то Вы поймете, что все это было из-за Вас: я была сама виновата, конечно, я дала слишком много свободы тому человеческому, чего так страшилась. Мне так хотелось изменить все и отречься, чтобы иметь возможность просто сказать: ничего не осталось, потому что у меня одна радость: знать, что я Вас люблю, что я видела Вас и, может быть, еще увижу, что я могу думать о Вас. Только этого я хотела.

Я не боюсь сейчас и не отрекаюсь от этого. Но я знаю, что это т о л ь к о не мешает и д а ж е не мешает, потому что главное неизмеримо больше: оно все должно покрыть. Это очень тяжело, почти нестерпимо тяжело, но совершенно неизбежно. И я могу поэтому спокойно говорить, что мне хорошо, знаю, что Вы этому должны поверить. Пусть очень холодно и мерзко подчас вокруг — но это только тут. Видя свет и веря в цели пути, разве можно страшиться этой тяжести? Путь только один есть: надо стараться быть все время совершенно собранной. И все, сказанное многими (что Вам... (неразб.) так чуждо показалось) — это только тяжелая работа, потому что в мыслях своих я никак не могу сочетать Вас и меня, а знаю, что это необходимо: не для Вас и не для меня, а для того, чтобы Ваше имя не загорело цель.

Когда я припоминала вечером слова, которые Вы мне говорили по телефону, я сообразила, что Вы мне сейчас не верите или не хотите верить. Сначала мне было от этого тяжело, и я решила, что сама виновата, дав волю своему человеческому, а потом сообразила, что это нелепость какая-то, что Вы не можете не верить мне: ведь все это так реально, как то, что я живу сейчас, и так связано тесно с Вами, что если бы В ы не верили, просто пришлось бы как-то внутренне исчезнуть.

Время идет очень быстро, и многое узнается теперь как-то сразу. Узнала и я многое (практического в области нравственного поведения). А так как мне совершенно ясно, что Все это тесно связано с Вами, то у меня есть к Вам

дело, но о нем сейчас писать не буду, потому что для этого надо, чтобы Вы перестали хотеть мне не верить.

Елиз. Кузьмина-Караваева

7

10/VII—1916

Дженет

Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь, в конце концов, это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь. У меня эти корни совсем иначе создались, но создались прочно. В них самое удивительное всегда то, что получают они со стороны,— будто кто-то на рельсы поставил, и приходится только катиться. И только потом начинаешь понимать, что разливаются мои силы везде и я получаю силу отовсюду.

Когда я думаю о Вас, всегда чувствую, что придет время, когда мне надо будет очень точно сказать, что я хочу. Еще весной Вам казалось, что у меня есть только какая-то изобретательная вера.

Я все время проверяла себя, свои знания и отношение к Вам, и не додумалась, а формулировала только. И хотела бы, чтобы это было Вам понятно. Если я люблю Ваши стихи, если я люблю Вас, если мне хочется Вас часто видеть, то ведь это все не главное, не то, что заставляет меня верить в нашу связанность. И Вы знаете тоже, что это не связывает «навсегда».

Есть другое, что тоже не поддается определению, потому что обычно узнается определенными чувствами. Веря в мою торжественность, в мой покой, я связываю Вас с собою. Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приблизительно и ничтожно даже. Вот церковность — тоже неточно,— потому что в церковности Вы и я — пассивны. Это слишком все обнимающий поток.

Я Вам лучше расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже немолодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна, она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустынных. В белом доме они получают в с ю

силу в с е х. И потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в д о м е; я верю, что Вы этого захотите.

Милый Александр Александрович! Вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство — все указания на какое-то родство, единство источника, дома белого. И теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас и думаю все время очень восторженно и очень любовно, и хочу, чтобы Вы знали об этом: может быть, мои мысли о Вас будут Вам нужны — именно в будни войны.

Я бы хотела знать, где Вы будете, потому что легче и нетревожно думается, если знать, куда мысль свою направлять.

Напишите мне сюда: Анапа... мне.

Мне кажется, что Вам сейчас очень безотраднo и пусто, но этого я в Вас не боюсь и принимаю так же любовно, как и все.

Итак, если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами и что мне покойно думать о Вас.

Господь Вас храни.

Елиз. Кузьмина-Караваева.

Мне бы хотелось сейчас Вас поутешать очень спокойно и нежно.

8

20.VII.1916

Дженет

Мой дорогой, любимый мой, после Вашего письма я не знаю, живу ли я отдельной жизнью или все, что «я», — это в Вас уходит. Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли — все преображено воедино, и все к Вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы Вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко.

Любовь Лизы не ищет царства? Любовь Лизы их создает и создает реально царство добра. Вся земля разделена на куски, и нету на ней места новому царству. Я не знаю, кто Вы мне: сын ли мой, или жених, или все — что я вижу и слышу, и ощущаю. Вы — это то, что исчерпывает меня, будит землю покоя и исчерпывает нашу землю.

О Георгии и о Надежде Вы пишете.

Если бы Бог только Вам родился скорее и облегчил бы Вас. И я не знаю, кем надо мне стать сейчас и как смириться, чтобы это было принято (не Вами даже). И я хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть за Вас, все, что необходимо для Вашего равновесия,— сделаю. И Вы должны, должны это принять и помнить, что это дается потому, что, повторяю, это исчерпывает меня. Это моя Радость, это мне предназначено, велено.

И Вы не заблуждаетесь, потому что я все время слежу за Вашей добротой, потому что по руслу моему дойду до Вашего русла.

Только когда Вы говорите о скором конце исканий, я вижу, какая мне дана сила (может быть, и власть). Вы верите, что-то преображает все в одно; душа многое может. И если Вы только испугаетесь, если Вам станет нестерпимо, напишите мне: все, что дано мне,— Вам отдам.

Мне хочется благословить Вас и на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какую форму облечь ее.

Я буду Вам писать часто, может быть, хоть изредка Вам это будет нужно.

Вот пишу, и кажется, что слова звучат только около. А если бы я сейчас увидела Вас, то разревелась бы и стала бы Вам голову гладить, и Вы бы все поняли по-настоящему и могли бы верить мне с радостью и без гордости, как предназначено Вам.

Поймите, что я давно жду Вас, что я всегда готова, всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о Вас не думала.

Господь Вас храни, родной мой.

Примите меня к себе, потому что это будет только исполнение того, что мы оба давно знали.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я чуть было не решила сейчас уехать из Дженета разыскивать Вас. И не решилась только потому, что не знаю — надо ли Вам.

Когда будет нужно — напишите.

Вы уже, наверное, получили мой ответ на Ваше письмо. Пишу я Вам опять, потому что мне кажется, что теперь надо Вам писать так часто, как только возможно. Все эти дни мне как-то смутно, и не боюсь за Вас, а все же

тоскливо, когда о Вас начинаю думать; может быть, просто чувствую, что Вам тяжело и нудно. И буду Вам писать о всех тех мыслях, которые у меня связаны с Вами. Начинается скоро самая рабочая моя пора — виноделие, а потом, как всегда, тишина. Все разведется, и я одна буду скитаться по Дженету. И самое странное то, что эти осенние дни ежегодно совершенно одинаковы — как бы не пришло время, их разделяющее. Тогда проверяется все, и очень трудно не забыть, что это из круга; а медленно восходящая спираль, что душа, не возвращается к старому месту, а только поднимается над ним.

Если же помнить это, то вообще утверждается все пройденное и само восхождение. А потом становится ясно, что только в рамке дней отдельности движения кажутся медленными. И «скучно» только в днях, а за ними большой простор, и влекутся часы быстро.

И насчет нашего пути знаю я, что мы теперь гораздо ближе стали, вот за самое последнее время, ближе и к друг другу, и к концу. Мне никогда ни к кому не стать так близко, как к Вам. Будто мы все время в одной комнате живем — так мне кажется; и еще ближе — будем мы по отдельности идти.

И... (неразб.) выходит, что Вы этого не знаете.

После Вашего письма писала я стихи.

Если Вы можете их читать как часть письма, то прочтите. Если же нет, то просто пропустите. Они тогда выразили точно то, что я хотела Вам сказать.

Увидишь ты не на войне,

Не в бранном, памятном восторге,

Как мчится в латах, на коне

Великомученник Георгий.

Ты будешь видеть смерти лик,

Сомкнешь пред долгой ночью вежды,

И только в полночь громкий крик

Тебя разбудит; Знак надежды.

И алый всадник даст копьё,

Покажет, как идти к дракону;

И лишь желание твое одно

Начать заутро оборону.

Пусть длится каждодневный ад,—

Рассвет мучительный и скудный,—

Нет славного пути назад

Тому, кто зван для битвы чудной.

И знай, мой царственный, не я

Тебе кую венец и латы:

Ты в древних книгах бытия
Отмечен, вольный и крылатый.
Смотреть в тумане — мой удел,
Вверяться тайнам бездорожья
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово «Боже».
И Всадника ввести к тебе,
И покорить надеждой рок,
Чтоб был ты к утренней борьбе
И в полночь — мудрый и готовый.

Все это ясно, и все это Вы теперь, наверное, уже знаете. А вот «дни» Ваши, тот предел, который надо одолеть, Ваша скука, оторванность, нерассудность — это так мучительно издали чувствовать и знать, что это только Ваше, что Вам надлежит одиноко преодолеть это, потому что иначе это не будет преодоленным.

Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне. Пришло время взять мою душу. Ведь я уже все время, все время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно. Когда я носила мою дочь, я ее меньше чувствовала, чем Вас в моем духе. И опять не точно, потому что тут одно другим покрывается.

Елиз. Кузьмина-Караваева

10

27.VIII.1916

Дженет

Я, наверное, останусь всю зиму в Анапе; только в октябре поеду одна в Кисловодск подправить сердце. И уже заранее знаю, как вся зима пройдет. В Петербург мне ехать теперь не надо. Буду скитаться и думать, думать. Все постараюсь распутать и выяснить. Только боюсь, что изменить уже ничего нельзя, и не в своей я власти. Настало время мне совсем открыто взглянуть на то, что будет, и не только знать, но и делать.

А Вы так далеко: как же особенно это чувствуется, когда неизвестно, где именно Вы сейчас. Будто на другую планету пишу письма. Но все равно ничего этим не меняется. Ведь сейчас будни. И как трудно говорить о том, что праздники будут, особенно говорить Вам: Вы ведь сами знаете о праздниках, и у Вас сейчас будни.

Я суечусь, суечусь, делаю, — будто так должна проходить каждая жизнь. Но это все нарочно. И виноделие мое сейчас, где я занята с 6-ти утра до 1 ч. ночи, — все

нарочно. И все это более призрачно, чем самый забытый сон. Вот и людей много, и командую что-то нелепое, а знаю твердо, что на всей земле только Вы и дочь понастоящему. И когда теряю нить настоящего, внутреннего знания, то становится непонятно, что будет дальше, как сможет все быть на фоне вот этой жизни. Только и в такие минуты помню, что все это неизменно и что нет ничего такого в призрачном, что не было бы с Вами связано. Будто каждый шаг — для Вас делается.

Хотела бы я много говорить сейчас о Вас, смотреть на Вас. Мой милый, мой любимый, как Вам сейчас? И скоро ли кончится этот дурной сон? Ведь все время чувствую, что Вам какие-то бездны мерещатся. И если бы это были не Вы, я бы боялась и думала, что скоро конец. Когда я была этой зимой у Вас, мне одну минуту было очень жутко, потому что Вы будто призраками окружены и нечеловечески, может быть, даже и жалок, ужасен.

Я думала в эту минуту, что от Вас мне отойти нельзя, что призраки от моей любви к Вам все уйдут. Но знаю, что это не так: Вы сами должны их разогнать, потому что иначе они уйдут, но вернуться и не будут отпускать. Значит, мне надо опять ждать. И как мучительно ждать, когда хочется помочь и кажется, что помочь можно. А когда настанет время, Вы мне скажете.

Елиз. Кузьмина-Караваева

11

14/X — 1916
Анапа

Все эти дни — такая тоска и о Вас даже мало думаю, потому что не во время тоски мне о Вас думать. Вы для меня всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг. Кажется, куда ни посмотришь — никого нет, никого. Шататься по Анапе уже почти устала. Была сегодня на кладбище, где отец мой похоронен, и там не так, как всегда. Не покой, а тоска целительная; она покоя не знает. Если сейчас совершается большое, то далеко, только отзвуки доходят. А от этого еще тоскливее.

Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только, когда праздники у меня, внутренняя торжественность. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а, кажется, хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усадила Вас на свой диван, села бы ря-

дом и стала бы реветь попросту и Ваши руки гладить. И окажись Вы сейчас здесь — наверное, начала бы я убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.

Все — ничто. И жизнь впустую идет, и эти жизненные ценности — побрякушки какие-то. Знаю, знаю и помню все время, что они только прикрывают настоящее. Но если у меня есть земные глаза, то они хотят видеть то, что им доступно, и уши мои земные должны земное слушать. Так что знаю о том, другом, хочу это знать и Вас видеть.

Солнца много сейчас у нас, но к чему это. Вот и брожу, брожу, будто запрягли меня и погоняют.

Милый Вы мой, такой желанный мой! Ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу, и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы наивно как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорили, чтобы я не писала. Все кажется, что, значит, Вам хоть немного нужны мои письма. Все как-то.. (неразб.), все само в себе мечется. И у меня к Вам многое изменилось: нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко, и не наруши-мо,— и проще, может быть, даже стало.

Любимый, любимый Вы мой: крепче всякой случайности, и радости и тоски крепче. И Вы самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу. Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Ваша Елиз. Кузьмина-Караваева

5.XI.1916

Дженет

Начинается моя любимая осенняя тишь, и все, бывшее в году, подсчитывается. И кажется мне, что я узнаю, отчего возможно сочетание ясности и трудности, уверенности и тоски.

В начале дней каждому дана непогрешимость, ибо где нет «моей» воли, где я знаю: так надо, и выполняю чужую волю, это благодать, освещающая человека без его ведома. Но потом, для того, чтобы непогрешимость воплотилась, чтобы она стала действенной в этой вот жизни, надо воле стремиться к личной святости. (Я, может быть, не те слова употребляю.) Тут только слабо помнится, что такое «так надо». А в жизни действует только человек,

принявший благодать, и каждый час не знает, так ли надо. И от этого тоска и трудность. И чем больше... (неразб.) благодать и непогрешимость, тем труднее, потому что тем больше пропасть между нею и личной святостью. Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что цели этой достигнуть, ибо наступает сочетание, дающее точную уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни.

Когда я думала, что мне дано и от меня, кроме данного, ничего не требуется, было очень легко и ясно. А внутри к этой ясности примешивается действительная человеческая жизнь, требующая моего личного решения каждую минуту.

Пишу это Вам потому, что знаю, что у Вас большая цельная воля и власть, и знаю, что она не воплощена личной Вашей волей. И потому, что знаю, как Вам томительно и трудно, и верю, что это только начало высшего теперь.

На зиму окончательно останусь в Анапе. Только в октябре поеду в Кисловодск сердце поправить немного. Здесь мне будет особенно хорошо думать о Вас. А Вы как? Родной мой! Не могу себе представить Вашей жизни, и это меня отчего-то мучает.

Елиз. Кузьмина-Караваева

22.XI.1916

Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам и брата проводить. Мучает меня, что мои письма не доходят к Вам: хочу это даже послать по петербургскому адресу. Мудрено мне как-то. Вот наряду с тишиной идут какие-то нелепые дела: закладываю имение, покупаю мельницу и кручусь, кручусь без конца. Всем кажется, что вся эта чепуха называется словом «жить». А на самом деле жизнь идет совсем по другой плоскости и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Так с каждым днем начинаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль: даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер, а это случайность.

Мне приходит мысль, что Вы еще в городе. Так ли это? Господи. В конце концов, все равно ведь. И для Вас более безразлично, чем для других, потому что Вам все предопределено.

Не могу Вам сейчас писать (хотя хочу очень), потому что ничуть... (неразб.)

Е. К.-К.

14

4/V.1917

Дорогой Александр Александрович,
Теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас, но если Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой, самый широкий путь,— всякий, всякий,— я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем — не знаю. Может быть, всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видала сейчас. Ведь я опять уеду и не знаю, когда вернусь. Вы всегда верите мне. Мне так хотелось побыть с Вами.

Если можете, то протелефонируйте, 40—54 или напишите мне: Ковенского, 16, кв. 32.

Елиз. Кузьмина-Караваева





ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Б. ПИЛЕНКО

Утром, 8 февраля 1943 г., ко мне в комнату пришел мой внук Юра Скобцов, относившийся ко всем старикам с особенной внимательностью, а ко мне и с сильной любовью. Затопил мне печь, пошел вниз за углем и пропал. Я пошла вниз посмотреть, отчего не идет (в это время столовая, как всегда, была полна бедняками, пришедшими обедать), и первый встречный сказал мне, что приехали немцы, арестовали Юру и держат его в канцелярии. Я побежала туда. Юра сидел в двух шагах от меня, но раздался окрик: «Куда вы? Не смейте входить! Кто вы такая?» Я сказала, что я мать матери Марии и хочу быть с моим внуком, гестаповец Гофман (он хорошо говорил по-русски) закричал: «Вон! Где ваш поп? Давайте его сюда». Потом, когда пришел о. Димитрий Клепинин¹, Гофман объявил, что они сейчас увезут Юру заложником и выпустят его, когда явятся м. Мария и Ф. Т. Пьянов². Я сейчас же послала за м. Марией. Она и Ф. Т., узнав, что Юру отпустят, когда они явятся,— сейчас же приехали. Когда Юру увозили, мне позволили подойти к нему. Обняла я его и благословила. Он был общий любимец, удивительной доброты, готовый всякому помочь, сдержанный и кроткий. Если бы Юра не задержался, а поехал бы с матерью в деревню, может быть, они избежали бы ареста. На другой день увезли о. Димитрия, замечательного священника и человека, допрашивали его без конца и посадили вместе с Юрой в лагерь.

Когда мать Мария вернулась, приехал Гофман, как всегда, с немецким офицером. Долго допрашивал м. Марию, потом позвал меня, а ей приказал собираться (сначала ее обыскивал), потом начал кричать на меня. «Вы дурно воспитали вашу дочь, она только жидам помогает!» Я ответила, что это неправда, для нее «нет эллина или

иудея», а есть человек. Что она и туберкулезным и сумасшедшим и всяким несчастным помогала. «Если бы вы попали бы в какую беду, она и вам помогла бы». М. Мария улыбулась и сказала: «Пожалуй, помогла бы». Я знаю много случаев, когда м. Мария помогала людям, причинившим ей зло. Пришло время моему расставанию и с нею. Всю жизнь, почти неразлучно, дружно, прожили мы вместе. Прощаясь, она, как всегда, в самые тяжелые минуты моей жизни (когда сообщала о смерти моего сына, а потом внучки), сказала и тут: «Крепись, мать!» Обнялись мы, я ее благословила, и ее увезли навсегда. На другой день приехал Гофман и сказал: «Вы больше никогда не увидите вашу дочь». Как я узнала от некоторых из бывших с нею в лагерях и в Равенсбрюке, Мать утешала и, чем могла, помогала многим. М. Мария еще в Равенсбрюке попросила одну даму, жившую с ней вместе, запомнить и передать ее слова (у них не было ни бумаги, ни карандаша), чтобы передать эти слова Владыке Евлогию³, о. Сергию Булгакову⁴ (м. Мария думала, что он еще жив) и нам. Вот эти слова: «Мое состояние это то, что у меня полная покорность к страданию, и это то, что должно со мною быть и что, если я умру, в этом я вижу благословение свыше. Самое тяжелое и о чем я жалею, что я оставила свою престарелую мать одной».

Когда Юру отправляли «в неизвестном направлении», то случайно присутствовал при этом наш хороший знакомый, тоже отправленный в Германию. Юра был немного взволнован, но держался бодро. Перед отправкой в Германию из Компьеня нам прислали Юрин чемодан с вещами, в которых мы наши письмо от Юры к нам — мне и отцу:

«Дорогие мои, Дима (отец Димитрий.— С. П.) благословляет Вас, мои самые любимые! Я еду в Германию вместе с Димой, от. Андреем и Анатолием. Я абсолютно спокоен, даже немного горд разделить мамину участь. Обещаю Вам с достоинством все перенести. Все равно рано или поздно мы все будем вместе. Абсолютно честно говорю, я ничего больше не боюсь: главное мое беспокойство это Вы, чтобы мне было совсем хорошо, я хочу уехать с сознанием, что Вы спокойны, что на Вас пребывает тот мир, которого никакие силы у нас отнять не смогут. Прошу всех, если кого чем-либо обидел, простить меня. Христос с Вами! Моя любимая молитва, которую я буду каждое утро и каждый вечер повторять вместе с вами (8 ч. утра и 9 веч.): «Иже на всякое время и на всякий

час...» С Рождеством Христовым! Целую и обнимаю, мои ненаглядные. Ваш Юра».

Я привела прощальные слова м. Марии и письмо Юры, которые меня поддерживают, чтобы многим, как и мне, они принесли утешение в вере в Бога. С Богом не страшны ни грядущая смерть, ни мучения.

У м. Марии в стихах есть такие строки:

Ослепшие, как много вас!

Прозревшие, как вас осталось мало!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Е. СКОБЦОВА

Начиная с осени 1942 г. Мать Мария заметно стала тяготеть к местечку Фелярд, где я заводил тогда небольшое хозяйство. Приезжая, она не сидела сложа руки, а, наоборот, все время старалась чем-нибудь помочь или в работе, или по домашнему хозяйству. Обычно эти ее приезды совпадали с приходом нашего сына Юры. Совместная дружная работа, семейная обстановка за столом, общие прогулки — сын совсем расцветал. Ему вообще тяжело давалось то, что в какой-то момент отец и мать разошлись. Тихий, мирный по природе, он вообще тяготел к семейному очагу, к семейному уюту, и в эти частые приезды на Фелярд он как бы наверстывал упущенное. Мать иногда приезжала, не остыв от треволнений и дрязг, которые возникали в парижской обстановке ее работы. Мы скоро подметили, что во время ее жалоб на отдельных лиц или вообще на всю обстановку лучше ее не оспаривать, а, наоборот, лучше потакать и как бы еще усиливать вину и недостатки раздраживших ее лиц. Она в таких случаях скоро понимала, что мы над нею подшучиваем, и первая начинала смеяться, и тогда уже на весь ее приход люрмелевские недоразумения забывались.

В понедельник, 8 февраля 1943 г., они как раз оба должны были приехать ко мне, но, к удивлению, в воскресенье вечером приехала одна Мать, а на вопрос, почему без Юры, она ответила, что он придет завтра. К этому времени вокруг дома на рю де Люрмель сплетались разные тревожные слухи, и я незадолго до этого ее последнего приезда давал совет вовремя с Юрой убраться из Парижа, чтобы укрыться на первое время у меня, поэтому неприезд Юры меня встревожил.

— Как ты могла оставить его?..

Но взглянул я на нее и увидел, как она сама сильно взволновалась, и я умолк.

День 8-го февраля прошел в напряженной работе и суете, и вечером, после ужина, она поднялась к себе, а я пошел в «старый дом», в свою комнату. И вот я уже стал раздеваться, вдруг слышу, она зовет меня.

— В чем дело?

— Анатолий приехал,— услышал в ответ... Анатолий — это один из служащих в Доме, на Люрмель, выреченный, кстати сказать, ею в свое время из сумасшедшего дома.

— Юру арестовали.

Сбегаю вниз, и вместе выслушиваем, как гестаписты явились в дом, учинили обыск и, не найдя Матери, арестовали сына и увезли, пообещав отпустить, когда явится Мать. Т. о., самые худшие опасения стали реальностью.

Сначала мы решили, что поеду выручать Юру я, а она пока укроется на Фелярде, но, когда утром я пришел к ней, уже готовый к отъезду, она тоже была уже совсем одетой и заявила, что моя жертва ей кажется бесцельной, что немцы арестуют и меня и добьются, конечно, что она к ним сама должна будет явиться, и нас будет у них сидеть не двое, а трое, что бесконечно хуже в смысле хлопот об освобождении и в смысле снабжения заключенных продовольствием. И при этом всегдашнее успокоительное заверение:

— Уже недолго... Немцы будет разбиты, и все будем свободны.

По дороге к жел.-дор. станции она спокойно и деловито высказывалась, как следует устроить дела в Доме, высказывала соображения, к кому следует пойти мне и попросить помощи, чтобы освободить их.

— Если нужно, сваливай всю вину на меня, не жалей меня, но выручай Юру.

Днем я позвонил знакомым по телефону и узнал, что ее по приходе домой скоро арестовали и увезли, как арестовали и отвезли о. Дмитрия Клепенина и, несколько позже, Ф. Т. Пянова.

Препоручив свое хозяйство первому случившемуся знакомому человеку, я на третий день после арестов был в Париже, в доме на рю де Люрмель... Разворошенный улей без матки. И кроме того: чувствовалась неизжитой обостренность отношений, какая существовала между М. М. и ее ближайшими сотрудниками. Говорю это не в порядке упрека, а в порядке установления печального факта.

Между прочим, М. М., уходя, не имела у себя, как всегда, какой-либо суммы денег и взяла из сумм Дома 1000 фр., объявив об этом во всеуслышание, и по поводу этой тысячи франков пришлось выслушать не один раз повторенную громко жалобу:

— Мать Мария взяла последнюю тысячу франков и оставила нам долгу восемь тысяч*.

Неприятной, а может быть, и недостойной этой суете положил конец о. Сергей Булгаков. Он явился в церковь и в присутствии всех близких отслужил молебен об освобождении пленных.

Немецкие гестаписты и после ареста М. М. не оставляли в покое ее учреждение, являлись в дом, терроризировали оставшихся, арестовывали людей, попавшихся на глаза, конфисковали приглянувшиеся вещи и т. п. В каждый свой приезд приставали к престарелой матери М. М. со своими вопросами или навязчивыми сентенциями.

Положение матери М. М. было бесконечно тяжелым. Ее волновала участь арестованных, но по инерции она продолжала заниматься обычными делами, между прочим, исполняла обязанности старосты домового церкви. К ней приходили добрые знакомые, чтобы посидеть приличное число минут, выразить сочувствие и уйти. Первое, что нужно было сделать, — это освободить ее от непосильных в данный момент обязанностей и увести в спокойное место, я увез ее к себе на Фелярд.

Далее наиболее неотложным было снабжение заключенных в лагерь продовольствием. Это удалось наладить в максимальном размере, какой допускался административными правилами. Между прочим, долг требует выразить глубокую благодарность какому-то неведомому мне пожилому человеку, который неизменно ко дню отсылки посылок Матери Марии, когда она содержалась еще в форте Романвиль, являлся со своим вкладом, всегда очень существенным.

Совсем безнадежными оказались хлопоты об освобождении. Посещение названных Мат. Марией лиц положительных результатов не дало. Остался лишь осадок горечи от людского малодушия и безучастия.

Или вот еще: очень высокое лицо в эмиграции встретило меня словами:

* Имеется расписка в погашении этих 1000 фр. из личных средств, так что администрация Дома ущерба не понесла. К слову сказать, вообще всего накопленного личного капитала после ухода М. М. осталось в распоряжении ее матери 3500 фр. (*Примеч. автора.*)

— Язык ей следовало бы подрезать, болтала очень много,— а в дальнейшем разговоре это же лицо сказало:

— У меня была оттуда (т. е. из дома М. М-и) одна дама, которая сказала, что М. Марии, может быть, и поделом, а вот жалко о. Дмитрия.

В отношении сына взялся вести хлопоты один адвокат, повел дело с настойчивостью, по положительных результатов не получилось. Случай свел с лицом, имевшим доступ во влиятельные немецкие круги. Я обещал ему за хлопоты все, что я тогда имел, но после ряда попыток и это лицо отказалось от дальнейших хлопот.

Во временном концлагере у форта Романвиль М. М. продержали до Пасхи 1943 г. Странным образом я был свидетелем, как ее вместе с другими многочисленными пленницами увозили оттуда сначала в Компьень, а потом в Германию, в Равенсбрюк. 21 апреля утром рано я пришел к форту с чемоданом — посылкой для нее. Солдаты дежурной смены у ворот заявили мне, что той, кому я принес посылку, уже нет в лагере и указали список на двери в дежурное помещение с именами якобы увезенных. Когда я спросил, куда ее увезли, на меня вдруг набросился офицер с истерическим криком:

— Сведения здесь не даются!

Выйдя из подворотни, я по шоссе направился к метро Мари де Лилля. По дороге я встретил целый конвой автокаров, которые быстрым аллюром мчались по направлению к форту. За рулем сидели шоферы в немецкой форме. Я уже спустился в метро и сел в подошедший поезд, но в голове все была мысль — неправду сказали мне солдаты: не увезли ее, а только собираются увезти, эти автокары пошли за ними.

В метро «Пляс де ля Републик» я повернул обратно, и когда теперь я вновь подошел к форту, то здесь обстановка изменилась. У борта шоссе собралась уже значительная толпа любопытных. Приблизительно через четверть часа, как я подошел, из-под ворот форта один за другим стали выскакивать те же автокары, которые я видел, выправлялись на шоссе и мчались дальше, каждый битком был набит женщинами, которые кричали «ура», пели. В третьем автокаре я и увидел М. М. рядом с двумя католическими монахинями. М. М. тоже меня заметила, вскочила с сиденья и замахала мне руками. У нее был здоровый, цветущий вид.

В Компьене она виделась с нашим сыном*.

Из Германии от М. М. не было никаких вестей до конца 1943 г. В начале 1944 г. от нее получилось первое письмо с указанием адреса и с изложением правил переписки и о посылках.

И то, и другое быстро наладилось, как и пересылка денег.

Тон ее писем всегда был бодрый, на первом плане всегда привет своим друзьям.

Но вот с осени 1944 г., после отступления немцев из Франции, все сношения прекратились, только в начале 1945 г. удалось через общину С-н Николая послать кружным путем (через Швейцарию) еще одну посылку со съестными припасами, но, по рассказам прибывших из лагеря, М. М. получила эту посылку уже будучи очень больной.

Последняя дата, когда видела ее одна из моих корреспонденток, из лагеря Равенсбрюк, живой, это — 31 марта 1945 г. Вместе с другими больными пленницами ее оттуда увезли немцы в неизвестном направлении.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. Н. ВЕБСТЕР

После двухмесячного одиночного заключения, в апреле 1943 г. меня перевели в форт Романвиль. Три дня я лежала неподвижным трупом, ничего не замечая, ничем не интересуясь. На четвертый день я выползла, наконец, во дворик, где сновала масса женщин. На другой половине двора, за барьером, видно было много мужчин. И вот, покуда я, ошеломленная, соображала, куда я попала, ко мне подошла женщина, стройная, лицо ее — красивое ли? — не знаю, но необыкновенное, в черной длинной до пят юбке и белой, очень старомодной, батистовой блузке.

— Русская, — промелькнуло у меня в голове, — как она отличается от всех этих женщин... Какой анахронизм... Зачем она здесь?

— Вы — русская? — мне сказали... — У вас ужасающий вид... Что с вами?

— Я больна.

— Вы получаете коли?.. Мы все получаем их...

* См. об этом замечательное описание этого свидания в статье И. Н. Вебстер. (*Примеч. автора.*)

— Так, но у меня никого из близких, слава Богу, нет сейчас во Франции.

— Да, но с этим, что здесь дают, вы умрете...

Это была Мать Мария (Скобцова). На ее приглашение прийти к ней в гости (к ее кровати) я отказалась.

— Да вы совсем нелюдимая...

Через два дня была Пасха. Утром она поспешно вошла в мою камеру, подошла к моим нарам и, поцеловав меня трижды с пасхальным приветствием, дала мне кусок кулича.

На второй день Пасхи к нам явился комендант и предложил всем готовиться на завтра к отъезду с одной половиной белья. Так оно и случилось. Мы разместились в карах, и нас помчали.

Мать Мария много позже мне говорила, что бывший муж ее в это утро был у форта Романвиль, очевидно, с посылкой для нее и видал ее.

Это было ее последнее воспоминание о Париже.

Привезли нас в Компьень, в лагерь, и долго не знали, в какой барак погнать, наконец, разместили в каком-то стойле. Женщины стараются устроиться получше, покомфортабельней, думают, что надолго. К вечеру меня разыскала Мать Мария и возбужденно поведала, что сын ее Юрий тут же и она надеется его наутро повидать. Она была полна этим скорым свиданием, мечтала о моменте встречи...

Наутро, часов в пять, я вышла из своей конюшни и, проходя коридором, окна которого выходили на восток, вдруг застыла на месте в неопишемом восхищении от того, что увидела. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окно, в раме которого стояла М. Мария. Вся в черном, монашеском, лицо ее светилось, и выражение на лице такое, какого не опишешь, не все люди даже раз в жизни преображаются так.

Снаружи, под окном, стоял юноша, тонкий, высокий, с золотыми волосами и прекрасным чистым прозрачным лицом, на фоне восходящего солнца и мать, и сын были окружены золотыми лучами... Они тихо говорили. Мир не существовал для них. Наконец, она нагнулась, коснулась устами его бледного лба... Ни мать, ни сын не знали, что это их последняя встреча в этом мире. Долго она после стояла уже одна у окна и смотрела вдаль, слезы медленно текли по ее щекам. Незабываема картина скорби и молчаливого страдания и... надежды.

В то же самое утро, после всяких идиотских формаль-

ностей нас доставили в фургонах на вокзал и набили нами скотские вагоны, и без воды, в заплombированных вагонах, при ужасных условиях, повезли по направлению к германской границе. На третий день приехали на станцию Равенсбрюк и оттуда в лагерь. Два месяца из-за скарлатины был карантин; женщины заскучали и в конце концов стали ссориться. Мать, чтобы уговорить их, предложила делать доклады, стала рассказывать о главных событиях из русской истории и из истории русской православной церкви. Все горячо приняли эти конференции, а потом интерес ослабел...

Когда через два месяца наш карантин кончился, утром в блок были присланы к нам бельгийки, и пригодные из нас к работе были разосланы по тяжелым работам: засыпать песком мекленбургские болота или мостить шоссе. Для пожилых и нездоровых было устроено ателье вязанья, и, когда меня не брали на работы, я усаживалась около Матери, и мы обе учились вязать. Иногда она вышивала на лоскутках и тряпочках «заказы» для бельгиек, это ей нравилось, и некоторые из ее вещей были действительно замечательны. В это время она сочинила два стихотворения на Равенсбрюк. Одно из них было поистине прекрасно, к сожалению, оно пропало. К августу голод и переключки ее утомили, и она, воспользовавшись так наз. чесоткой, пошла в карантинный «блок», где не требовалось работать и не было переключек. В это время и вообще до этого времени она была очень дружна с М-м Ф., с нею она проводила большую часть времени, со мной она встречалась время от времени. Но М-м Ф. заболела дизентерией и ее перевезли в госпиталь, где ее и умили. Я в это время потеряла тоже свою ближайшую подругу, и так вышло, что мы больше сблизились с Матерью и стали даже неразлучными.

От изнурения ноги ее уже не носили, и я стала как бы ее костылем. Утром, т. е. в 4 ч., за час до вызова на переключку, мы всегда с ней выходили на прогулку, и она говорила, рассказывала, мечтала... Это был буквально поток проектов, планов. Конечно, по возвращении она сейчас же отправляется со своей пишущей машинкой на Феллард и пишет большую-большую книгу о Равенсбрюке... Массу она мне в эти черные ночи слякоти, сырости, холода, с.-в. ветра и снега рассказала, она любила и умела рассказывать, а я умела слушать.

Когда она уже совсем изнурилась и ей трудно было передвигать ногами, ей стали приходить посылки, с такой

любовью и заботливостью составленные. Как утопающий, за соломинку, схватилась она за них и стала себя подкармливать. Я с радостью стала замечать, как она явно пошла на поправку, возвращались к ней силы, она воспрянула духом, особенно когда получилось письмо от сына, да и из Парижа стали регулярно приходить письма. Среди нас в это время она была баловницей. Судьба ей все как бы улыбалась, и опять овладело страстное желание жить, вернуться, увидеть Юру, всех близких. Опять она стала делать конференции — всегда и всегда про Россию, очень сдружилась с русским баракком, куда тоже ходила конферировать, вышивала, встречалась с приятельницами, одним словом, жила. Но это продолжалось не так долго. Последние месяцы 1944 г. и первые 1945 г. для многих оказались фатальными, в том числе и для М. М. Получение писем и посылок прекратилось. Лагерная же пища, которая вообще была ужасной, много ухудшилась, и давать ее стали вдвое меньше, гигиенические и санитарные условия стали отчаянными. В блоке вместо 800 чел. дошло до 2500, спали по 3 в кровати, вши заедали; тиф, дизентерия, превратившиеся в общий бич, косили наши ряды. А тут еще М. М. сделала большую ошибку. В каком-либо виде работать на немцев она не хотела, и, когда в госпитале стали выдавать немощным или вообще старше 55 лет так наз. «карт роз», освобождавшие носителей их от обязательной той или другой работы и от вызова на переключку, М. М. ухватилась за эту возможность и получила эту «карт роз». Я ахнула, когда узнала об этом. Чтобы спасти себя, важно было идти в общем потоке, применяясь к положению среднего сидельца лагеря, во всяком случае, без подробностей в досье, раздражающих немцев.

— Вы всегда пессимистка, а я в восторге...

И вот после некоторого льготного периода пришел ужасный день, пришел приказ: всем «карт роз» выстроиться наружи. Мать очень взволновалась, но ничего нельзя было сделать, в госпитале было досье о ней, как о «непригодной». Ее увезли вместе с отчаянной компанией — с безногими, безрукими, горбатыми, увезли в «Юнгер Лагер». Точных вестей об этой группе в течение двух месяцев к нам не поступало, а слухи доходили самые ужасные, что с них снимали пальтишки, чулки, вызывали на проверку, и там пища один раз в день и 1/6 хлеба нормальной порции, а и нормальная-то была недостаточной, что умирали они там на переключках и в местной лечеб-

нице, которая была настоящей неприкрытой бойней... Такие были слухи.

И вот сию я однажды на 3-м этаже на половине своей кровати и вдруг слышу душу раздирающий фальцет Матери:

— Инна! Инна! Где вы?

Мгновенно я очутилась внизу, но уже человеческий поток унес ее куда-то в другой дортуар. Только на другой день при помощи Кристины, блоковой надзирательницы, исключительно хорошо относившейся к Матери, мы встретились. Я застыла от ужаса при виде, какая перемена произошла в ней: от нее остались только кожа да кости, глаза гноились, от нее шел этот кошмарный сладкий запах больных дизентерией, которой — она призналась — сильно страдала...

В первый раз я увидела Мать придавленной, со мной она в первый раз любовно-ласкова, она, видимо, сама нуждалась в ласке и участии, она гладила мое лицо, руки. Она говорила разные ласковые слова.

— Инна, Инна, моя вы византийская икона... Мы больше не расстанемся с вами... Я выживу. Вы — гранит. Вы меня вытяните...

Я внутренне задавала себе вопрос: «Что мог сделать этот «гранит»?..»

Это было начало конца. Конец февраля и март 1945 года были невыносимыми, немцы свирепствовали, жизнь адская. Бесконечные вызовы на проверку. Кристина позволила Матери выходить в последний момент и всегда становиться позади меня, тогда она могла опираться на мою спину, ибо силы ее уже оставляли, это была уже тень. Но кроме проверок производились без конца медицинские селекции: направо — жизнь, налево — смерть. Маршировать перед докторами надо было бойко. Кристина с большим риском для себя прятала Мать под кроватями в дортуарах, два раза мы ее даже втягивали на чердак, но долго это продолжаться не могло...

Пришла раз Кристина возбужденная, грубая и... придавленная и сказала:

— Из всех блоков кампоны увозят «непригодных» в «Юнгер Лагер», — позже она сообщила, что Мать опять увезли...

...1 апреля в Пасхальное Воскресенье вышел приказ всем французенкам 2-го выйти на лагерштрассе, чтобы быть освобожденными. Никто ничего толком не знал, но достоверно было то, что из «Юнгер Лагера» 2-го прибыли

француженки. Явилась надежда иметь новость о Матери. Действительно, 3-го или 4-го апреля мне удалось переговорить с тремя-четырьмя женщинами нашего 19 000 транспорта и другими, знающими и симпатизирующими Матери, и вот что мне рассказали:

Мать уже не ходила, а ползала. М. т., проверку там делал С. С., и все знали, что, если он заметит кого сидящей, то тотчас же забраковывал, т. е. куда-то усылал. Мать сидела и с усилием вставала только когда С. С. проходил. 30 марта, в Страстную пятницу, она больше не могла встать. Он взял ее номер и номера других столь же немощных. После проверки всем было приказано выйти наружу и не брать вещей. Матери было приказано оставить свои очки. Когда она запротестовала, что без очков ничего не видит, их с нее сорвали. Пришел кампон, и их всех увезли.

В середине апреля блоковая нашего транспорта и Кристина позвали меня и сказали, что видели лист газированных 31 марта и там было имя Матери Марии.

Т. МАНУХИНА. МОНАХИНЯ МАРИЯ

(К десятилетию со дня кончины)

ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА

Впервые я увидела мать Марию*, когда ее еще звали Елизаветой Юрьевной и когда она была деятельным членом Студенческого Христианского Движения (она была одним из его секретарей). Встретились мы не в «Движении», где я не бывала, а в религиозно-философском кружке под председательством Н. А. Бердяева. Просуществовал этот кружок четыре года. Собирались то у Федотовых¹, то у Фондаминского², то у нас. Доклады обычно посвящались «социальному христианству». Эти вопросы обсуждались тогда в эмиграции довольно горячо. Рассуждения на эти темы были назначением нашего кружка, и Е. Ю. была его просвещенным и желанным членом.

Внешне Е. Ю. напоминала нашу курсистку-революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, прическе и бытовым стеснительным условиям:

* Мать Мария, в миру Е. Ю. Скобцова, урожденная Пиленко, погибла в лагере Равенсбрюк 31 марта 1945 г. (*Примеч. автора.*)

виды выдавшее темное платье, самодельная шапочка-тютетейка, кое-как приглаженные волосы, пенсне на черном шнурочке, неизменная папироса... Е. Ю. казалась такой русской, такой, до улыбки, русской! Можно было только удивляться, как она сумела сохранить в Париже, в центре моды и всякой внешней эстетической вычурности; всем нам знакомый облик русской эмансипированной женщины. И лицо у нее было тоже совсем русское: круглое, румяное, с необыкновенно живыми «смеющимися» глазами под темными круглыми бровями и с широкой улыбкой, но улыбкой не наивно-добродушной, а с той русской хитринкой, с той умной насмешливостью, которая отлично знает относительную ценность слов, людей и вещей.

Первые наши встречи были простым внешним знакомством. Разговорилась я с Е. Ю. случайно и по ничтожному поводу. Я заинтересовалась ее сложными рукодельными работами: она приносила с собой свои художественные вышивания, продолжая работать во время заседания. Разговорившись с нею, я узнала, что такая спешность работы вынужденная. И тут как-то быстро и легко мы «познакомились».

— И с заработком и с помещением нам сейчас трудно, — откровенно сказала она, — нас трое: моя мать, дочь и я, а муж с сыном живут вне Парижа, за городом. В комнате у нас и сыро, и темно. Хорошо еще, что живем не так далеко от Сергиевского Подворья, где я люблю бывать на церковных службах, но работать в таких условиях нелегко. Вот вам понравилась эта вышивка, а я только что сдала один заказ — вот была работа. Но я справилась, вышивала в поездах днем, когда ездила в командировки от нашего «Движения», а ночью, когда в вагонах темновато, — вязала.

Этот случайный разговор с Е. Ю. о вышивках и командировках заинтересовал меня. Тогда же я заметила свойство Е. Ю. — приятную откровенность, ту, которая обнаруживает склонность к быстрому сближению с людьми, делает общение легким и простым. Так просто и откровенно в тот раз Е. Ю. рассказала мне следующее:

— Командировки «Движения» я очень люблю. Мне случается ездить в разные концы Франции, и эти поездки знакомят меня с жизнью эмиграции. Какие бедственные положения я открыла! В Париже мы об этом мало знаем. Для «Студенческого Христианского Движения» и вообще для социальной христианской работы всюду и везде беспредельные возможности. Нужда во всем вопиющая: в

просвещении, в нравственной поддержке, в юридической защите, в материальной помощи. В какие трудобой приходилось мне попадать! С какими горестями встречаться!

— Как же вы вашу работу организуете? — спросила я. — Ну вот, вы приехали куда-нибудь, как приступаете к делу?

— По приезде прежде всего надо разыскать русский центр. Иногда это церковь, иногда клуб, кантина, а то и просто лавочка. И тут начинается импровизация. Надо войти в контакт с соотечественниками, обсудить с ними вопрос о помещении для лекции, надо оповестить о докладе. Случалось мне самой все устраивать, даже писать и расклеивать афиши. Иногда с первой же встречи ясно: религиозные вопросы у них на первом месте, а бывало и наоборот — лучше их не касаться, а посвятить вечер русской литературе или общественным вопросам. Как справляться со всякого рода неожиданностями, это дается опытом. Бывали случаи и совсем невероятные, когда приступать к людям с докладами и лекциями и думать было нечего. Тогда я из командированного лектора неожиданно превращалась... в духовника. С первого же знакомства завязывались откровенные беседы об эмигрантской жизни или о прошлом, и мои собеседники, признав, вероятно, во мне подходящего слушателя, старались найти потом свободную минуту как бы поговорить со мною наедине, около двери образовывалась очередь, как в исповедадьню: людям хотелось высказаться, поведать о каком-нибудь страшном горе, которое годами лежит на сердце, или об угрызениях совести, которые душат... В таких трудобаях о вере в Бога, о Христе, о церкви говорить бесполезно, тут нужда не в религиозной проповеди, а в самом простом — в сочувствии.

Так было в Марселе, в поселках, где живут портовые рабочие. Я с трудом разыскала русские бараки. Поселок — место жуткое, меня предупредили, что отваживаться туда одной, да еще не зная как пройти, небезопасно. Население его разношерстное: негры, арабы... и вообще интернациональный пришлый люд; русский барак оказался такой же неблагоустроенный, как все: грязно, убого, смрадно, неприбрано... койки-блоховники. Но встретили меня здесь радушно. Быстро познакомились, разговорились — началась беседа: наперебой все рассказывали о «каторжной» работе в порту, об эмиграционных мытарствах... а потом, понемногу, начались и личные конфиденции наедине.

Впечатление тяжелое: измученные люди, ожесточенные, озлобленные, огрубевшие, были и совсем опустившиеся. И все же по отношению ко мне ими было проявлено столько благодарности, теплоты, заботы... Не везде меня встречали приветливо, бывали встречи и «в штыхы». Так было в Пиренейских шахтах. Я никогда не бывала в этом районе и не воображала, что меня там ожидает. Отыскала я там русские бараки, добралась до кантины. Вхожу. Сидят несколько человек. Объясняю, откуда и для чего приехала. Молчание. Смотрят исподлобья, мрачно, недружелюбно и молчат. И вдруг злобный голос: «Вы бы лучше нам пол вымыли да всю грязь прибрали, чем доклады нам читать...» — «А что же,— говорю я,— охотно вымою вам пол. Где у вас щетка, тряпка?» Скинула с себя пальто, застучала рукава. С этого мое «Христианское Движение» там и началось. Пола мыть я умею, грязи не боюсь. Работала я усердно, да только все платье водой окатила. А они сидят, смотрят... Потом вдруг — и так неожиданно. Тот самый человек, который так злобно обратился ко мне, снимает с себя кожаную куртку и дает мне: «Наденьте... вы ведь вымокли». И тут лед стал таять. Когда я кончила, посадили они меня за стол, принесли обед и завязался разговор. О тяжелой рабочей доле я знаю немало, но о такой, как здесь, в шахтах, я недостаточно была осведомлена. Беспросветно... И уныние у них в душах безысходное — та мера его, когда веры ни во что и ни у кого уже нет и надежды не осталось. Как могла, как умела говорить с ними, обещала сообщить о них в Париже, похлопотать, что бы им из ада выбраться. К вечеру я должна была их покинуть. А днем вот какой случай приключился.

Я спешила на вокзал справиться о поездах, за углом нагоняет меня один из моих собеседников. Пошли вместе. «Знаете,— вдруг говорит он,— я нынче утром решил бесповоротно: сегодня покончу с собой... Ваш приезд помешал, но это только временно. Жить так, как живем,— абсурд, я испробовал все, чтобы с судьбой примириться,— не могу...» Я набросилась на него со всей силой убеждения, на которую только в ту минуту была способна. Было ясно, оставлять его в этом состоянии нельзя. «Где вы живете?— спросила я.— Идемте к вам». А когда мы пришли, я сказала решительно: «Сегодня же вы уедете со мной в Тулузу, там есть семья, мои друзья, у них и поселитесь, а позже видно будет, как вам устроиться. Где ваши вещи?» Он пытался что-то возражать, но я уже собирала и увязывала его пожитки. Вечером мы уехали.

Я понимала, что из трагического положения ему самому не выйти. И оказалась права. (Но удостоверилась в этом позже.) Тогда же я увезла его в Тулузу и, как больного ребенка, сдала на руки семье С. Эта семья замечательная, пожалуй, единственная подлинная христианская семья, которую я за всю эмиграцию встретила. Трудящиеся люди малого достатка, но большой любви. Их дом — прибежище для всей русской Тулузы. Двери открыты каждому, кто одинок, беспомощен, беззащитен или безутешен. Человек попадал к ним — как в царство небесное, столько в этой семье доброты, тепла, радостного самопожертвования и терпеливого сочувствия всякому горю или нужде. Всегда там кого-то утешают, обогревают, отмаливают... Живут в тесноте, питаются чем Бог послал, делаясь последним, но в доме веет духом подлинности братолюбия. Здесь на первое время мой питомец и поселился. С. взяли его судьбу в свои руки.

— А что ж с ним случилось? Вы потеряли его из виду? — спросила я.

— Знаю, что понемногу с ним все обошлось благополучно, но личных отношений с ним я не поддерживала. Это мое правило — не надо, чтобы моя деятельность соскальзывала в «дружбы»...

Все эти рассказы Е. Ю. меня очень интересовали — и не столько факты, сколько их объяснение. Тут была не одна опытность общественного деятеля, способного быстро осмотреться и благоразумно поступить, но и большая внутренняя сила, которая движет человеком независимо от опытности. И я не ошиблась. Как-то раз — и опять случайно — я заговорила с Е. Ю. на эту тему.

— Я не анализирую своих отношений к людям, — сказала она, — но одно сознаю ясно: мне свойственно чувство жалости. Иногда оно овладевает мной с такой силой, что я не нахожу покоя. Не только горе, нужда или беда какая-нибудь вызывают его, но случается мне иногда встречать людей как будто вполне благополучных, но которые почему-то вызывают во мне это же жгучее, мучительное чувство. Вот, например, Х. (она назвала известного пастыря-богослова), когда я смотрю на него, я иногда чувствую прилив такой нестерпимой жалости к нему, что вынуждена уйти из комнаты, чтобы овладеть собой... Когда людей жалко, тогда все готова сделать для них, ничего нет тяжелого, потому что все облегчение тебе же самой, чувство жалости — такая мука! Оно ищет исхода в попечении, в служении тому, кого жалеешь...

Е. Ю. не добавила «и в самопожертвовании», вероятно, не добавила потому, что не любила громких слов, а между тем упомянуть надо было: вольная жертва собой есть высшее и полное преодоление жалости.

В этот период нашего знакомства я не только внимательно присматривалась к Е. Ю., но и прислушивалась к тем рассказам о ее прошлой жизни, которые до меня доходили. Юность... увлечение литературой, поэзией.. первые шаги на литературном поприще, литературные знакомства. Брак, ребенок — дочь, названная изысканным именем Гаяны (Гаиании).

Поэзия перебивается с увлечением политической работой. Участие в партии эсэров. Революция... Е. Ю. развивает бурную политическую деятельность на юге России. Второй брак... дети... эмиграция. Все ярко, стихийно, бурно, полно движения и разнообразных интересов. И все задолго и предусмотрительно приуготовляло судьбу той Е. Ю., которую я знала в начале эмиграции и которая скоро должна была преобразиться в монахиню мать Марию.

МАТЬ МАРИЯ

Пострижение Елизаветы Юрьевны в монашество не вызвало в эмигрантском Париже сенсации — только некоторое удивление, недоумение. Правда, были толки и — развлечение болтунов — кривотолки, но все скоро улеглось, и Е. Ю. легко стала именоваться матерью Марией, а Елизавету Юрьевну легко и естественно забыли.

Лица строго уставного типа поначалу любопытствовали, почему Е. Ю. митрополит Евлогий постриг прямо в мантию, минуя рясофор. Навели справки и дознались, ответ получили обстоятельный: жизнь и деятельность Е. Ю. всех последних лет были подлинной школой аскетике и вполне приготовили ее к монашеству; были и бедность, и проявление полной нестяжательности, и ревностное исполнение возложенных на нее «Христианским Движением» ответственных поручений в самых тяжких условиях. Обычно духовные руководители намеренно ставят взыскующих монашества в суровые условия, дабы отучить их от изнеженности, довольства, самоугодия, самочиния, — о Е. Ю. позаботилась тяжелая эмигрантская доля. Что касается религиозной зрелости Е. Ю. для пострига в мантию, то суждение о ней входит в компетенцию ее духовных руководителей.

Весть о предстоящем постриге Е. Ю., добежавшая до меня через общих знакомых, меня не удивила, а обрадовала. В Е. Ю. я всегда чувствовала «подвижницу», но чувствовала и какую-то несогласованность ее личной жизни с ее религиозно-общественной устремленностью. Ни до пострига, ни в день его я Е. Ю. не видела (что-то помешало мне поехать в Сергиево Подворье). Я послала ей белой сирени с поздравительной запиской и впоследствии узнала, что мои цветы украсили ее первую келью — ту комнатуху, которую ей на Подворье отвели для первых дней монашеской жизни. Прошло довольно времени, кажется около месяца, прежде чем мы с нею свиделись. Хорошо помню эту встречу.

Широкая, длинная ряса (восклицание м. Марии: «девять аршин пошло!»), апостольник с завязушками на затылке, четки в руках вместо папиросы, добродушные, «бабушкины» стальные очки вместо беспокойно взлетающего на переносицу пенсне... Но то же веселое лицо, та же умная улыбка, и по-прежнему разговорчива, бодрa и оживленна. Однако есть что-то иное, новое... Гармония спокойной силы в манере себя держать вместо былой несколько суетливой бурности. Явно, она нашла для души своей соразмерную ей форму, и потому казалась гармоничной и устроенной. В это свидание я осведомилась о том, что меня всегда интересует при встречах с «иноческим чином»: когда и почему человек решил принять монашество? М. Мария не отмалчивалась, а со свойственной ей откровенностью, которая, однако, умеет безошибочно находить свои границы, рассказала мне, как это было.

— Я не знаю, говорила ли я вам о смерти моей второй дочери. Она умерла в эмиграции, в клинике Пастеровского Института. Маленькая... ей было 4 года. Там делали все, чтобы ее спасти, но девочку спасти не удалось... Похоронили ее на Парижском кладбище, но мне и моей семье хотелось перенести ее на другой участок. Перенесение праха обставлено тягостными формальностями. Родственники переживают как бы второе погребение, и я, право, не знаю, которое из них мучительнее... Гроб извлекают и вскрывают, останки перекаладывают в новый гроб. Так вновь увидела я мою дочку... Тело подняли, переложили, вновь запечатали и понесли. И вот, когда я шла за гробом по кладбищу, в эти минуты со мной это и произошло — мне открылось другое, какое-то особое, широкое-широкое, всеобъемлющее материнство... Я вернулась с кладбища другим человеком... Я увидела перед собою новую дорогу

и новый смысл жизни: быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите. Остальное уже второстепенно. Я говорила с моим духовником, семьей, потом поехала к митрополиту...

О своих переживаниях во время пострига ничего не сказала, только обмолвилась: «Вот католики заимствовали для пострига всю символику таинства бракосочетания: подвенечное платье, флер д'оранж, вуаль, обручальное кольцо — невеста Христа, Возлюбленного Жениха. У нас, хоть и называют инокиню Христовой невестой, не на этом ударе. Когда я пала ниц, а хор запел «в объятия Отца»... Тут в православии не невеста, а блудный сын, вернувшийся к Отцу, все ему простившему, и начало новой жизни. Нет-нет, это глубже символики бракосочетания, и так созвучно нашей русской душе это примирение с Богом, это возвращение к нему...»

В первые полгода после пострига м. Мария изредка приходила к нам, приходила «просто так», как ходят в гости. По-видимому, она была занята только своим монашеским «подвизанием», никакого определенного дела у ней еще не было. Но довольно скоро обнаружилось, что монашество без большого, серьезного и живого дела ее не удовлетворяет: одним молитвенным правилом, подвизанием в добродетелях и в «борениях с помыслами» она, несомненно, ограничиться не могла.

— Еще немного осмотрюсь и что-нибудь начну. У меня разные планы,— как-то раз сказала она. А потом в одну из ближайших встреч:

— У меня замечательный план! И вполне осуществимый... Нужно создать женское общежитие. Я кое-что обдумала...— Затем последовали разные хозяйственные соображения:— На благотворительность я не рассчитываю. Чтобы строить крепко, надо строить на самокупаемости. Общественные субсидии могут быть — и спасибо за них!— но надо вести хозяйство так, чтобы добиться самостоятельности. Потребность в общежитии насущная: трудящиеся женщины разбросаны по всему Парижу, платят втридорога, приходят домой — зачастую ни ужина, ни теплого угла. Одиночество, чувство заброшенности. Я уверена, что проект встретит отклик. Кое с кем я уже говорила.

Откуда у м. Марии была хозяйственная складка, объяснят, вероятно, ее биографы. Впоследствии я не раз подмечала у нее эту врожденную склонность быть «хозяйкой», и все же эта черта житейской осмотрительности куда-то бесследно исчезала, когда жизнь требовала риска,

импровизации. Тогда м. Мария умела бывать и безрассудной. Именно так возникло ее первое женское общежитие. Началось с проекта и пустого кармана. Однако, помню, м. Мария бодро заявила:

— Денег у меня никаких нет. Для начала можно кое-какой сбор сделать, но знаю, соберу мало, а мне нужно сразу помещение, мебель, посуду и белье. Ничего у меня нет!

Через неделю:

— Ищу, но не могу найти помещение...

Недели через три входит м. Мария сияющая:

— Нашла... чудное! Особняк в садике на авеню де Сакс, в тупичке. Дом чистый, ремонта не требует, надо скорее подписывать контракт, а денег у меня нет по-прежнему. Ничего... увидим. Надо уметь ходить по водам. Апостол Петр пошел и не утонул же. По бережку идти, конечно, верней, но можно до назначения не дойти,— рассудительно закончила м. Мария.— Нет, нет, надо уметь ходить по водам.

В ближайшие дни это «хождение по водам» и началось. На задаток по найму особняка ушла вся та небольшая сумма, которая оказалась случайно в те дни под рукою, но в назначенный нотариусом для подписания контракта день у м. Марии еще утром денег не было. Последняя надежда на одного доброго человека к 12 часам не оправдалась... и м. Мария помчалась к митрополиту Евлогию.

— Я призналась ему во всем. Он меня жестоко выбранил, потом кряхтя полез в свой бездонно-глубокий карман, вытащил какие-то кредитки и отмусолил мне 5000 франков. «Вот тебе, а там видно будет». Я повалилась ему в ноги — и полетела к нотариусу. В новом помещении я живу уже три дня. Там еще ничего нет: ни мебели, ни электричества, ни газа...

В тот радостный день м. Мария предложила мне съездить с нею полюбоваться новым домом.

Приятный, опрятный особнячок в тихом садике, в глубине узкой улочки, в двух шагах от широкой, аллеиной авеню де Сакс. Рядом с особняком безмолвный, запертый, как бы застывший в созерцании небольшой дом — монастырь кларисс. Статуя св. Клары в углублении его стены не то удивленно, не то благожелательно смотрит в сад будущего православного женского общежития. Может быть, ему суждено превратиться в монашескую общину?

М. Мария водит меня по комнатам:

— Здесь спальни, здесь столовая, церковь со входом прямо из сада, а вот здесь я сейчас живу.

Пустая комната, как и весь дом — ни гвоздя. В углу на полу набросаны свалывшиеся одеяла, вместо подушки что-то скатанное валиком. Одно убранство — большая икона Покрова Пресвятой Богородицы. Она стоит за валиком на полу, прислоненная к стене, под ее сенью одна в пустом особняке спит основательница будущего общежития.

Мы уселись на полу на одеялах и продолжали нашу беседу.

— Надо все оборудовать, все наладить — но это что! Главное, вот что меня радует: едва распространился слух об общежитии, уже со всех сторон поступают запросы кандидатов.

После этого памятного дня на некоторое время я потеряла м. Марию из виду. Доходили слухи, что она понемногу устраивается, пожертвовали какую-то обстановку, немного посуды, белья... А потом узнала — общежитие открылось.

Впоследствии я бывала не раз там, навещая одну из пансионерок, мою приятельницу. Помню зеленые комнаты с окнами в густой садик, длинный стол в столовой, уставленный фантастической разнокалиберной посудой, маленькую церковь, где все было так самодельно-убого, так трогательно-бедно...

Случалось мне бывать и на лекциях, которые м. Мария любила устраивать для своих насельниц, приглашая соответствующих лекторов.

О своей новой деятельности м. Мария всегда рассказывала с воодушевлением.

— Основное мое хозяйственное правило — самокупаемость. Плата за стол и комнаты — весь мой доход, но за эту плату прокормить досыта я не могу, вот я и отправляюсь на «халлей»*, там после окончания рынка скоропортящиеся товары отдают учреждениям для бедных и просто бедным за бесценок, а то и даром. Мне валят что попало: рыбу, кости, капусту, подгнившие фрукты, овощи, иногда в придачу попадает что-нибудь и получше: сало, потроха...

Я взваливаю мешок — и на метро. Надо завести тачку и безработного, тогда будет удобней, а то вчера рыба

* Парижский центральный рынок. (Примеч. автора.)

протекла и мне всю спину промочила — я вся пахну рыбой.

С материальной стороной м. Мария, несомненно, как-то справлялась, но, по-видимому, этого успеха ей было мало — хотелось духовно объединить пансионерок, помочь разношерстной группе женщин религиозно осмыслить и религиозно устроить их нелегкую трудовую судьбу. Со свойственным м. Марии чувством реальности, которое без иллюзий видит вещи, как они есть, она весьма скоро поняла, что в сторону монашеского идеала направляться с ее пансионерками было бы бесполезно. Были среди них верующие души, встречались благочестивые, но ни потребности, ни склонности к религиозно-подвижнической жизни не замечалось ни у одной. И м. Мария поставила крест на своем заветном, как мне казалось, желании и стала искать другого пути.

Вскоре я узнала, что она предложила своим пансионеркам создать объединение трудящихся женщин, или «трудниц». Устав был задуман несложный: общие молитвы перед уходом на работу и вечером (церковь уже была открыта), посещение субботних и воскресных церковных служб, совместные говения, создание просветительского кружка, библиотеки, устройство совместных развлечений, взаимопомощь на случай безработицы, болезни и проч. Пансионерки живо на проект откликнулись, и в общезжитии как будто зародилась новая жизнь.

Общежитием «трудницы» дорожили и дух семейственности, который там был, ценили; если некоторые возражения были, то они касались каких-то непорядков второстепенного значения. Эти мелкие конфликты были неизбежны при такой начальнице, как м. Мария. Ничего «своего» у нее уже не было, и иметь «свое» она не желала; именно то, что у нее нет ничего, даже своей комнаты, радовало ее. «Я устроилась внизу возле кочегарки, там неплохо, удобно за отоплением присматривать и спать тепло...» Неудивительно, что м. Мария образцовой начальницей дамского общежития не сделалась, ее путь лежал где-то вне всякой «буржуазной» домовитости. И поэтому рядом с общежитием начинает возникать что-то совсем особое: в домике на авеню де Сакс нет-нет да и появляются безработные. За мелкие услуги на «халлях», по дому и саду кое-кого начинают подкармливать на кухне общежития. Эта «меньшая братия», по-видимому, все более и более стала интересовать м. Марию, и не только она одна, но и вообще всякая беспризорность, вопиющая нужда, безвыходное положение. Когда людям некуда идти и некому их

защитить — м. Мария устремлялась им на помощь. Надо уладить недоразумение с паспортом — она, не щадя сил, хлопочет в соответствующих инстанциях. Нужно помочь безработному, она стучится во все двери. Стоило ей узнать про какую-то нервнобольную, которой может угрожать сумасшедший дом, она ввязывается в сложную историю, привозит больную в общежитие и матерински возится с несчастной женщиной, ужасая «трудниц» вынужденным соседством с нервнобольным человеком...

Постепенно о м. Марии узнают те, кому она может быть нужна как последнее прибежище. Помню, м. Мария как-то раз рассказывала мне, смеясь и радуясь своему рассказу, что она уже делается известной на автомобильных стоянках. Приехал один безработный в Париж (высланный из Бельгии) и не знает, куда ему деваться; слышит русскую речь на вокзальной площади — русские шоферы. Разговорился с ними, один и говорит: «Делать нечего, придется тебя к м. Марии везти, есть у нас такая, она тебя как-нибудь обдумает...»

В своей трудной работе м. Мария была одинока, помощницей ее была только ее старушка мать С. Б. Пиленко. Позже приезд из России монахини м. Евдокии с сестрой и матерью окрылил м. Марию надеждой, что у нее будут сотрудницы.

В последний год общежития на авеню де Сакс я немного теряю м. Марию из виду. Изредка читаю ее стихи в «Пути»³, всегда живые, на социальные темы, ее стихи в периодических изданиях, звучные, тяжеловатые, полные силы и какого-то особого внутреннего пламенения.

Изредка слышу отзывы о ней, разнообразные по форме, но, увы, в большинстве банально-отрицательные: «М. Мария... — да какая же она монахиня? Доклады читает, дебаты, любит политику... Ни устава монашеского не блюдет, ни уклада. Неблагообразна, неблагочинна — один соблазн! Сидит нога на ногу, а то и на диване с ногами. Жарко — она апостольник на затылок. Нет-нет, уж ты либо монахиня, либо снимай клобук и рясу...» Так раздраженно говорили обычно дамы почтенные, благочестивые, до церкви усердные, ревностные охранительницы монашеских традиций. Ясно, их идеалы монахиня м. Мария не воплощала: не по-женски умна, дерзновенна, независима, беспокойна, всей своей статью революционна и не без вызова всякому порядку и чину.

Такого рода отзывы сопровождали м. Марию в течение всего ее монашества, что не мешало ей иметь верных друзей

и горячих приверженцев. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (Лук. 6,26), вот это «горе» м. Марии не коснулось, все хорошо о ней не говорили. Но, вероятно, все эти ропоты-шепоты, насмешки, колкие словечки казались ей выражением таких несложных требований по сравнению с теми, которые она сама себе предъявляла.

Общежитие на авеню де Сакс просуществовало недолго, кажется, года три. И вот м. Мария переезжает в особняк 15-го парижского аррондисмана⁴. Кончается один период ее деятельности — период женского общежития с неудачной попыткой сплотить пансионерок в религиозную коммуны «трудниц». И начинается новый, с первыми шагами на пути к созданию той «спасательной станции», того «Ноева ковчега», которого так не хватало эмиграции.

МАТЬ

Новый дом на 77 рю де Лурмель — запущенный особняк, фасадом прямо на улицу и на улице неприглядную: заводские гаражи, невзрачные лавки, заборы, рабочие гостиницы, бистро. Улица грязная, шумная, с кривыми тротуарами и разбитой мостовой. Как все это не похоже на чопорную авеню де Сакс, на особняк, спрятанный в кудрявой зелени палисадника!! Зато новое помещение весьма удобно. В глубине — прилегающая к дому просторная галерея, самой судьбой предназначенная для будущей «столовки», и тут же под деревом, неким чудом затерявшимся среди каменных стен,— гараж. М. Мария сейчас же использовала его, устроив там церковь, посвященную ее любимому празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. В устройство храма м. Мария вложила все свои художественно-декоративные, живописные и рукодельные способности. Роспись стен и стекол придала гаражу вид терема, а вышитые гладью панно — история царя Давида — оживили стены оригинальным разнообразием фигур, хотя и вызвали укоризну некоторых ригористов...

— Смотрите, смотрите,— с веселым торжеством говорила м. Мария, показывая свою работу,— вон Саул, а вот тут Давид с гуслиями, там Авессалом, а вот бедная Вирсавия после купанья расчесывает волосы.

С этим новым периодом ее работы связано раскрытие всех дарований м. Марии, ее духовное созревание. Знаменуется оно не только переездом в новое помещение,

но и трагическим событием, которое, вероятно, бесповоротно обусловило ее путь: вскоре по приезде на рю Лурмель м. Мария потеряла свою дочь, юную, жизнерадостную, бурно-живую, одаренную, бесконечно дорогую ей Гаяну. Потеряла неожиданно. Молодая девушка вышла замуж и уехала с мужем в Москву, где вскоре заболела тифом и умерла. Те, кому случалось видеть в те дни м. Марию, не могли не почувствовать, что ее горе той меры и силы, когда оно кладет на всю последующую жизнь неизгладимый след.

Я была на парастасе по Гаяне: в тот вечер в Покровской церкви собрались все друзья, почитатели и знакомые м. Марии. Меня поразила тихая сила, с которой она переносила свое горе: ни бурных слез, ни рыданий, ни того бесслезного оцепенения, когда душа словно в обмороке от ужаса безутешности. Войдя в храм, прошла вперед, пала ниц и встала с колен лишь после «Вечной памяти», потом принимала выражения соболезнования от своих друзей, отвечала на расспросы. Что переживала ее душа в те минуты, в те дни — это ее тайна, о ней, быть может, знали только близкие ее, но к ней прикоснуться она дала всем, когда некоторое время спустя появились в печати стихи, проникнутые трепетом материнской любви и глубокой печали...

После смерти Гаяны м. Мария еще ревностней отдается своей работе. Горе не удержало ее, наоборот, неудержимо повлекло к осуществлению своего призвания. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что именно после тех дней, незаметно и естественно, как в жизни возникает и развивается все живое, начинает появляться в ее судьбе и жизни все полней, все ярче, все то «широкое-широкое материнство», которое ей открылось на кладбище. Внешне эта стадия ее духовного роста отмечена мелким, но характерным знаком: ее окружение — друзья и родные, а потом, случалось, даже чужие, которые знали ее или имели с нею дело, — начинают именовать ее не «мать Мария», а просто «Мать». «Надо Мать попросить...» «Надо Матери сказать...» «Так Мать распорядилась...» «Мать обещала...» «Мать сказала...» Это наименование все чаще и чаще раздается в стенах общежития и в разговорах об основательнице. «Мария» куда-то исчезает, преходящее стало постепенно вытесняться типичным, а данный ей великий дар материнской любви, который все в ней, даже бессознательно, чувствуют, столь бессознательно стал запечатлеваться соответствующим наименованием.

Теперь под кровом общежития живут самые разнообразные пансионеры. Это уже не женское общежитие, с которым были связаны когда-то религиозно-просветительские планы, теперь это убежище для скромных тружеников. Живут одинокие — молодежь, дряхлые старушки, живут и семейные с детьми. Мать сдает комнаты за минимальную плату, в столовке питает за гроши. В доме просторно, но пыльно, грязновато, убого, невзрачно, но все искупает теплое чувство укрытости, упрятанности, приятной скученности в спасительном «Ноевом ковчеге», которому не страшны волны грозной житейской стихии с ужасом просроченной квартирной платы, безденежья или уныния безработицы; тут можно переждать, передохнуть, как-то временно отсидеться, пока не станешь на ноги.

Как Мать справлялась со своим новым общежитием?

— Я веду хозяйство по-прежнему по принципу самокупаемости, а когда не хватает, приклянчиваю у общественных организаций, — говорит Мать.

Кажется, «не хватает» довольно часто: жильцы платят с перебоями, случаются у них «крахи» и «катастрофы», приходится допускать рассрочку, словом, финансовая сторона — источник неопределенностей и зыбкого бюджета. Но общежитие держится, оно имеет уже свою положительную репутацию; Покровская церковь посещается усердно; лекции и собрания, которые Мать иногда устраивает, привлекают слушателей, «столовка» ширится; понемногу, еще робко, начинает заглядывать на гостеприимный двор окружная французская беднота.

В этот «лурмельский» период деятельность Матери развивается по разным направлениям. Так нормально растет здоровое, сильное растение, дающее все новые и новые побеги. За общежитием на рю Лурмель последовала организация общежития в Нуази-ле-Гран, общежития на 43 рю Франсуа Жерар, курсов для паломников, миссионерских курсов; м. Мария объединила группу единомышленников и создала «Православное дело» — миссионерскую организацию для работы в приходах на окраинах Парижа. Находила время и для литературной работы, которая чередовалась с участием в религиозно-просветительских кружках и съездах молодежи, с посещением домов для сумасшедших в разных углах Франции с целью произвести учет и регистрацию душевнобольных русских. Не оставляла ручного труда и домашнего хозяйства: вышивание гладью икон и облачений, стряпня на кухне, мытье лест-

ниц и уборных, малярные работы, топка печей... Случаю и вновь ездить на «халли». Ее энергия была невероятна. Не было, кажется, ничего, что могло бы ее заставить беспомощно сложить руки. Но особо важное, быть может самое для ее души интимно-дорогое, это была попечительская возня с «меньшой братией»; безработные, незащитные, бесприютные — все эти «малые сии», о которых она с таким воодушевлением рассказывала когда-то в первые наши встречи. Мне и тогда казалось и теперь кажется, что среди «младшей братии» Мать только и чувствовала себя вполне и до конца сама собою, т. е. любила ощущать в себе ту спасающую любовь-жалость-заступу, для которой нет препятствий, парализующих волю. Влечение Матери ко всякого рода отверженности и обойденности, эта характерная черта русских юродивых, отвечала, по-видимому, своеобразному складу ее души.

— Ах, люблю я наших юродивых, — как-то раз с восхищением сказала она. — У них святость совсем особая, ни на чью не похожая. Что-то знали они про тайну человеческой души и шли своей дорожкой. Вот Василий Блаженный... это мой любимый святой! В нашей Покровской церкви есть его икона, и мы всегда торжественно празднуем его день. После праздника Покрова это следующее наше храмовое торжество.

Во время «лурмельского» периода м. Мария иногда заходила к нам, иногда мы встречались в ее общежитии. Помню тот вечер, когда она пришла к нам и рассказала о своих мытарствах по сумасшедшим домам. Сколько забытых русских отыскала она в провинциальных убежищах для умиленных! Сколько полуздоровых, которые давно бы вышли на свободу, если бы было куда и к кому ехать! Сколько неизвестных драм!..

Кроме смерти дочери, еще одно испытание постигло Мать в те годы. Поначалу казалось, что на своем пути она не одна, что у нее есть единоклубные спутницы. После м. Евдокии, монахини, приехавшей из России, появились в общежитии еще две новопостриженные монахини, обе души близкие. Новые побеги обещали новую надежду — общежитие может стать колыбелью женской обители, центром женского эмигрантского подвижничества, которое — кто знает? — разовьется, процветет и раскинет свои ветви на всю эмигрантскую диаспору⁵. Но случилось иначе. Между Матерью и другими монахинями возникли разногласия, углубились до разлада и привели к расколу.

Стайка снялась и, покинув основательницу, осела на ферме под Меленом, где положила основание самостоятельной маленькой общине. Как это могло произойти? Где нарушило гармонию единодушие? Поводом послужил тот самый идеал классического монашества, который заставлял эмигрантских дам морщиться, говоря о м. Марии.

Тем, кто лелеял идеал классического монашества, запечатленный в творениях аскетической литературы и в строгих монашеских общежительных уставах, с Матерью было, конечно, не по пути. Чем старше и духовно опытней она становилась, тем все менее «монашествовала». Посетители Покровской церкви подмечали, что она бывает на церковных службах нерегулярно и посещает небрежно: появится на несколько минут, помолится — и опять нет ее. Уйдет хлопотать по дому или уедет в город. Не ускользало от внимательного глаза и то, что к монашескому уставу она относилась вольно, «правилом» не вдохновлялась и все более и более уходила в свое большое трудное хозяйство, в интересы своих подопечных, а краткие досуги отдавала лекциям и общественным собраниям, где обсуждались излюбленные социальные и политические проблемы, где касались богословских тем или просто посвящали вечера литературе и поэзии. Общий стиль и дух общежития на рю Лурмель создан не монастырский, а напоминал скорее уклад какой-нибудь общежительной вольной артели.

Жильцы-пансионеры чувствовали себя свободно, полнокровно. Никаких строгих правил, придирчивых распорядков. И может быть, в этой вольной волюшке и была притягательная сила общежития, его любили, к нему привыкали, как к родному гнезду. Достаточно было хоть изредка посещать «Лурмель», чтобы почувствовать, что душа его — мать Мария и без нее он превратится в обыкновенный плохой и унылый пансион.

Помню, как-то раз летом, в африкански-знойный июльский день, случилось мне зайти в общежитие. Мать я застала на кухне у раскаленной плиты, в пару, в чаду, над огромным котлом с кипящими щами, в окружении ведер, кадок и разбросанных мокрых тряпок. Простоволосая, растрепанная, босая, с подоткнутой юбкой, она более походила на бабу-стряпку какой-нибудь артели, нежели на монахиню, и уж, конечно, не на журналистку и поэтессу.

— Как вы только выдерживаете эту геенну огненную? — изумилась я.

— Уж скоро полгода, как я из кухни не выхожу. С кухаркой пошли недоразумения, я и решила: возьмусь за дело сама. Вот на всю братию и стряпаю...

— Вам должно быть это очень тяжело?

— Холод я выношу легко, ну а жару... А это мой первый помощник,— перевела она разговор, указав на сидевшего в уголке человека, усердно чистившего картошку.— Он тихий...— шепотом пояснила Мать, и я поняла, что это один из тех счастливицков, которых ей удалось вызволить из какого-нибудь дома для сумасшедших.

Опущение, совлечение с себя видимых доказательств монашеской избранности, уклон к вольному творческому служению Христу и Церкви, хотя бы оно не только не совпадало, но подчас противоречило некоторым установленным нормам и традициям,— этот дух свободы, чуть окрашенный заветами юродства, проявлялся в ней для стороннего глаза все заметней. Как-то раз встретились мы с ней в Монруже, на маленьком собрании у о. В. и, возвращаясь домой, шли вместе до Порт д'Орлеан. Разговор шел о сложности житейских требований, о том, что человек — раб многих условностей, множества мелочей.

— Вот и монашеский костюм... все бы так с себя и сняла!— воскликнула мать Мария.— Надеть бы рогожку с дыркой для головы, подпоясаться веревкой — хорошо! Говорят, монашеское одеяние проще мирского, совсем не проще, из этой «простоты» какой утонченный шик умудряются извлекать! Какую изысканную грацию из этих складок, из всех этих падающих линий! Капризным модницам под стать... Вот, например, Х. (она назвала одного архимандрита) — тонкий аскет. Меня с моим внешним видом он просто не выносит, а я нарочно — прости Господи — как мне выходить к нему, когда он заезжает к нам по какому-нибудь делу,— апостольник долой, всключу волосы, в руках капуста, да так из кухни к нему и выхожу и монашеским поклоном приветствую... Ну что же, сердится и презирает...

Странно, что из всех моих встреч с «монашеским чином», мать Мария была, кажется, единственной монахиней, с которой беседа не распространялась на вопросы мистики, аскетики или на церковно-монашеские темы. Это отнюдь не означало, что ее духовная жизнь была не монашеская. Я всегда чувствовала в ней подлинную инокиню — душу навсегда и всецело отдавшую Богу. И о монашеском призвании она говорила поощрительно, даже

порой восторженно, горячо приветствуя желание людей вступить на этот путь.

— Только надо скорей решаться,— сказала она однажды по поводу одного зова.— Есть души, которые томятся-таятся годами, готовятся, прикидывают, колеблются, а решения принять не могут. Так можно любое доброе влечение в себе загубить. Душа «пересидит» свой срок, как пирог в печке. Ничего потом путного из нее не выйдет. Надо, чтобы все было вовремя.

Монашество не было для Матери самоцелью, тем классическим исканием спасения души, о котором так много говорится в руководствах к иноческой жизни. Не тихая обитель за высокими стенами, не строгая красота монашеского уставного быта, а «мир сей» привлекал мать Марию: спасти погибающих в этом мире братьев силою любви той «меры безмерной», когда человек не только отдает все «свое», но и самого себя, уже не думая, не заботясь о личном спасении,— вот идеал, к которому мать Мария, по-видимому, стремилась*. В общепринятом смысле идеал этот вряд ли даже можно назвать «монашеским», он просто — святость, ни с каким образом существования не связанная. Практически традиционный «монашеский чин» во внешнем облике только облегчал м. Марии служение в миру.

— Благодаря тому, что я в монашеском одеянии, многое доступно и просто,— как-то раз сказала она,— в мэриях, на вокзалах, в больницах, на почте, вообще в правительственных учреждениях всюду монашине легче справиться с трудностями, добраться до начальства, обойти волокиту... Конечно, все это второстепенно, а главное — служение людям: благотворительное, миссионерское, культурно-просветительное; такое служение требует напряженной духовно-религиозной жизни, если хочешь не только людям «помогать», но и на них религиозно-нравственно влиять. Монашество должно быть по отношению к жизни чувствительным и открытым, оно не может не отзываться на общественные и политические события.

Нет ничего удивительного, что как только вспыхнула война с Германией, м. Мария всем сердцем отдалась всевозможным делам и волнующе переживала все военные события. В первую же зиму при Покровской церкви она организовала кантину, административно связанную с мэрией

* М. Мария запечатлела свое стремление в мистерии «Анна» (Примеч. автора.)

15-го аррондисмана, и на «Лурмель» устремились неимущие соотечественники и французская квартальная беднота.

Летом 1941 г. началась война с Россией. Когда случилось видеть м. Марию в те дни и слышать ее взволнованную речь, было явно, вся душа ее уже не здесь, а на Родине. Словно опять по-молодому, с буйной силой проснулось годами подавляемое иностранной действительностью пламенное патриотическое чувство. По-видимому, оно жило в ней всегда, только она не давала ему воли.

Вспоминается мне фраза, сказанная ею в одну из первых встреч нашего знакомства:

— Европа?.. По правде говоря, она просто для меня не существует. Я живу только Россией. Только она мне нужна и интересна. И еще православие... остальное все чужое и чуждое, необходимость, вынужденное приспособление к условиям жизни.

Воспоминания столь личные, как мои, не исключают вольности «казаний», и вот, мне казалось, будь м. Мария не здесь, а там, в России, в те страшные дни, когда решалась судьба русского народа, она, сняв клубок и рясю, ушла бы в партизанщину...

Газеты, радио, карты военных действий, утыканные флажками, то утешительные, то тревожные вести — ко всему м. Мария относилась горячо, страстно.

В часы английских радиопередач, пользуясь мощным аппаратом, который дали ей на хранение друзья, покинувшие Париж, она каждый вечер ловила запрещенные вести, забывая о проходящих под окнами германских патрулях. Русские победы приводили ее в восхищение. Помню, в день св. Серафима, в престольный праздник на рю Лекурб, я увидала ее на дворе в толпе, расходившейся после службы. Сяющая, она встретила меня громким, на весь двор, ликующим восклицанием: «Наши-то... наши! Уже Днепр перешли... Ну, теперь кончено! Мы победили...»

Она жила победами и ждала, не могла дожидаться триумфального финала. Вся душа ее была со своим народом, там ли, здесь ли. Материнскому ее сердцу, больше, чем когда-либо, было кого теперь любить-жалеть, угрывать-кормить, спасать-прятать. Об этой ее деятельности в годы оккупации знают те, кто были во Франции в германских лагерях и вне лагерей, ее питомцами. Скажу одно: в те дни слух о м. Марии, о ее самоотверженной дерзновенности уже облетел эмиграцию, восхищая многих. Ходило

по рукам ее стихотворение «Звезда Давида», посвященное гонимому еврейскому народу; и его заучивали, прятали, переписывали и передавали дальше. При таких обстоятельствах арест Марии, увы, ошеломляющей неожиданностью не был...

За несколько дней до этого события серьезно заболел один из жильцов общежития — сын нашего старого доброго друга. Врач, пользовавший больного, хотел отправить его в госпиталь. Больной приуныл: тяжело болеть одному среди чужих людей. Мать пожалела его: «Санитарную карету отослать обратно, сами больного выходим». По поводу болезни м. Мария теперь ежедневно беседовала с нами по телефону, не раз заключая разговор обещанием зайти к нам. И через несколько дней: «Я непременно скоро приду, мне надо с вами поговорить...»

Потом два-три дня молчания — и весть: Мать арестована...*

Далее слухи о Компьене, о Дранси и что увезли в Германию. Еще позже обрывки не то вестей, не то слухов, что она в лагере Равенсбрук, что от нее пришла открытка, что она получает посылки.

В этот период мне приснился сон о м. Марии. Я не придала ему значения, он вспомнился мне позднее, когда после окончания войны в освобожденную Францию стали прибывать спасенные из германского ада. Тогда казалось, что Мать вот-вот вернется тоже, что, благодаря своей огромной духовной силе, она все же сумела вытерпеть, все преодолеть и дождаться желанной свободы. Но среди лета пришла совсем другая весть, вернее, донесся слух, смутный, еще непроверенный, что Мать погибла. Погибла с группой несчастных женщин в лагере Равенсбрук в газовой камере. Позже этот слух подтвердили кое-кто из уцелевших пленниц**. Вот эти слухи-вести и напомнили мне забытый сон.

Церковь... иконостас... Мать на солее — прикладывается к образам, как принято перед причастием. На ней светлый дорожный костюм, а на голове повойником повязан голубой шелковый платочек. Внешний облик двой-

* Арестован был и ее сын Юрий, 17-летний юноша, впоследствии погиб в одном из германских лагерей. (Примеч. автора.)

** О пребывании м. Марии в Равенсбруке подробно рассказала И. Н. Вебстер. О м. Марии упоминает в книге-дневнике Simone Saint Clair «Ravensbruck. L'enfer des femmes». Ed. Gallandier. (Примеч. автора.)

ственный: по одежде — дама, а головной убор крестьянки. Видимо, она принарядилась, надела все новое, чистое, цветное. Так у нас когда-то старались принарядиться к причастию. И вся она мне кажется приуготовленной к таинству: спокойная, степенная, умиротворенная. Ни свойственной ей взволнованности, ни порывистой динамики — тишина и покой гармонии...

Вот последний, прощальный след в моей душе о встречах с матерью Марией.

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие Е. Ю. Кузьминой-Караваевой широко и многообразно. Она писала стихи и художественную прозу, выступала как литературный критик и публицист, освещая в своих статьях литературную, общественно-политическую и философско-религиозную проблематику. Однако до сих пор это наследие не собрано и не осмыслено, не раскрыта его роль в общем литературном процессе и в развитии русской религиозной мысли. Произведения Е. Ю. Кузьминой-Караваевой разбросаны и в ее авторских стихотворных сборниках, и в сборниках, где она выступает совместно с другими поэтами русского зарубежья, и в многочисленных русских зарубежных газетах и журналах, где они подписаны разными именами и псевдонимами — Е. Кузьмина-Караваева, Е. Скобцова, Монахиня Мария, Мать Мария, Ю. Д., Юрий Данилов.

Рукописный фонд писательницы, собранный в свое время ее матерью С. Б. Пиленко в Париже, нам не известен. Возможно, он находится сейчас в Лондоне у священнослужителя Сергия Гаккеля, автора книги о жизни и творчестве матери Марии (на англ. и рус. языках), использовавшего некоторые неизвестные до того архивные материалы.

На родине Е. Ю. Кузьмина-Караваева опубликовала лишь первые два сборника своих стихов (1912 и 1916), в эмиграции подготовила и выпустила еще один сборник (Берлин, 1937). После ее гибели «Общество друзей матери Марии» в Париже опубликовало еще два сборника ее стихов (1947 и 1949), в которые вошли, кроме ранее известных стихотворений, также произведения, взятые из архива поэтессы.

Настоящее издание — первая у нас публикация избранных стихотворений и прозаических работ этой героической женщины, оставившей заметный след в развитии отечественной поэзии. Все материалы книги расположены по возможности в хронологическом порядке, в том числе и сборники стихов, а сами стихотворения располагаются так, как они помещены в сборниках.

СТИХИ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «СКИФСКИЕ ЧЕРЕПКИ» (1912)

Издано литературной организацией «Цех поэтов» (Пб., 1912)
Подпись: Е. Кузьмина-Караваева. В организацию входили: С. Городецкий, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, Е. Кузьмина-Караваева и др.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «РУФЬ» (1916)

Издано: Пг., 1916. Подпись: Е. Кузьмина-Караваева.

¹ *Руфь* — библейский образ трудолюбивой, бескорыстной и преданной женщины (Библия: Ветхий завет, книга «Руфь»).

² *Исход* — вторая книга из Пятикнижья Моисея, составная часть Ветхого завета, в которой излагается библейское предание о выходе пленных «сынов Израилевых» из Египта в «землю обетованную» под водительством Моисея.

³ *Треба* — молитва и священнодействие, церковные молебны по разным случаям (засухи, войны и пр.)

⁴ *Петел* (диалект.) — петух.

⁵ *Рака* — массивный ларец, в котором хранились останки (мощи) святых, выставляемые для поклонения в христианских церквях, храмах, монастырях.

⁶ *Брашно* (церк.-слав.) — пища, яства.

ИЗ КНИГИ «СТИХИ» (1937)

Издано: Петрополис; Берлин, 1937. Подпись: Монахиня Мария. Единственная книга стихотворений, подготовленная самой Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в эмиграции и выпущенная под ее наблюдением.

¹ *Завет* — имеется в виду библейский Новый завет.

² *Божественная Тора* — древнееврейское наименование Пятикнижья Моисея, т. е. Ветхий завет.

³ *Повесть про немудрых дев* — имеется в виду библейская легенда о девах, оставшихся без запаса масла для своих светильников.

⁴ *Гаяна* (1913—1936) — старшая дочь Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, переехала из Парижа в Советский Союз и умерла здесь от сыпного тифа в июне 1936 г.

ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ, МИСТЕРИИ...» (1947)

Подготовлено и издано «Обществом друзей матери Марии»: *М а т ь М а р и я*. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюке.— Париж, 1947.

¹ *Мистерия* (от латинского *misterium* — церковная служба) — литературный жанр, возникший в средневековой западноевропейской литературе. Первоначально он представлял театрализацию библейских сюжетов, совмещавшую религиозную мистику и реальные картины земной жизни; с течением времени жанр все более видоизменялся, представления переносились из храмов на городские площади. Мистерия «Анна» в творчестве и мирозерцании матери Марии имеет программный характер, при жизни автора не публиковалась, составители сборника напечатали ее по рукописи.

² *Четы Минеи* — церковные сборники, включающие жизнеописания святых в порядке празднования их памяти, а также богослужебные песни и молитвы на каждый день месяца и на весь год.

³ Мистерия «Солдаты» при жизни матери Марии не публиковалась, в сборнике 1947 г. печаталась по рукописи, написана предположительно в 1942 г.

⁴ *Бритт* — здесь: британец, англичанин.

⁵ *Сион* — холм в Иерусалиме, на котором, по библейскому преданию, была резиденция царя Давида; по Ветхому завету — дом бога Яхве, храм Яхве.

⁶ *Элогим* — одно из наименований древнееврейского бога Яхве.

⁷ *Голгофа* — гора в окрестностях Иерусалима, на которой, по библейскому преданию, был распят на кресте Иисус Христос.

⁸ *Агасфер* — герой множества сказаний, возникших в средние века, еврей-скиталец, осужденный богом на вечную жизнь и странствования. Сюжет об Агасфере, «вечном жиде», разрабатывался многими писателями мира.

ИЗ КНИГИ «СТИХИ» (1949)

Подготовлено и издано «Обществом друзей матери Марии»: *М а т ь М а р и я*. Стихи.— Париж, 1949.

Некоторые стихи из этого сборника перепечатываются здесь по исправленному тексту, предложенному Сергием Гаккелем из рукописей матери Марии (см.: *Г а к к е л ь С е р г и й*. *Мать Мария (1891—1945)*, на рус. яз.).

¹ *Мед и акриды* — дикий мед и насекомые типа саранчи. По евангельской легенде, Иоанн Креститель, живя в пустыне, питался медом и акридами.

² *Эдем* — земной рай, куда Бог поселил первых людей, Адама и Еву.

³ *Алавастровый сосуд* — сосуд, в котором хранятся жидкости для церковных ритуалов; миро и пр.

⁴ *Омофор* — облачение, носимое на плечах, знак отличия архиерея.

⁵ *Семь чаш*. — Составители сборника «Стихи» (1949) снабдили публикацию этого произведения следующим пояснением: «Семь чаш» — написано в последний год перед арестом м. Марии. Интермедия о безработных создана в результате ее личного опыта.

Перед войной м. Мария посещала один бедный отель в Париже, населенный русскими безработными. Эти люди устраивали складчину из получаемых пособий и пропивали все. Часто и подолгу м. Мария проводила с ними время, терпеливо выслушивая их горькие жалобы на судьбу. Возвращаясь домой, м. Мария приходила в отчаяние от сознания своего бессилия помочь этим несчастным.

Интермедия «Израиль» написана также под впечатлениями личного опыта. С самого начала гонений на евреев м. Мария восприняла их с мучительной остротой и отдалась всецело делу помощи гонимым».

В произведении матери Марии использована библейская легенда о семи чашах гнева Божьего, вылитых на землю (Библия. Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 16).

⁶ *Неопалимая купина* — горящий, но не сгорающий терновый куст. По библейскому преданию (Ветхий завет), из этого куста раздался голос Бога, повелевший Моисею отправиться в Египет и вывести израильтян из египетского плена в «землю обетованную».

СТАТЬИ, МЕМУАРЫ, ПИСЬМА

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

Впервые напечатано в журнале «Воля России» (Прага.— 1924.— № 18-19.— С. 103—125). Подпись: Юрий Данилов. Здесь перепечатывается в сокращенном виде.

¹ *«Современные записки»* — ежемесячный общественно-политический журнал, издаваемый в Париже (1920—1939 гг.)

² *Антон Крайний* — псевдоним З. Гиппиус. Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская поэтесса и литературный критик.

³ *Аттила* (ум. 453 г.) — вождь гуннов, тюркских племен, основавших в I в. до н. э. в районе Аральского моря свое царство. Под предводительством Аттилы они разгромили готов и вторглись в Западную Европу, опустошив все на своем пути.

⁴ *Иванов Вячеслав Иванович* (1866—1949) — поэт, переводчик, теоретик русского символизма. В его квартире («башне») в Петербурге бывали многие русские поэты, писатели, художники; на встречах обсуждались различные вопросы общественной и литературной жизни, читались стихи.

⁵ *Недоброво* Николай Владимирович (1884—1919) — русский поэт и историк русской литературы.

⁶ *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — русский философ и публицист, в 1922 г. был выслан из России, обосновался во Франции, основатель журнала «Путь» (Париж).

⁷ *Григорий Богослов*, Назианзин (ок. 330—ок. 390) — один из отцов церкви, занимавшийся разработкой основ христианского вероучения и его систематизацией.

⁸ *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий теософ, религиозный теоретик.

⁹ *Дионис* (греч. миф.) — бог растительности и виноделия, символ неумирающей природы. Миф о Дионисе многократно варьировался в русской и западноевропейской литературах.

¹⁰ *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, оказавший большое влияние на западную и русскую философию и литературу.

¹¹ *Крупп* фон Болен унд Гольбах — глава военно-металлургического концерна, основанного в Германии в 1911 г.

¹² *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — русский поэт, драматург, теоретик литературы. Е. Ю. Кузьмина-Караваева имеет в виду трилогию Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист»: часть 1—«Отверженный» («Смерть богов» — «Юлиан-отступник»), часть 2—«Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи»), часть 3 — «Антихрист» («Петр и Алексей»).

¹³ *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ, оказавший сильное влияние на русских поэтов-символистов.

¹⁴ *Карташев* Антон Владимирович (1875—?) — профессор русской духовной академии.

¹⁵ *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884—1967) — русский поэт, один из организаторов «Цеха поэтов», испытывал влияние символистов.

¹⁶ *Хлебников* Велимир (Виктор Владимирович) (1885—1922) — русский поэт, прозаик, драматург, теоретик стиха.

¹⁷ *Клюев* Николай Алексеевич (1884—1937) — поэт, представитель ново-крестьянского направления в русской поэзии начала XX века.

¹⁸ «*Бродячая собака*», «*Привал комедиантов*» — петербургские клубы, кафе, где в начале XX в. собирались деятели театра, поэты, художники, композиторы.

¹⁹ *Иванов* Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт, литературный критик.

²⁰ *Ивнев* Рюрик (псевдоним Ковалева Михаила Александровича) (1893—1981) — поэт, писатель, переводчик, был близок к имажинистам и эгофутуристам.

²¹ *Игорь Северянин* (псевдоним Лотарева Игоря Васильевича) (1887—1941) — поэт, переводчик, представитель русского эгофутуризма.

²² «*Аполлон*» — литературно-художественный журнал, издаваемый в 1909—1917 гг. в Петербурге (редактор — С. К. Маковский).

²³ *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт, переводчик, литературный критик, основатель «Цеха поэтов».

²⁴ *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт, входил в круг поэтов, группировавшихся вокруг журнала «Аполлон».

²⁵ *Синдик* — защитник в суде Древней Греции.

²⁶ Неточное цитирование стихотворения Н. Гумилева: «Я нигде не встретил дамы, Той, чьи взоры непреклонны».

КАК Я БЫЛА ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ

Впервые напечатано в журнале «Воля России» (Париж.—1925.— № 4, 5.— С. 63—80, 68—88). Подпись: Ю. Д.

Здесь описаны реальные события из жизни Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в г. Анапе.

ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ В ЛИГЕ НАЦИЙ

Впервые напечатано в журнале «Воля России» (Париж.—1926.— № 29.— С. 342—378). Подпись: Юрий Данилов.

Здесь публикуется с сокращениями.

¹ *Лига Наций* — международная организация, создана на Парижской мирной конференции в 1919—1920 гг., распущена в 1946 г.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Впервые опубликовано в журнале «Путь», органе русской религиозной мысли (Париж.— 1927.— № 6.— С. 95—101). Подпись: Е. Скобцова.

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Впервые опубликовано в издательстве «Утса Press» (Париж, 1929) Подпись: Е. Скобцова.

¹ *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957) — русский писатель, филолог, график, печатался в журналах символистов, культуролог.

² *Андрей Белый* (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича) (1880—1934) — русский поэт, теоретик символизма.

³ *Страхов* Николай Николаевич (1828—1896) — русский публицист и литературный критик, близкий друг Л. Н. Толстого.

⁴ *Лоррен* Клод (1600—1682) — французский художник-маринист.

⁵ *Аполлон Бельведерский* — античная статуя прекрасного юноши, хранящаяся в Ватикане — резиденции папы римского.

⁶ *Аудодафе* (в исп. яз. *auto da fe*.— акт веры) — процедура приведения в исполнение приговора инквизиции, в переносном смысле — расправа.

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Впервые опубликовано издательством «Утса Press» (Париж, 1929).
Подпись: Е. Скобцова.

¹ *Эсхатология* — религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.

² *Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

³ *Логос* (греч. *logos* — слово, понятие, мысль, разум) — в древнегреческой материалистической философии (Гераклит) — всеобщая закономерность; в идеалистической философии (начиная с Платона) — духовное первоначало.

⁴ *Конт* Огюст (1798—1857) — французский философ и социолог, основатель позитивизма.

⁵ *Иоанн Креститель* (Иоанн Предтеча) — по евангельской легенде, возвестил приход на землю Христа и крестил его.

⁶ *Владимир Святославич* (? — ум. 1015) — великий князь киевский, провел крещение Руси и утвердил христианство в качестве государственной религии.

⁷ *Филарет* (Романов Федор Никитич) (ок. 1560—1633) — патриарх Московский и всея Руси.

⁸ *Никон* (Никита Минов) (1605—1681) — патриарх Московский и всея Руси.

⁹ *Апокалипсис* (от греч. *apokalypsis* — откровение) — часть Нового завета, в которой содержится пророчество о конце света.

А. ХОМЯКОВ

Впервые опубликовано издательством «Утса Press» (Париж, 1929)
Подпись: Е. Скобцова.

¹ *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — русский философ, богослов, поэт, драматург, один из идеологов славянофильства.

² *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — русский философ, автор «Философических писем». За первое же опубликованное письмо, прозвучавшее «обвинительным актом» против России, был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься.

³ *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский ученый, передовой общественный деятель, профессор.

⁴ *Герцен* Александр Иванович (1812—1870) — русский писатель-публицист, революционер-демократ, основатель (вместе с Н. П. Огаревым) «Вольной русской типографии» в Лондоне, газеты «Колокол».

⁵ *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер.

⁶ *Братья Киреевские*: Иван Васильевич (1806—1856) — русский философ и публицист, один из основоположников славянофильства; Петр

Васильевич (1808—1856) — русский ученый-фольклорист, сторонник славянофилов.

⁷ *Братья Аксаковы*: Константин Сергеевич (1817—1860) — русский писатель, поэт, историк, общественный деятель, славянофил; Иван Сергеевич (1823—1886) — русский общественный деятель, публицист, поэт, славянофил.

⁸ *Монтескье Шарль Луи* (1689—1755) — французский философ-просветитель XVIII в.

⁹ *Дидерот* (Дидро Дени) (1713—1784) — французский философ-материалист, писатель и теоретик искусства. Был в России (1773 г.), убеждал Екатерину II провести социально-политические реформы, предвидел расцвет России и ее культуры.

¹⁰ *Аскольд и Дир* — по русской летописи, древние киевские князья. Под 860 г. в летописи отмечен их поход на Византию.

¹¹ *Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — выдающийся немецкий философ-идеалист.

¹² *Гносеология* — теория познания.

¹³ *Самарин* Юрий Федорович (1819—1876) — русский общественный деятель, публицист.

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ ФРАНЦИИ. III. МАРСЕЛЬ (ГОРОД)

Опубликовано в газете «Последние новости» (Париж.—1932.— 25 июня.— № 4112). Часть из серии очерков о русских эмигрантах во Франции. Подпись: М. М.

¹ *Ажан* (фр. agent) — полицейский.

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ ФРАНЦИИ. IV. МАРСЕЛЬ (ЛЮДИ)

Опубликовано в газете «Последние новости» (Париж.—1932.— 2 июля.— № 4119). Подпись: М. М. Часть из серии очерков о русских эмигрантах во Франции.

ПРАВОСЛАВНОЕ ДЕЛО

Впервые опубликовано в журнале «Новый град» (Париж.—1935.— № 10.— С. 111—115).

Объединение «Православное дело» возникло в недрах «Русского студенческого христианского движения». Название объединения было предложено Н. А. Бердяевым. 27 сентября 1935 г. в Париже на торжественном первом заседании объединения почетным председателем был избран митрополит Евлогий, председательницей стала мать Мария, ее заместителем — литературовед К. В. Мочульский.

В статье м. Марии изложены программные положения объединения.
¹ *Экзегет* (от греч. *εξέγραται* — истолковываю) — толкователь смысла Библии.

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Впервые опубликовано в журнале «Современные записки» (Париж.— 1936.— № 62). Перепечатано в «Ученых записках Тартуского государственного университета» (вып. 209.— Тарту, 1968.— С. 265—275) Вступ. статья Д. Е. Максимова, примечания З. Г. Минц.

¹ *Цензор* Дмитрий Михайлович (1875—1947) — русский поэт-символист

² Речь идет о сборнике стихов А. Блока «Снежная маска» (Спб., 1907)

³ Начальная строка из стихотворения А. Блока «Когда вы стоите на моем пути...» См.: Б л о к А. Собр. соч.— М.; Л., 1960.— Т. 2.— С. 288. (Автор воспоминаний передает ее не точно.)

⁴ Первый муж Е. Ю. Пиленко — Д. В. Кузьмин-Караваев, юрист по образованию, сын известного профессора государственного права, социал-демократ, был близок к петербургской литературной среде, к которой приобщил и свою жену, увлеченную поэзией.

⁵ *Кузьмин* Михаил Алексеевич (1875—1936) — русский поэт-символист, прозаик, литературный критик и композитор.

⁶ Имеются в виду «сборища» в «башне» В. Иванова, в «Цехе поэтов» и в петербургском артистическом кафе «Бродячая собака».

⁷ *Любовь Дмитриевна* — жена А. Блока.

⁸ Е. Ю. Кузьмина-Караваева ошибается: в это время А. Блок дневника не вел.

⁹ *Аничков* Евгений Васильевич — литературовед, его жена — Анна Митрофановна — писательница (ее псевдоним: Иван Странник)

¹⁰ Е. Ю. Кузьмина-Караваева ошибается: А. Блок был в Нормандии и Бретани, немецком курорте Наухейме не в 1910 г., а летом 1911 г

¹¹ *Пяст* Владимир Алексеевич (1886—1940) — русский поэт-символист, переводчик.

¹² *Нарбут* Владимир Иванович (1888—1944) — русский поэт, в 1910-е гг. участник «Цеха поэтов».

¹³ *Моравская* Мария Людвиговна (1889—?) — русская поэтесса.

¹⁴ П я с т Вл. Встречи.— М.: «Федерация», 1929.— С. 256—257

¹⁵ *Толстая* Софья Исааковна — жена А. Н. Толстого.

¹⁶ *Григорий Нисский* (?—394) — епископ, богослов-мистик.

¹⁷ *Бородаевский* Валерьян Валерьянович — русский поэт-символист

¹⁸ Е. Ю. Кузьмина-Караваева не точно вспоминает это письмо А. Блока к ней, оставшееся в СССР и позднее опубликованное в Собр. соч. А. Блока (Т. 8.— С. 430).

¹⁹ *Маковский* Сергей Константинович (1877—1962) — критик, редактор и издатель журнала «Аполлон» (1909—1917), тесно связанного с символизмом и акмеизмом.

²⁰ *Сологуб* Федор Кузьмич (наст. фамилия — Тетерников) (1863—1927) — русский поэт и прозаик, принадлежал к символистам «старшего» поколения. Здесь имеется в виду его стихотворение «Марш» («Ба-рабаны, не бейте слишком громко...»).

²¹ Не точно цитируются стихи А. Блока «Голос из хора» (цикл «Страшный мир»), см.: Блок А. Собр. соч.— Т. 3.— С. 63.

²² Письмо А. Блока Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, не вошедшее еще в его Собрание сочинений.

²³ Письмо А. Блока получено Е. Ю. Кузьминой-Караваевой около 20 июля 1916 г., на которое она сразу же ответила ему на фронт. Она писала ему еще много раз (см. раздел «Письма А. Блоку» настоящего издания), но Блок не отвечал, и их переписка, видимо, прекратилась.

ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ

Впервые опубликовано: Вестник: Орган церковно-общественной жизни.— Париж.— 1937.— № 1-2.— С. 11—15. Подпись: Монахиня Мария.

ПИСЬМА А. БЛОКУ

Переписка Е. Ю. Кузьминой-Караваевой занимала в ее литературном наследии, по-видимому, значительное место. Однако ее письма различным адресатам либо утрачены совсем, либо еще не найдены. Архив периода ее эмиграции, собранный С. Б. Пиленко (ее матерью) и находившийся в Париже на ул. Лурмель, сейчас нам не известен. В наших архивохранилищах найдены лишь ее письма А. А. Блоку, Б. А. Садовскому, С. П. Боброву.

Здесь печатаются по автографам 14 писем к А. Блоку, хранящиеся в ЦГАЛИ, фонд А. Блока, № 55, ед. хр. 299.

Бад-Наумгейм — известный курорт в Германии, где бывал А. Блок летом 1911 г.

² *Шленгер* Пауль (1854—1916) — немецкий критик и театральный деятель.

³ «...вторую книгу стихов» — сборник стихов «Руфь» (Пб., 1916). Первую книгу стихов «Скифские черепки» (Пб., 1912) Е. Кузьмина-Караваева подарила А. Блоку, который сурово отозвался о книге в письме к автору (см. письмо А. Блока Е. Кузьминой-Караваевой: Блок А. Собр. соч.: В 8 т.— Т. 8.— С. 430—431).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Б. ПИЛЕНКО

Впервые напечатано в сборнике: М а т ь М а р и я. Стихотворения, поэмы, мистерии...— Париж, 1947.— С. 151—153.

Пиленко София Борисовна (1862—1962) — мать Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.

¹ *Отец Дмитрий Клепинин* (1900—1944) — служил в церкви, оборудованной матерью Марией на ул. Лурмель в Париже.

² *Пьянов Федор Тимофеевич* (1889—1969) — хозяйственный организатор и руководитель всех дел в доме на ул. Лурмель, участник объединения «Православное дело».

³ *Евлогий* (Георгиевский) (1866—1946) — митрополит зарубежной русской православной церкви.

⁴ *Отец Сергей Булгаков* (1871—1944) — русский экономист и философ С 1923 г. — в эмиграции (Франция). В 1925—1944 гг. — профессор русского богословского института в Париже.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Е. СКОБЦОВА

Впервые напечатано в сборнике: *М а т ь М а р и я*. Стихотворения, поэмы, мистерии... — Париж, 1947. — С. 153—159.

Скобцов Даниил Ермолаевич (1884—1968) — второй муж Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. Н. ВЕБСТЕР

Впервые напечатано в сборнике: *М а т ь М а р и я*. Стихотворения поэмы, мистерии... — Париж, 1947. — С. 159—165.

Вебстер Инна — одна из узниц лагеря Равенсбрюк.

Т. МАНУХИНА МОНАХИНЯ МАРИЯ

(К 10-летию со дня кончины)

Впервые напечатано: *Новый журнал*. — New York. — 1955. Кн. XLI. — С. 137—158.

Манухина Татьяна Ивановна (1885—1962) — жена известного в русской эмиграции в Париже врача, ученого и общественного деятеля Манухина Ивана Ивановича, встречавшегося с матерью Марией.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — русский философ, историк культуры, принимал активное участие в общественных начинаниях матери Марии.

² *Фондаминский* Илья Исидорович (1880—1942) — один из участников объединения «Православное дело», религиозно-философского кружка в доме на ул. Лурмель, погиб в Освенциме.

³ «*Путь*» — журнал, издаваемый с 1924 г. в Париже, основан Н. А. Бердяевым.

⁴ *Аррондисман* (фр.) — округ

⁵ *Диаспора* — рассеяние народов вне их национально-исторической территории.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Осьмаков. Жизнь — подвиг 3

СТИХИ

| | |
|---|-----|
| Из книги стихов «Скифские черепки» (1912) | 25 |
| Из книги стихов «Руфь» (1916) | 35 |
| Из книги «Стихи» (1937) | 76 |
| Из книги «Стихотворения, поэмы, мистерии...» (1947) | 82 |
| Из книги «Стихи» (1949) | 127 |

СТАТЬИ, ПИСЬМА

| | |
|---|-----|
| Последние римляне | 189 |
| Как я была городским головой | 209 |
| Вопросы разоружения в Лиге Наций | 241 |
| Святая земля | 245 |
| Достоевский и современность | 257 |
| Миросозерцание Вл. Соловьева | 295 |
| А. Хомяков | 320 |
| Русская география Франции. III. Марсель (город) | 349 |
| Русская география Франции. IV. Марсель (люди) | 354 |
| Православное дело | 359 |
| Встречи с Блоком | 364 |
| Испытание свободой | 381 |
| Письма А. Блоку | 385 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Из воспоминаний С. Б. Пиленко | 403 |
| Из воспоминаний Д. Е. Скобцова | 405 |
| Из воспоминаний И. Н. Вебстер | 409 |
| Т. Манухина. Монахиня Мария | 414 |
| Примечания | 436 |

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева

ИЗБРАННОЕ

Редактор **Л. В. Сидорова**
Художественный редактор **Н. Д. Викторова**
Технические редакторы **Р. Д. Рашковская, И. И. Павлова**
Корректоры **Л. В. Дорофеева, И. М. Бакналова,**
А. З. Лазуткина, Л. М. Логунова

ИБ № 5782

Сдано в набор 27.08.90. Подп. в печать 29.04.91 Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 2. На вкл.— офсетная.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л
23,63 (в т ч. вкл.— 0,11) Усл. кр.-отт 24,05. Уч.-изд. л
24,51 (в т ч. вкл.— 0,06) Тираж 50 000 экз. Заказ
№ 1311 Цена 2 р. 80 к. Изд. инд. ЛХП-166.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Министерства печати и массовой информации РСФСР,
103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой
информации РСФСР 144003, г. Электросталь Московской
области, ул. им. Тевосяна, 25.